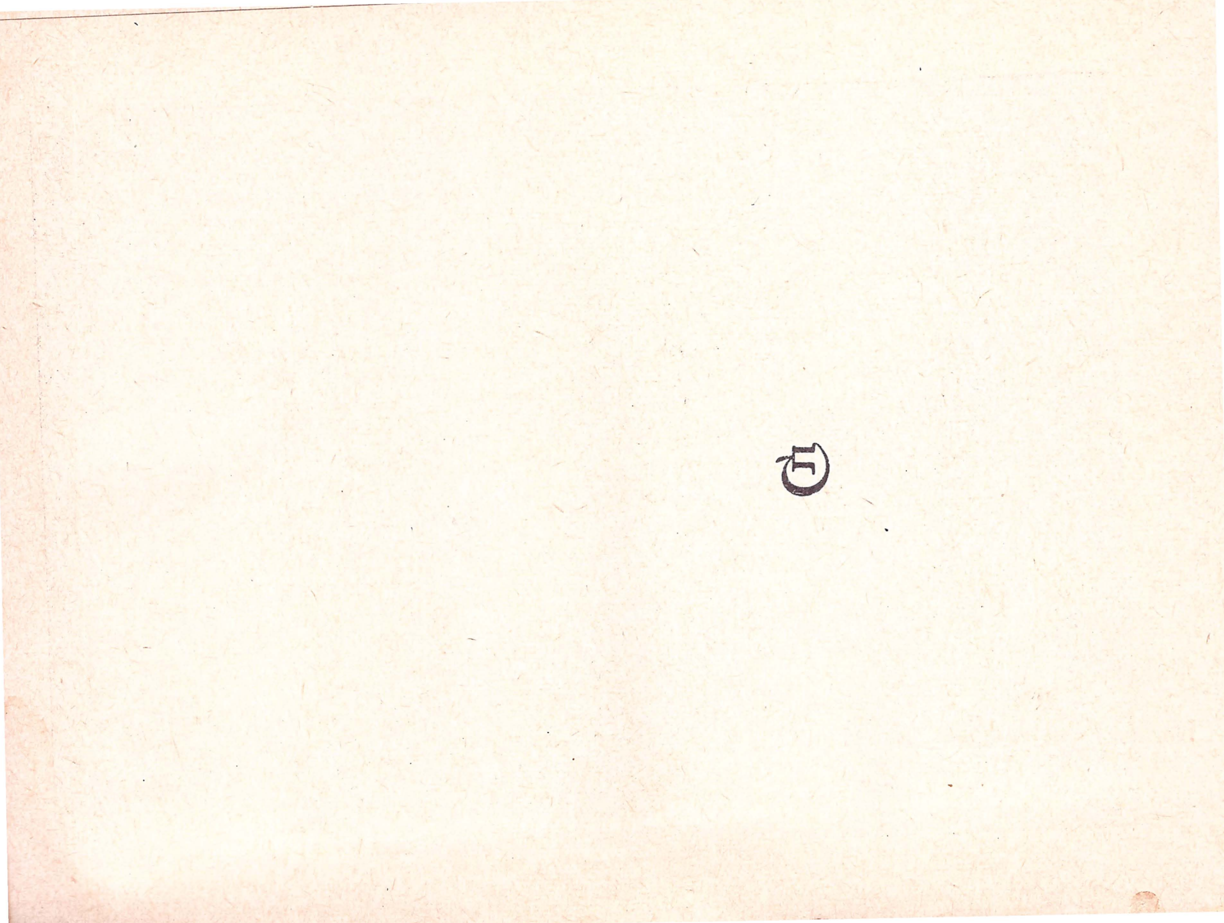
Леонид Кудреватых

Признание в любви

Леонид
Кудреватых

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ







Леонид
Кудреватых

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Советский писатель

МОСКВА, 1975

За полвека журналистско-литературной деятельности Леонид Кудреватых встречался, беседовал, подолгу бывал знаком и дружил с людьми самых различных профессий и возрастов.

Им написаны рассказы и очерки о первых комсомольцах и партийных работниках, о челюскинцах, папанинцах и летчиках мирного времени, о писателях, журналистах и актерах, о вожаках колхозной деревни и рабочих, о солдатах и выдающихся военачальниках, о людях, с которыми жизненные тропы сводили писателя в разное время и в разных обстоятельствах. Эти очерки и рассказы и составили его книги: «За годом год», «Страницы жизни», «Мои современники», «На жизненных перекрестках».

В новой книге «Признание в любви» читатель встретится с поэтом Александром Твардовским и Маршалом Советского Союза К. К. Рокоссовским, с литературным критиком Борисом Рюриковым и народным артистом СССР Николаем Хмелевым, с бывшим кимрским сапожником, ставшим известным писателем, Макаром Рыбаковым, адмиралом Н. Г. Кузнецовым, со старейшей очеркисткой Еленой Викторовной Кононенко и чувашским писателем и актером Максимовым-Кошкинским, с поэтом Александром Безыменским и драматургом Александром Корнейчуком и другими, с кем судьба сводила автора книги.

К $\frac{70302-170}{083(02)-75}$ 30—75

О БОРИСЕ РЮРИКОВЕ, ЕГО ОТЦЕ И НЕМНОГО О НАШИХ С БОРИСОМ ДРУЗЬЯХ

Десятилетия, точно верстовые столбы, меряют нашу жизнь. Чтобы придать какую-то значимость или зримость тому или другому возникающему в памяти событию, мы нередко говорим: «Да это же было в двадцатые годы». А если нужно, двадцатые заменяем тридцатыми, сороковыми. . . И каждое из десятилетий имеет свою смысловую нагрузку. Тридцатые, к примеру, годы, годы первых пятилеток, годы новостроек, годы становления колхозов.

Вначале поведу рассказ об одном годе: одна тысяча девятьсот тридцатом. Я, молодой журналист, прошедший газетную школу в губернской (потом ставшей окружной) газете «Вятская правда», оказался сотрудником нижегородской краевой комсомольской газеты «Ленинская смена».

В Нижний я попал в ту пору, когда город освобождался от шумной купеческой, ярмарочной славы и приобретал новую известность — становился одним из центров машиностроения. К тому же недавно губерн-

ский Нижний Новгород стал краевым центром. А край был огромный. По территории и населению он превосходил многие европейские страны; в него входили бывшие Нижегородская и Вятская губернии, часть Костромской; Удмуртская, Чувашская и Марийская автономные республики. Такие укрупненные административные и географические образования создавались вокруг узловых строек первой пятилетки.

В Нижнем, на Оке, строился гигантский автомобильный завод. Закладывались другие машиностроительные и станкостроительные заводы. Многие старые предприятия реконструировались. На строительные площадки требовались люди. Не сотни и тысячи, а многие десятки тысяч человек. Они приходили и приезжали в Нижний со всех концов огромного края.

Редакция краевой комсомольской газеты «Ленинская смена», выходившей вечерним изданием, занимала всего четыре комнаты. Наибольшая из них — проходная. На тесноту не жаловались, ее просто не замечали. Каждый в отдельности и все вместе были захвачены бурным потоком жизни, исторической значимостью всего происходящего.

Мой рабочий стол (я вел в газете партийно-комсомольские вопросы) был в проходной комнате, в числе одиннадцати столов разных конструкций, размеров и окраски. У двери, ведущей в кабинет редактора, уместились, приткнувшись друг к другу, четыре стола. За ними на разномастных и скрипучих стульях восседали, как нас тогда называли, массовики. Костя Смирнов, длинный, русоволосый, старейшина среди нас. В партии он с 1919 года. Он учил нас, молодых, учил, а не нравоучал, «давая работу собственной мысли».

Напротив Кости стол занимал розовощекий, совсем еще юный, недавний селькор Паша Сатюков, напористый, вдумчивый, работающий без устали. Против меня — вчерашний литейщик из Сормова, темпераментный и энергичный Алеша Распевин.

Квадрат из четырех столов в противоположном конце комнаты, у входа в секретариат, принадлежал Ивану Винокурову, Коле Курочкину, Толе Еремченко и Саше Уварову. Курочкина и Винокурова я знал еще по «Вятской правде». Неторопливый, порой, казалось, медлительный, Курочкин был поглощен пионерскими делами. Иван Винокуров приехал сюда раньше меня и был уже заядлым нижегородцем. Категоричный в суждениях, иногда даже резкий, он писал боевые статьи о партийной политике в деревенских делах. Толя Еремченко и Саша Уваров чем-то напоминали популярных в ту пору Пата и Паташона. Еремченко — длинный, худой, белоголовый, голубоглазый. Саша Уваров — небольшого роста, толстенький, с агатовыми глазами и черными как смоль волосами. Кем они были, эти двое, почти всегда отсутствовавшие в редакции? По нынешним штатным расписаниям их звали бы специальными корреспондентами. Они именовались репортерами. Писали обо всем, что видели, писали в любое время суток от десятистрочных заметок до полосных очерков и корреспонденций, печатались чуть ли не каждый день. Толя Еремченко мотался по стройкам, Саша Уваров — по комсомольским организациям. Оба сообщали читателю уйму неизвестного. Толя Еремченко из репортажей о строительстве Нижегородского автозавода, напечатанных в «Ленинской смене», составил книжечку, и «Молодая гвардия» издала ее немедленно. Полученный гонорар Толя быстро и блистательно израсходовал в «диком путешествии»

по Черноморью, прихватив в это увлекательное турне и меня.

В центре проходной комнаты было еще три стола: два боковых примыкали к тыльной стороне третьего. Это был самый шумный и горластый куст. Тут всегда толклись люди, что-то читали друг другу, размашисто жестикулируя, спорили, хохотали, не обращали никакого внимания на нередко раздававшийся вопль: «Литература, потише!»

Да, это была нижегородская литература тридцатого года! За центральным столом, не по должности, а по праву возрастного старшинства, сидел Павел Петрович Штатнов, он же Марко Паняш, он же дядя Макар — фельетонист, очеркист, автор рассказов, знаток деревни и глубинных тайн крестьянской психологии. Он давно уже печатался не только в нижегородских газетах, но и в Москве в «Крестьянской газете». Дрался с Махно, был одним из организаторов сельских комсомольских ячеек. Но вышло так, что в партии не состоял. В комсомольской газете прижился давно и был всеми уважаем. На листочках настольного календаря, стоявшего на письменном столе, Марко Паняш иногда что-то писал бисерным почерком. Вечерами, когда в редакции устанавливалась тишина, мы с любопытством заглядывали в эти листочки, но Паняш взывал к терпению. И однажды прочитал главы из своего романа «Прекрасная жисть», написанные на этих календарных листочках. Слушая удивительно красочно переданную Паняшем жизнь деревни, мы, как говорят, «катались со смеха». В 1932 году роман «Прекрасная жисть» был опубликован в журнале «Земля советская» уже под собственным именем автора — П. Штатнов.

В литературном триумвирате был и самый молодой, но и самый голосистый в нашей комнате — поэт Костя Поздняев. Писать он начал еще в школе, совсем юнцом. Писал стихи «лесенкой» под Маяковского, читал их звонко и, подчеркивая ритм, взмахивал рукой, как будто молотком вбивал гвозди.

Напротив Кости восседал коротко стриженный, рыжеволосый, удивительно спокойный, внешне даже флегматичный молодой человек. В час горячего спора поэтов и прозаиков рыжеволосый, точно жонглер, подбрасывал до потолка большие редакционные ножницы и ловко подхватывал их за острие. Этот парень с глуховатым голосом умел разжигать споры и умел тут же тушить их бескомпромиссными резюме, которые почти всегда и всеми принимались как единственно возможные в данной ситуации.

И хотя парню годков-то минуло всего двадцать один, он уже был признанным критиком в Нижегородской ассоциации пролетарских писателей (НАПП), не первый год печатался в журнале «На литературном посту», выступал с обстоятельными критическими статьями в местных газетах. В 1927 году, восемнадцатилетним студентом, он пришел на работу в редакцию, возглавил отдел литературы.

Еще в 1928 году рыжеволосый паренек составляет и редактирует первый napповский литературно-художественный сборник «Начало», к которому пишет предисловие: «Несколько слов о НАППе и napповцах»; в 1930 году составляет и редактирует второй, более объемный сборник «Будни», а потом и третий — «Тропы».

Борис Рюриков — так звали этого паренька.

Я был старше Бориса на три года. В том возрасте три года кажутся огромной дистанцией. Но с первого

дня встречи я потянулся к Борису. Мне, вятскому журналисту, хотя и опубликовавшему первые рассказы, выпустившему первую брошюрку, напечатавшему очерк в журнале «Наши достижения», в Нижнем все было в новинку. До приезда в Нижний я варился, что называется, в собственном соку. А тут слышу такие споры, ежедневно вижу человека, к которому, как на огонек, идут поэты и прозаики, молодые, под стать мне и самому Борису Рюрикову, да и постарше нас. Марко Паняш и Костя Поздняев — это свои, редакционные, их мы видим и слышим каждый день. Но приходят и другие поэты и прозаики. Широкоплечий, с немного по-бычьи наклоненной большой головой Миша Шестериков, пишущий стихи о крестьянской жизни. Тихий, даже стеснительный, интеллигентный Борис Пильник. Часто читали свои стихи Федор Жиженков, Илья Симоненков, Федор Фоломин. Борис слушал их сосредоточенно, а потом просил у поэта рукопись и начинал читать ее неторопливо, задерживаясь на каждой строчке. Поэту деваться было некуда: Рюриков все разберет, все оценит — образ, ритм, рифму, точность слова. Хорошее возьмет в газету, недоработанное посоветует переписать, а плохое отвергнет и объяснит почему. А кое-кому скажет: «Поэт из тебя — что из меня скульптор».

Приходил в «Ленинскую смену» уже прославленный автор первой книги романа «Девки», обстоятельный и рассудительный Николай Кочин. Приносил свои рассказы и статьи Александр Муратов, человек дела и большого трудолюбия. Весело, залихватски, хорошо поставленным актерским голосом читал рассказы и очерки Василий Боровик. Эти трое были старше Бориса Рюрикова, но они шли к нему, ждали его дружеского слова и совета.

Тридцатый год! Боевое время, наполненное юношеской восторженностью! В «Ленинской смене» я проработал меньше года, но в памяти этот рубеж жизни встает как самый радостный. А коллектив редакции? Дружный, задорный и талантливый. И увлекающийся. И какой-то, не боюсь сказать, целомудренный! Богема и всякие богемные штучки жили еще в журналистской среде. А ленсменовцы о богеме говорили как о давно ушедшем. Если чем ленсменовцы и «баловались», так это кружкой пива перед обедом.

Сейчас мне трудно установить, кто был душой небольшого редакционного коллектива. Петя ли Агеев — сормович по происхождению и рабочему стажу, добродушный, располагающий к себе человек? Агеев любил поэзию, увлекался творчеством Маяковского, писал о нем. Впоследствии он учился, многие годы работал в аппарате ЦК КПСС, а перед уходом на пенсию — в «Правде». Миша ли Попов, сменивший Агеева на посту редактора газеты? Человек кипучей, юношеской энергии, как говорят, заводила. В газете он пробыл недолго, его избрали секретарем обкома комсомола. Несколько лет Попов был на руководящей работе в обкоме партии. Будучи наркомом заготовок СССР, безвинно погиб. Алеша ли Распевин, всегда ищущий, куда-то стремящийся? Вскорости он тоже стал секретарем обкома комсомола. Но журналистская жилка в натуре Алеши взяла верх. Он долгие годы отдал «Горьковской коммуне», потом «Известиям», где был собственным корреспондентом, а перед назначением ответственным секретарем вновь созданной «Экономической газеты» — членом редколлегии «Известий». Даже пенсионный возраст и пенсионное обеспечение ни на час не оторвали его от журналистики.

Застенчивый ли Паша Сатюков, который через несколько лет стал редактором «Ленинской смены», а впоследствии одним из видных деятелей советской печати? Многие годы П. А. Сатюков работал в аппарате ЦК КПСС, занимаясь проблемами советской печати, был редактором газеты «Культура и жизнь», ответственным секретарем, заместителем главного редактора и главным редактором «Правды», первым председателем Союза журналистов СССР.

Да, много чудесных и талантливых ребят было в тридцатом году в «Ленинской смене». Было у кого учиться.

Мы умели не только работать, но и отдыхать! После выхода очередного номера газеты или горячих литературных дебатов в НАПП, если они заканчивались до захода солнца, мы, как правило, шли в большой сад, что окружал одноэтажный особняк. До революции особняк этот принадлежал консулу какого-то европейского государства. В тридцатом году тут жила семья Рюриковых. Мы сразу проходили в сад, на волейбольную площадку. Играли весело, лихо гасили мячи, свечой взвиваясь над сеткой. Играли до приятной усталости. А потом на зов матери Бориса, профессиональной революционерки, Юлии Ивановны, шли пить чай. Кто-то читал стихи. Кто-то затевал спор на злободневную политическую или литературную тему.

С юных лет, еще в далеком селе Вохма, я начал собирать библиотеку, у меня было несколько сот книг. Можно понять мое состояние, когда я, впервые появившись в квартире Рюриковых, увидел полки, до потолка населенные книгами, и не в одной, а в нескольких комнатах. Позднее я много часов провел около этих полок, рассматривая и перелистывая книги.

Библиотека Рюриковых была собранием книг по философии, эстетике, истории российского и международного революционного движения, и тем более — художественной литературы. Рассматривая эти книги, я находил то подчеркивания, то пометки на полях, сделанные рукой Бориса. Особенно в книгах Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова. Отсюда, от книг, идет ранний интерес Бориса к философии и литературоведению.

Таково было наше бытие в тридцатом году.

Мы находились в гуще событий. Молодые журналисты и молодые поэты, в одиночку или группами, отправлялись то на строительство новых заводов, то в цеха «Красного Сормова» или «Двигателя революции», рассказывали в газетах об увиденном, выпускали лозунговые листовки-«молнии», писали стихи и зарисовки для заводских многотиражек. Борис Рюриков стал одним из составителей и редакторов вышедших тогда стихотворных сборников «Ударные темы», «В боях за Сормово» — этих литературных документов о «вторжении писателей в жизнь». Пусть не все строчки, даже не все стихотворения в них совершенны, но есть дыхание, страсть и темперамент времени.

В 1931 году бригада НАПП, в которую входили Н. Кочин, А. Муратов, А. Зубков, М. Полонский, А. Хубларов и я, создает очерковую книжку «Автомобильный гигант». Очерки, вошедшие в книгу, для Саши Муратова стали основой его авторского сборника, а для Николая Кочина — в этом я уверен — очерк «О соцгороде» был ключом к роману «Парни», переизданному впоследствии много раз.

Журналисты-ленсменовцы находились на самых горячих рубежах времени. Их репортажи, корреспонденции и очерки ложились на страницы газеты как

боевые донесения с фронтов труда и классовой борьбы. Редакция комсомольской газеты была своеобразной кузницей творческих журналистских кадров. Константин Смирнов, о котором говорилось раньше, позднее был ответственным секретарем «Горьковской коммуны», собственным корреспондентом «Правды», членом редколлегии газеты «Известия», журнала «Советский Союз». Константин Поздняев журналистскую работу совмещает с поэзией и исследованием творчества таких поэтов, как А. Недогонов, Б. Корнилов, И. Рогов. Много сил Константин Поздняев отдал военной печати, в том числе литературно-художественному журналу «Советский воин», где был ответственным секретарем и заместителем главного редактора. Много лет Поздняев вел «Литературную Россию», будучи главным редактором еженедельника.

Рано, чуть ли не в пионерском возрасте, начал сотрудничать в «Ленинской смене» Евгений Сурков, увлекавшийся театром, широко эрудированный, лихо ораторствующий человек. А ныне — он признанный театральный и кинокритик, известный литературовед, главный редактор журнала «Искусство кино».

В «Ленинской смене» начали журналистский путь Евгений Рябчиков и Кирилл Ковалевский. Вскорости Рябчиков стал одним из известных в стране репортеров. Работоспособность, целенаправленность этого напористого журналиста увлекала. В те годы романтика и подвиг виделись в будущем авиации. Но чтобы писать об авиации и летчиках, надо было знать их изнутри. Женя Рябчиков в местном аэроклубе изучает летное дело. Сам садится за штурвал. Впрягает и нас в аэроклубные дела. Потом Рябчиков участвует в десятках перелетов по стране, организуемых «Комсомольской правдой». Ныне писатель Евг. Рябчиков

автор сценариев и текста многих документальных фильмов о космонавтах, о завоевании космоса, темпераментный радио- и телепублицист, написавший много интересных книг.

Таланту Кирилла Ковалевского, увлекавшегося театром, историей литературы и журналистики, писавшему интересные очерки, так и не пришлось развернуться на газетной полосе во всю силу. Его рано впрягли в «руководящую» газетную колесницу. То он ответственный секретарь редакции, то заместитель редактора областной газеты, а после войны — заместитель декана факультета журналистики Высшей партийной школы, уже много лет заместитель главного редактора «Учительской газеты».

Конечно, и позднее коллектив редакции «Ленинской смены» продолжал собирать под свое крыло и воспитывать талантливых журналистов. Но об этом я знаю уже со стороны — в конце тридцатого года я перешел работать в «Нижегородскую коммуну».

В конце тридцатого года мы расстаемся и с Борисом Рюриковым. «Чтобы критик правильно оценивал произведение о современности, ему нужно самому хорошо знать жизнь», — не раз говорил Борис Рюриков. И, во исполнение этого глубочайшего убеждения, он махнул в Сталинград на Тракторный завод, где работал прессовщиком и электросварщиком и одновременно был секретарем комсомольской организации колесного отделения. Потом — призыв в армию, Одесское военное училище, редактирование в Кстове, что рядом с Нижним, районной газеты.

Почти три года Рюриков отсутствует в Нижнем, ставшем уже городом Горьким. Но он остается деятельным участником всех литературных дел в родном городе. В апреле 1931 года начинает выходить «На-

тиск» — литературно-художественный ежемесячник Нижегородской ассоциации пролетарских писателей. Рюриков в это время работал в Сталинграде. Но вместе с Борисом Волиным, Николаем Кочиным, Александром Муратовым, Михаилом Шестериковым входит в состав редакционной коллегии журнала и в первых же номерах выступает с большими статьями. В одной из них обстоятельно рассматривает тенденции творчества поэта Михаила Шестерикова и читает отповедь незадачливому критику Симонову из Вятки, который объявил поэта чуть ли не гидрой и классовым врагом.

Смело можно сказать: и в то время, когда Рюриков жил вне Нижнего, не оставалось ни одного сколько-нибудь заметного произведения писателя-нижегородца, которое Борис обошел бы своим заботливым вниманием. Если он не посвящал этому произведению специальной статьи или рецензии, то рассматривал его в обзорном выступлении в печати. Он пользовался любым случаем, чтобы на денек-два, а если удастся, то и на недельку, заскочить в Нижний, повидать друзей, узнать их творческие новости, обязательно собраться всем вместе, чаще у него дома, и поговорить обо всем и про всех.

После известного решения ЦК партии, когда вместо РАПП и других литературных организаций был создан единый Союз советских писателей, в состав которого в Горьком тогда вошли Н. Кочин, А. Патреев, Г. Федоров, А. Муратов, П. Штатнов, Н. Бирюков, Б. Рюриков, М. Шестериков, Б. Пильник, — Борис Рюриков не обходил вниманием и тех молодых и не молодых литераторов, которые не стали еще по тем или иным причинам то житейского, то творческого порядка членами Союза писателей.

Характерной особенностью Бориса Сергеевича Рюрикова в те годы была борьба за писателя, за совершенствование его мастерства. Валентин Иванович Костылев начал печататься еще до революции, но почти тридцать лет никак не мог «выбиться». В Нижний он приехал в 1922 году. Семья у него была большая. Жил бедно, тяжело. Печатал в газете фельетоны, очерки, писал репризы и скетчи для эстрады. По его адресу многие иронизировали, называли малоформистом. Валентин Иванович метался в поисках заработка, писал дешевки. Его больше ругали, меньше хвалили. Да и в Союз писателей сразу не приняли. Борис Рюриков, по возрасту годившийся в сыновья Валентину Ивановичу, в числе немногих серьезно и заботливо относился к творчеству Костылева. Он не ругал и не хвалил, а разбирал, советовал, направлял. Не иронизировал, не высмеивал, как некоторые, а сожалел, что настоящий талант распыляется на мелочи. В тридцатые годы, пожалуй, не было ни одного обзорного выступления Бориса Рюрикова, в котором он не рассматривал бы творчество Костылева с явной тенденцией: нацелить писателя на фундаментальную работу.

И лед тронулся. Пятидесятилетний Валентин Иванович публикует в «Натиске» первые главы романа «Хвойный шторм» — о становлении советской власти в Заволжье. Пусть роман еще несовершенен, хроникален, но уже проложена первая тропа. Костылева принимают в Союз писателей. Все это как бы разрубило путы, сковывавшие писателя, которого глубоко занимают исторические процессы. И пошло, пошло. В 1936 году — роман «Питирим» — о борьбе с расколом при Петре I; в 1937 году — роман «Жрецы» — о национальном движении мордвы; в 1939 году — «Кузьма Минин». И наконец, трилогия «Иван Гроз-

ный» («Москва в походе», «Море», «Невская твердыня») — годы 1943—1947-е. Имя Костылева становится популярным. Он активно выступает в печати с очерками, публицистическими статьями. В 1947 году его избирают депутатом Верховного Совета РСФСР.

Если проследить творческую биографию большинства писателей города Горького, живших и творивших в тридцатые годы, нетрудно заметить следы участия Бориса Рюрикова в их судьбе. И не обязательно через печать. Вспоминаются такие картины: в помещении ли Музея А. М. Горького, в одной ли из комнат редакции «Горьковская коммуна», или еще где-то собрались два-три десятка писателей, журналистов, литкружковцев. За столом — Борис Рюриков, всегда скромно одетый, сосредоточенный. В руках листы бумаги, многие слова выделены одним или двумя подчеркиваниями. Это — тезисы, конспективное изложение мысли. Спокойно и неторопливо, глуховатым голосом Борис анализирует чье-то произведение. Обстоятельно, дружески, но требовательно, бескомпромиссно, без скидок на давнюю дружбу. Такими выступлениями он не только вел откровенный гласный разговор с автором произведения, но и будил мысль у всех слушавших его. Можно соглашаться или не соглашаться с оценками Рюрикова, с отдельными положениями его выступления, но остаться равнодушным к его замечаниям нельзя. Поэтому-то писательские собрания, на которых с докладом выступал Борис Рюриков, были бурными, страстными и содержательными.

Типичным для Бориса Рюрикова был доклад «За большевистское мастерство», в котором он подвел итоги 1932 литературного года. Доклад этот и стал основой его большой статьи под тем же названием,

опубликованной в первом номере журнала «Натиск» за 1933 год.

В 1932 году вышла в свет очерковая книга Н. Кочина «Как вырастает новь», которая впитала в себя вышедшую годом раньше очерковую книжку «Почин починок». А перед самым докладом Б. Рюрикова на прилавках книжных магазинов появилась новая книга Н. Кочина «Тарабара». Имя Николая Кочина было весьма популярным не только в Нижнем, но и среди читателей всей страны. Первая его книга — роман «Девки» — только в Москве выдержала уже четыре издания. Была опубликована и вторая книга романа, и вместе с первой она вышла в одном томе. К этому времени три издания выдержала книга «Записки селькора», получившая положительный отклик в прессе.

Популярность большого писателя не смущала критика. Подробно рассматривая две только что вышедшие книги писателя, критик по-разному говорит о них. Он полагает, что «Тарабара» «ценна по своей злободневности... по содержательности постановки вопроса, по глубокому классовому чутью автора, по художественной обработке, по правдивости типов». Тут же критик ведет разговор об очерках «Почин починок»: «Слабые, неубедительные, поверхностные очерки! Автор как-то «сбоку» наблюдал за процессом коллективизации и почти ничего, кроме пены явлений да статистических выкладок, дать не сумел... Мы думаем, что вовсе не обязательно было, написав в 1930 году не особо удачные очерки, в 1932 году переиздавать их».

Так же обстоятельно и доказательно рассматривались книги стихов Мих. Шестерикова «Большевистская пашня», книга рассказов и очерков А. Муратова «Наше сердце», повесть А. Патреева «Таблица Крафта», стихи К. Поздняева, рассказы А. Костина, произ-

ведения многих очеркистов, подчеркивалось при этом, что во многих очерках, опубликованных в газетах, «обилие фактического материала, но недостает осмысливания и художественной обработки».

Глубока его заинтересованность в развитии и расцвете литературы родного края, в формировании творческой индивидуальности каждого литератора.

Я погрешил бы перед истиной, если бы стал утверждать, что Рюриков всегда и во всем был прав. Он, как и все мы, был сыном своего времени. Конечно, приверженность РАПП, журналу «На литературном посту» не могла остаться бесследной. Были и страстная защита лозунга «одемьянивания поэзии», элементы вульгарного социологизма. Отдельные статьи и выступления Рюрикова тех лет вызывали острую ответную реакцию — печатную и устную, в которой приходилось участвовать и мне. Но Борис Сергеевич не настаивал на заблуждениях, если убеждался, что он ошибся или стал жертвой временных обстоятельств. Он шел вперед, в споре искал истину. А если был в чем-то глубоко убежден, то как критик-борец боролся за это до конца.

Борис Рюриков никогда не был штатным работником НАПП или Горьковского отделения Союза советских писателей, но он был признанным руководителем местных писателей. Он обязательно входил в бюро и в редколлегию «Натиска».

Осенью 1932 года, вернувшись из армии, Борис Рюриков поступает в аспирантуру педагогического института. Его давно привлекала научно-исследовательская и преподавательская работа. С той поры он начинает глубокое изучение творчества и жизни Н. Г. Чернышевского, ставшего для него главной целью в исследовательском труде. Многие годы в Горь-

ковском педагогическом институте и в институте иностранных языков он читает курс советской литературы и истории русской критики. Заведуя отделом литературы и искусства газеты «Горьковская коммуна», будучи лектором обкома партии, Борис Рюриков не прекращал научной и педагогической работы.

И если ко всему сказанному добавить, что в тридцатые годы Борис Рюриков писал театральные рецензии, часто выступал в периодике с общеполитическими публицистическими статьями, то станут понятными его роль и значение в культурной жизни Горьковской области!..

В те тридцатые годы в древнем городе на Волге расцветала не только молодая советская литература, но и драматический театр, во главе которого стоял такой великан, каким был Николай Иванович Собольщиков-Самарин — актер, режиссер, писатель, во всем массивный, яркий.

И конечно же литература и театр всегда ощущали отеческое и заботливое внимание таких руководителей горьковских большевиков, какими были Андрей Александрович Жданов и Эдуард Карлович Прамнэк. Они были доступны для писателя, журналиста и актера, были обязательными и требовательными читателями. Оба любили художественную литературу и театр и оказали на них свое благотворное влияние.

Война разлучила нас. В июле 1941 года я уехал на фронт специальным военным корреспондентом «Известий», а вскорости и Борис оказался на политработе в танковой части. За всю войну мы виделись несколько раз — когда я бывал в 65-й армии, которой командовал генерал П. И. Батов, а Борис Рюриков в газете этой армии был «в должности писателя». Но мы пе-

реписывались. В моём архиве сохранилось несколько десятков его писем. В них весь Борис Рюриков, с его думами и заботами о горьковских писателях, уверенностью в безусловной победе и торжестве нашего дела, мечтами о книгах, о будущем литературы.

Приведу несколько писем с небольшими купюрами и необходимыми пояснениями.

«Горький, 26.XI.41

Привет, дорогой Леня! Пользуюсь тем, что пишет знающий твой адрес Коля Головин [1], чтоб черкнуть несколько строк.

Итак, я снова в Горьком. Был под Можайском, в связи с переформированием, временно очутился здесь. На днях, видимо, снова уеду и, возможно, на газетную работу в одно из новых соединений. Был недавно в Москве — она оставляет совершенно неизгладимое впечатление. Вообще благодарю судьбу, что был в начале зимы в Москве и под Москвой, — это на всю жизнь.

В Горьком все по-старому... Женя Сурков с местным эстрадным театром отправился в Алма-Ату... Поэты и писатели сидят на окопных работах, Шестериков и Головин «делают» серию стихокарикатур о Васе Тачкине, Нил Бирюков [2] женился, и мы с тобой потеряли собрата... Желаю тебе всяческого успеха, а всем нам желаю писать и читать статьи о победах.

От Муратова ни слуху ни духу...

Крепко жму руки.

Привет.

Б. Р.»

---

[1] Художник-карикатурист. Многие годы работал в горьковских газетах.

[2] Поэт, автор либретто нескольких опер.

«Москва, 26.XII.41

Дорогой Леонид!

Шлю тебе новогодние поздравления, самые горячие и сердечные.

Пишу из Москвы — попал в командировку на день, везу к себе походную типографию. Работаю я в армейской газете, из наших там еще П. Безденежных [1].

Редактором Лифшиц, б. ред-р Одесской газеты.

Тюленев [2] к газете относится очень внимательно, вызывает к себе, беседует.

Работы много, дело новое — только налаживаем...

Судя по «Известиям», тебе стало жить несколько интереснее, чем некоторое время назад. Очень хорошо. Общая мечта — чтоб везде было больше жизни. Видимо, дело идет к очень большому, более значительному, чем все, что было до сих пор.

Я был в Москве в октябре, в тревожные дни. Как изменилось настроение — общий тон становится иным. А мы еще будем подниматься! ..

Был недавно в Горьком, дня три провел дома... Просился на фронт и Геннадий [3], ему сказали — ждать, надо будет — позовем, учтем вашу просьбу...

Братья-писатели по-прежнему дома, в сборе. Очень беспокоюсь о судьбе Саши Муратова — от него ни слуху ни духу.

Ну, будь здоров. Прости за почерк — он и вообще адский у меня, да и тороплюсь. Желаю веселого Нового года. Возможно, что в этом году у нас не будет елки — но зато нашей детворе мы обеспечим елку надолго.

Крепко жму руку! *Бор. Р.*»

---

[1] Журналист, до войны работал в газетах г. Горького.

[2] Командарм, герой гражданской войны.

[3] Г. Федоров — писатель, в это время был собкором «Известий» по Горьковской области.

«28.I.42

Привет, дорогой Леонид!

Сегодня, после трудов праведных, пошел смотреть «Майскую ночь», раньше я ее как-то не удосужился посмотреть. Гляжу — и вдруг — на экране известная нам Татьяна Окуневская в весьма трогательном виде. Посмотрел и вспомнил Горький, кофейник-паровоз, подаваемый Иваном Васильевичем, Борис Горбатов, Вовочка Фролов[1], нетвердо ступающий по коридору, и прочие достопочтенные люди и события. Как ни говори, это «старое доброе время», которое иногда приятно вспомнить. Когда мы снова соберемся, а я на это надеюсь, — мы уже будем не те, может быть, лучше, опытнее, зрелее, но не те.

На днях получил случайное известие о Саше Муратове. Он был под Симферополем, был в окружении, в составе группы в 17 человек, пробирался к Севастополю, и сейчас там. Он — хороший парень, и хотя мы нередко с ним ругались, желаю, чтоб у него все кончилось хорошо. Кое-кого из наших знакомых нет уже, кое-кто ранен, большинство воюют в меру сил...

Пишут ли тебе горьковские друзья, что они сообщают? В нашей газете есть вакантная должность писателя, я написал Мише Шестерикову, было бы очень полезно ему поработать в таком амплуа... А с Мишей приятно было б поработать!

Кто из братьев-писателей и журналистов подвизается на вашем участке? Кстати, к нам литсотрудником приехал один «известинец» — коллега твой с Северного Кавказа — Вася Терновой, милый парень, который помнит тебя по какому-то совещанию и передает привет. Также кланяется тебе и Петя Безденеж-

---

[1] Театральный критик, литературовед, член Союза писателей.

ных, мощный мужчина в очках, который сегодня в теоретической статье разгромил всю германскую экономику...

Мы пока в Ярославле, ждем; одна группа уже поехала в вашем направлении, мы готовимся, формируемся и ждем, когда и куда двинут нас... Пересмотрел я здесь все спектакли... Может быть, на днях вырвусь в Москву, там стала выходить газета «Литература и искусство» (редактор А. Фадеев) вместо «Литературки», «Сов. искусства» и «Кино». Когда-то мы с тобой снова будем заниматься литературой и театром? Впрочем, сейчас об этом и думать-то неуместно, впереди очень жаркие дела, и до весны и весной будет много событий. Надеюсь, что мне удастся быть не просто свидетелем, наблюдающим события издали, а и участником их.

Как твои перспективы, никуда тебя не перебрасывают?

Всего лучшего тебе, крепку жму руки.

Б. Рюриков»

«*24.II.42*

Дорогой Леонид! Твое письмо действительно чуть не опоздало, из Ярославля я уезжаю. Возможно, что и встретимся где-нибудь в жарком месте, ну, а если нет, будем разговаривать в письмах...

Я последний раз был дома в декабре, ездил в командировку, и аллах знает, когда теперь попаду туда... Братья-писатели живут как будто неплохо, Кочин пишет повесть о партизанах «Серебряный перелесок» (название определилось раньше, чем вся повесть), Федоров — пьесу «Города не сдаются», Костылев кончил «Москву в походе» — издает в Москве и в Горьком; готовят альманах и еще что-то. Товарищи

прислали письмо, спрашивают мнение — Костылев подал в кандидаты партии. Я ответил, что если бы был в Горьком, сам дал бы рекомендацию. В дни войны старик держится честнее и прямее иных. Ребят ты увидишь, очевидно, раньше меня, передай им привет.

Шестериков написал письмо, просится к нам в газету, уже мечтает о цикле приключений автоматчика Феди Строчилкина. Но ты знаешь, как строго централизовано дело с кадрами... Просится в военную печать и Кочин. Ему, пожалуй, лучше во фронтовую — у вас в газете не нужно такого человека? Если нужно, пишите Коле, он готов приехать. Его сватали было историографом в какую-то танковую часть, но пока дело не состоялось. А побывать у огонька ему очень-очень полезно; что он напишет о партизанах, зная о них то, что сообщалось в газетах?

Кланяется Петр Безденежных... Петя чувствует себя мощно, пишет подвалы на 400 строк, потом делает из них 150 строк. Он — начальник отдела пропаганды и — на месте. Я писательствую; когда-то смеялись мы с тобой над Сашей [1], что он писатель по должности, а теперь и со мной случилось нечто подобное. Пишу статьи, корреспонденции, не гнушаюсь черновой газетной работой, вплоть до правки заметок. Мечтаю решить индивидуальную задачу — наладить в армейской газете *настоящую* публицистику.

...Вчера последний мирный вечер... Суматоха, укладка чемоданов, упаковка ящиков со шрифтами и т. д. Снова — вагоны, полустанки, смена пейзажей, климата... А главное — впереди настоящее дело, с шумом и огоньком.

---

[1] А. Муратов был секретарем Горьковского отделения Союза писателей.

Привет Саше Исбаху; передай, что я уверен, что мы с ним еще поплывем вокруг Карадага. Как-то увидел я снимок с Алеши Суркова; давно я Алешу не видел. Он отрастил усы и стал похож на Дениса Давыдова. Какими будем мы, когда встретимся? Но в основном останемся прежними...

Ну, Леня, письмо получилось путаное и торопливое. Приеду — напишу более связно, сообщу адрес и буду ждать твоих весточек.

Будешь в Горьком, кланяйся всем знакомым в мире литературы, театра, печати, а потом черкни, как застал их всех.

Крепко жму руку.

Борис»

«*8 марта 1942*

Дорогой Леонид! Итак, в ваши края я не попал, попал «наоборот», на юг. Пишу сейчас из маленького украинского городка, где нахожусь «на данном этапе исторического развития». Ты, конечно, прав, когда пишешь, что предстоят бои невиданных размахов. Это ощущается и у нас, и события на юге развернутся, видимо, раньше, чем у вас, на вашем фронте. А нам предстоит решать особо важные задачи, отбивать новые попытки немцев прорваться к нефти и потом гнать дальше, на запад. Готовимся основательно, и штабисты, и политотдельцы работают, не щадя сил, и в частях большая работа, помимо текущей.

Если бы ты приехал сюда, ты нашел бы кое-кого из сев.-зап. [1] работников. Так, приехал к нам Радецкий [2], который был у вас, есть и еще кое-кто. Вообще

---

[1] Северо-Западный фронт.

[2] Впоследствии стал членом Военного совета 65-й армии, дружил с Борисом и после войны.

очень хорошо, что насыщают нашу армию людьми с разных фронтов, имеющими разнообразный опыт.

Как ты себя чувствуешь на С.-З.? Для вашей газеты с южного фронта пишет Виктор Полторацкий, по-моему, это тот парень, что работал в Иванове, был там одним из вождей местной АПП. Если это тот, то я его немного знаю и приятно будет встретиться.

26 февраля в Горьком был один инженер-танкист, заходил к моим, говорит, что все благополучно... Сын[1] пишет, что коллекционирует зенитные осколки — занятие, типичное для нашего времени.

Привет знакомым, которых встретишь...

Крепко жму руку, желаю успехов.

Твой Борис.

Старобельск, Ворошиловградской обл.»

«[*Конец марта 1942*]

Дорогой Леонид!

Встретил сегодня очерк Бориса Горбатова в нашей фронтовой газете — он где-то здесь, в нескольких десятках километров. Постараюсь как-нибудь увидеть его. Здесь довольно много знакомого народа работает во фронтовой газете, надо как-нибудь туда вырваться и потолковать — но пока все некогда!

Очерк Бориса довольно любопытный, есть хорошие, свежие и сильные места. Конечно, нашей фронтовой газеты у вас нет, шлю тебе вырезку — он расписался на целую полосу...

[1] Юрий.

У нас несколько дней пурга и холод, март не хочет уходить, не насолив Адольфу и фрицам. Весна обещает быть затяжной и прохладной — пусть фрицы мерзнут.

Пиши.

Борис»

«[*апрель 1942*]

Дорогой Леонид!

С праздником, с Первомаем! На каком фронте ты его встречаешь? Я — на Юго-Западном. Вспоминаю прошлый Первомай... Сейчас из музыки в основном крупнокалиберная артиллерия.

Пишу тебе на «Известия», так как не знаю точно, где ты. На С.-З. я тебе писал, но узнал, что ты оттуда уехал. Был ли в Горьком?

У нас много интересных встреч, знакомлюсь с большим количеством интересных людей, их здесь много. Из писателей здесь в основном украинцы. Ждем интересных дел.

Что нового у вас слышно, что сам пишешь?

Крепко жму руку.

Б. Р.

Миша Шестериков, оказывается, получил медаль. Неплохо для начала».

«*1 июня* [*1942*]

Дорогой Леонид!

Получилось очень смешно — твое письмо от 15 апреля я получил... 31 мая. Оно пошло в Старобельск, который я покинул, а потом искало меня на новых стоянках. Писать я тебе писал, но не ответил на вопрос, в письме поставленный.

Я думаю, что журналисты, военные корреспонденты, — не репортеры, не информаторы, а дававшие

с фронта интересный, свежий, *человеческий* материал, уже практически спаялись с писателями-фронтовиками. Их участие в Союзе писателей — дело естественное и необходимое, тем более что большинство из них наверняка засядут за работу над *книгами*. Такие, как Кригер, другие известинцы и правдисты, состоят они в Союзе или нет? Что, если договориться с Фадеевым, с правлением Союза и принять в ССП, в Москве группу *журналистов-фронтовиков,* зарекомендовавших себя очерками, публицистическими выступлениями?

По-моему, это очень принципиально значимое дело, только надо его тщательно подготовить [1].

Сам я живу по-прежнему. Десяток дней провел в самой горячке. Был в переделках, наблюдать было что. Могу сказать словами Маяковского: «А мы видели эту гидру в ее натуральную величину». Доволен, чувствую внутреннее удовлетворение — поработал порядком. Сейчас — затишье, но интересные дела еще предстоят.

Был у нас Кригер, но я как раз в эти дни был на передовой и не мог встретить его. Хотел расспросить о тебе, передать «гостинец» — одну-две бутылки трофейного коньяку, но когда я вернулся, он уехал уже в Валуйки.

Желаю тебе успехов. . .

Крепко жму руку.

Твой Борис»

«*5 июля* [*1942*]

Дорогой Леонид! Сегодня вечер бесед с друзьями. Только что приехал из одной части, грязный, усталый,

---

[1] По предложению Евг. Петрова группа фронтовиков-журналистов была принята в члены ССП, в том числе и Евг. Кригер — военный корреспондент «Известий».

с перевязанной головой (немного задело при бомбежке). Вдруг слышу: Боря!

Оглядываюсь — Алеша Сурков. Я — в непотребном виде, да и он хорош — проехал по июльской пыли полтораста километров. Ну, умылись, дружески побеседовали, вспомнили и твое имя, он хорошо о тебе говорил [1]. А чуть позднее вручают твое письмо. Беседовал с тобой заочно.

Пишу я тебе в жаркое время. Жаркое — значит самое интересное для нашего брата. Видишь много тяжелого и обидного, видишь много замечательного, и все отлагается в голове. Будет о чем говорить. С Алексеем мы долго говорили и во многом сошлись. Работать и работать нам еще надо зверски! Для тебя многое не ново, ты видел прошлый год на фронте, это было тяжелее во много раз. Твое желание поехать на фронт снова — законное и понятное, но думаю, что *пока* в этом нужды нет. Вот когда дело подойдет к решающим событиям — тогда обязательно старайся поехать на какой-нибудь интересный участок. Тогда действительно будет обидно сидеть в аппарате. Пока же делается черновая подготовительная работа. Немца изматывают, заставляют тратить и тратить силы, чтоб потом легче было бить. А к последнему акту обязательно приезжай, и я надеюсь еще с тобой встретиться на фронте, прежде чем встретимся за бутылкой вина «в шесть часов вечера после войны» [2].

...Насчет Ставского — новость интересная, пока-

---

[1] Я встречался с А. Сурковым на Западном фронте (июль — сентябрь 1941 года).

[2] В конце февраля 1942 года я был контужен на Северо-Западном фронте и отозван в Москву, в редакцию «Известий», где работал и одновременно лечился. Вскоре после этого письма Б. Рюрикова я снова уехал на фронт.

зывающая, как кое-кого надо стукнуть по голове, чтобы они взялись за ум. Ставский, право же, очень честный, храбрый и пытливый человек. На фронтах он очень неплохо себя показал. То, что он писал, было *хорошей* газетной работой, оперативной, серьезной, вдумчивой. Но работал он в меру своих способностей, вообще-то довольно скромных. А наши «старатели» торопливо объявили все это литературными шедеврами, о текущих полезных заметках писали, как о новеллах, сухость выдавали за точность и строгость стиля — была такая заметка в «Лит. и искусстве». Честно говоря, мне жаль Владимира — он платился отчасти за чужие грехи; впрочем, кое в чем и сам он виноват [1].

Что Гена Федоров хорошо работает, слышу с радостью... Но вот что должно ему понять: для журналиста, не только информатора, претендующего на свой стиль, свою тему, свой «уголок явлений», короче говоря, на *свое лицо*, — мало тех заметок, что ты упоминаешь! Он должен работать и расти как журналист-писатель, а тут у него дела еще неважные, надо выступать почаще и посолиднее на страницах вашей уважаемой газеты. Да и тебе, Леня, я бы посоветовал чаще выступать не с передовицами, а со статьями и очерками за подписью... А аппаратная работа без такого литературного дополнения — гибель! Теряется живой человек, теряется индивидуальность.

Ну, кажется, я расфилософствовался очень. Кончаю. Из общих знакомых писал как-то Леша Распевин, он готовит брошюру и вообще активничает.

---

[1] Речь идет, видимо, о сборнике очерков и фронтовых корреспонденций В. Ставского, изданных книгой. Вначале сборник расхвалили в печати, а потом жестоко изругали и книгу и автора.

Будь здоров, пусть сбудутся все твои мечтания. Крепко жму руку.

Твой Борис»

«*14 августа* [*1942*]

Дорогой Леонид!

Читаю «Известия» и с радостью вижу снова твои очерки из действующей армии. Значит, снова в боевой поход?

Я по-прежнему работаю, правда, характер работы изменился несколько — больше сталкиваюсь со своей прошлогодней специальностью. Здесь, на Сталинградском фронте, дело живое и жаркое; было и будет много интересного. Положение, знаешь, очень напряженное — надеемся на лучшее в будущем. Был в Сталинграде, посмотрел на родную Волгу. Рассчитываю ее еще увидеть, но повыше.

Июнь у меня был «богатый», был в весьма пикантных положениях — всякое бывало. . . Кончилось все хорошо, из нашей редакции никто не пострадал.

Как твои дела? Совсем ты разделался с работой в аппарате или только эпизодически выезжаешь?

Что пишут из Горького?

Желаю тебе успеха, здоровья, счастья.

Дружески обнимаю.

Борис»

«*26.IX.42*

Дорогой Леонид!

. . .Я по-прежнему на Сталинградском фронте. Работаю в той же газете, в этом отношении ничего не изменилось. Только газета наша (и не только газета) приобрела уклон, при котором моя прошлогодняя специальность очень и очень пригодилась [1]. Перевидал я

---

[1] Больше стали писать о танковых частях.

за это время действительно много всего, обогащен материалом до ушей. Писать — и некогда, и рамки армейской газеты не позволяют, но думаю отыграться в будущем. Я говорю, разумеется, о чем-нибудь серьезном. А очерки, корреспонденции, фельетоны пишу довольно аккуратно. Наша газета регулярно публикует публицистику, что очень важно для армейской печати.

Жизнь довольно напряженная, но мы уже не новички и все воспринимаем, как «бывалые солдаты». Сам понимаешь, что значит работать на нашем участке фронта. . .

На днях приехали последние новости из Горького на языке Михаила Шестерикова. Он работает в газете нашего соседа, а редакция их рядом, в км 15 от нас — мы с Петром Безденежных подскочили, и отношения установились. Очень было приятно встретить старого друга здесь. Он быстро входит в курс военного дела. . .

Ну, что нового в Горьком?

Плохо с Бобой Пильником. Дурацкая история вышла с ним. Был ранен, лежал в госпитале, поправился. И вдруг письмо: попал под поезд, отрезало ногу. Лечили, видимо, плохо, или было осложнение — ногу кромсали несколько раз.

Саша Муратов был в Севастополе почти до конца. От него писем нет, а о нем писали так (за несколько дней до конца) — Саша заболел, не выдержали нервы, отправили на Большую землю. Видимо, где-то лечится в нервной больнице. Будем думать, что с ним все будет благополучно [1].

В Горьком сейчас Белорусская опера, Воронежский театр, был Яхонтов, Гинзбург, Покрасс и еще кто-то. Читаю письма театральных друзей и — завидую. Но думаю, что скоро нашим взорам снова предстанут все

[1] А. М. Муратов погиб в июне 1942 года.

театры столицы, а вернее — столиц. Все-таки — большая вещь искусство. Читал «Фронт» Корнейчука? У нас кипят горячие дискуссии.

Кто у вас на фронте из братьев-писателей? У нас все еще больше украинских писателей. Работает Долматовский... Есть здесь умный паренек во фронтовом театре Саша Борщаговский. Помнишь, м. б., он критиковал «В степях Украины», а потом в защиту выступил секретарь ЦК Украины, поправлял критика. Он был недавно в Иркутске, Ташкенте и т. д., посмотрел все театры, и МХАТ, и Малый, и др. Интересно было вспомнить о существовании таковых! А все-таки к ремеслу литературного и театрального критика я еще вернусь.

Вот такие дела, дорогой Леня. Самочувствие у меня хорошее, работой и отношением я доволен, хотелось бы, правда, написать что-нибудь большое в большой газете. М. б., на днях напишу статью о «Фронте» для «Литературки». С кем связаться в «Известиях», если придет в голову дать что-нибудь туда?

Поздравляю тебя со званием батальонного комиссара, надеюсь, что это не последняя «шпала», цепляемая тобой...

Желаю удач и здоровья, уверен в нашей хорошей встрече «в шесть часов вечера после войны».

Крепко жму руку.

Твой Борис»

«*9 марта* [*1943*]

Дорогой Леонид!

Давно тебе не писал — *там*, когда кончали, было некогда, потом попал в новые края [1]. Ну, теперь осваи-

---

[1] Под Сталинградом, ликвидация окруженной 6-й немецкой армии. Новые края: Центральный фронт, так называемая Курская дуга.

ваюсь с местами, в которых ты был не так давно. Вчера проезжал одно хозяйство, а потом узнал, что там работает наш земляк и знакомый Марк Козлов [1].

Привожу в порядок кое-какие записи о недавних делах. Мне повезло, и видел я очень многое. Временами приходилось очень туго — на войне иногда убивают, — но все кончилось хорошо: невредим абсолютно, ворох ценных записей и воспоминаний. Это, конечно, на будущее. . .

Петя Безденежных кланяется тебе, он жив и здоров. За труды его он награжден медалью «За боевые заслуги». У меня таковая была с ноября, сейчас мне дали орден Красной Звезды [2]. Принимаю поздравления. . .

Молю аллаха, чтоб у тебя было все хорошо. Желаю здоровья, бодрости, успехов.

Крепко жму руку.

Борис»

«Горький, 6.VII.43

Дорогой Леонид!

Приветствую тебя из наших родных краев. Я здесь почти десять дней, время летит быстро, и скоро надо будет уже собираться обратно. Сегодня услышал новости по радио: зашевелились немцы, захотелось мне поскорее быть «у себя», но сейчас чувствую себя еще

---

[1] М. А. Козлов — бывший начальник Горьковского военно-политического училища, на фронте — член Военного совета 13-й армии.

[2] Кроме того, до окончания войны Б. С. Рюриков был награжден вторым орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, а в дни пятидесятилетия советской власти — орденом Ленина.

слабым после болезни[1], и друзья отсоветовали ехать досрочно.

Отпуск мой очень, очень не удался. Дома ждали меня неприятности с сыном. Он тяжело ранен осколком зенитного снаряда, разорвавшегося в результате детской неосторожности, когда он проходил мимо. Рана — в голову, осколки до сих пор в мозгу... положение весьма тяжелое... Не знаю, как дело пойдет дальше, но пока все это меня расстраивает и морально и физически.

В обкоме масса новых людей, работают, и неплохо, — над залечиванием ран...

Был у твоих. Мать здорова, чувствует себя неплохо... Ждет тебя, но вряд ли теперь удастся тебе скоро вырваться. Я отдохну и вернусь к трудным работам лета и осени...

Отсюда я уеду числа 19—20-го. Перед отъездом обязательно проведаю твоих, чтоб рассказать тебе подробнее о них. А к тебе просьба. Боюсь, что наши (Кирюшов[2] и др.) уехали с прежнего места, а ты знаешь, где они. Сообщи в «Известия», в военный отдел, где Кирюшов, куда мне надо будет добираться, чтоб я мог 20-го зайти или позвонить туда. Это избавит меня от лишних затрат времени.

Надеюсь с тобой увидеться, поговорить есть о чем! А пока желаю тебе всяческих успехов.

Крепко жму руку.

Борис»

«29 августа 1943 г.

Дорогой Леня, во-первых, очень рад, что могу тебя поздравить с наградой. Совершиться этому следовало

[1] Б. С. Рюриков болел тифом.

[2] Редактор армейской газеты.

бы давно — но хорошо, что совершилось. Заочно обнимаю тебя.

Во-вторых, желаю тебе отдохнуть и отремонтировать здоровье, оно очень и очень пригодится...

Сейчас у нас очень жарко, понимаешь сам, но, вероятно, будет несколько повольготнее.

Горьковским друзьям — привет.

Горячо желаю тебе всего лучшего.

Борис»

«*12 сентября 1943 г.*

Дорогой Леонид!

Не знаю, позаботился ли кто об этом, — и посылаю вырезку с приказом о твоем награждении. Сохрани на память, приятно будет вспомнить.

Как здоровье, как идет лечение[1]? Будет время — напиши.

Привет.

Б. Р.»

«*19.X.43*

Жаль, что ты не смог снова приехать к нам на фронт. Как раз сейчас у нас есть интересные вещи. Я только что приехал из Л., был там, когда на окраине шел еще бой. Очень сильное впечатление, для меня это ведь первый город в правобережье Днепра. Вернулись! Замечательная встреча с местными жителями. Они здесь напоминают волгарей — в городе испокон веку жили днепровские штурманы и капитаны. В общем, всего не расскажешь! Дела у нас предстоят большие и, надо думать, нелегкие, но почетные.

У нас все, как и было. Я с неохотой взялся за бю-

---

[1] Снова были осложнения с ушами.

рократические функции [1]. На войне не станешь разговаривать так, как в подобных случаях я разговаривал в Горьком. . .

Обнимаю.

Твой Борис»

«*15.IV.44*

Дорогой Леонид!

Письмо твое вызвало во мне приступ самой черной зависти. Ты на юге, у тебя перспектива. . . а мы впервые попали в такое положение: сидим в болотах, грязь по уши. . . а главное — жизнь без событий самое скверное для нашего брата! Павел Иванович [2] утешает: ничего, ребята, будет еще интересная работа (он недавно был в Москве, приехал обласканный, довольный). Сам знаешь, что такое затишье.

Лето на Украине вспоминаем как мечту, как сказку. Какое лето нам предстоит? Вероятно, бурное, напряженное, придвигающее нас к развязке. . .

Живем мы по-прежнему, с Кирюшовым ладим, коечто новое удалось сделать. . . Утешаюсь тем, что читаю чудесную книгу «О любви» Стендаля. Вот тебе несколько пунктов из кодекса XII века:

— Ссылка на брак не может служить поводом для уклонения от любви.

— Никто, при отсутствии оснований более чем достаточных, не может быть лишен своих законных прав любви.

— Не подобает любить ту, которую стыдно было бы взять себе в жены.

---

[1] Б. Рюриков был назначен заместителем редактора армейской газеты.

[2] Командующий армией П. И. Батов.

— Только заслуги делают человека достойным любви.

— Чрезмерная привычка к наслаждению мешает зарождению любви.

— Ничто не препятствует одной женщине быть любимой двумя мужчинами и одному мужчине — двумя женщинами.

И т. д. и т. п. — всего не перепишешь.

Миша[1] пишет: он где-то в районе 2-го Сталинграда[2] был в феврале; ему тоже повезло, не то что нам. На днях поймал по радио г. Горький — выступал поэт-фронтовик капитан К. Поздняев... Слушал также, как В. И. Костылев выступал перед секретарями райкомов, поучал их. Я рад за старика, пишет, не молчит, а это важно в наше время.

Мы печатаем по три приказа в номере. Да, Леня, все-таки война идет к концу, и «в шесть часов вечера после войны» мы должны-таки встретиться за стаканом хорошего вина... Пора уже!

А пока ждем событий — события должны быть большие и грозные.

Пиши, буду очень рад. Успехов тебе, удач!

Обнимаю.

Твой Борис»

«*20 июня 1944*

Чуть-чуть мы с тобой не встретились в Москве или в Горьком. Я было собрался в отпуск, но вдруг начальство, раньше решившее не пускать Кирюшова, передумало. Николай поехал в Новосибирск на месяц, к жене. Рад за него: он почти четыре года не видел

---

[1] Шестериков.

[2] Корсунь-Шевченковский «котел».

своих. Ну, а в июле, когда он вернется, если живы будем, — может быть, и мне удастся все-таки.

Очень надо поехать: серьезно неблагополучно с Юркой... После ранения он как-то выбился из колеи... Матери страшно трудно, и устала она, и теряется, не зная, что делать...

Что у нас нового? Петя Безденежных уехал в Москву, на курсы газетных работников. Нужны ему не курсы, а Москва, он устал и как-то стал выдыхаться последнее время — годы не те, а три года войны дают себя знать. Я тоже получил вызов на эти курсы, но отбоярился, бог с ними, умру неученым. Не хочется уезжать в конце войны, даже и в Москву. Довоюю в войсках генерала Батова!

Старичков уже почти не осталось: уехал и Шолохов (Синявский), Терновой, Гуревич и др. — пришли молодые кадры, мы, «старая гвардия», их учим. Но... коллектив уже не тот, что был. Да и мы не те, стареем, седеем. Из Бессарабии пишет Шестериков, он по-прежнему крепко стоит на ногах — молодец. Кто еще хорошо — Боба Пильник, настоящим мужчиной оказался.

Что сказать о себе? Стал газетным «администратором» заправски; в черновую газетную работу я никогда так не вникал, а тут приходится вникать во все, хотя никогда не мечтал я стать «начальничком». Страшно хочется писать о литературе, о театре, но оторван от всего этого. Надеюсь, что к этому занятию еще вернусь когда-нибудь...

Приезжай к нам, Леня, у нас скоро будет интересно!

А будешь в Горьком, загляни к моим, потом напишешь, что и как.

Желаю тебе успехов. *Борис*»

«Март [1945]

Дорогой Леонид! Страшно завидую тебе: ты в центре событий. А мы — на три единицы правее: как всегда, нам досталась черновая работа. Саша Исбах рассказывал, как ты проскочил мимо нас. Был здесь Тараданкин[1], он приехал с Анисимовым[2] к нам на торжество: газете вручали орден Красной Звезды. Потом был банкет. . .

У нас большое горе: погиб Кирюшов. Мы вместе работали, очень дружили три с половиной года, очень тяжело было терять его под конец войны. Сейчас приехал новый хозяин — ни в какое сравнение с Николаем не идет. Полтора месяца тянул газету я, страшно устал, но отдыхать придется где-нибудь после Берлина.

Очень хочется надеть синюю тройку и читать лекции о Блоке. Когда это будет? Имею кое-какие предложения на будущее. Одно из них — заведовать критикой в «Знамени». Был Безденежных, он работает у Голикова — рассказывал, как чуть не сосватал меня в. . . Париж на работу по своему ведомству. А твое предложение меня тронуло. Придется подумать, куда выбираться из провинции, — в такой «земляцкой» компании легче и приятнее работать, но не рано ли обо всем этом говорить? Мне хочется, кончив всякую военную канитель, поехать месяца на полтора в Сочи, в Коктебель, а потом уже надевать новый хомут. Говорят, была бы шея. . .

А пока думаем, как бы с честью закончить свою деятельность. Надоело ставить заметки по сорок строк и писать передовые по 60 строк; вся эта лапша сидит

---

[1] К. М. Тараданкин — военный корреспондент «Известий».

[2] И. И. Анисимов — критик-литературовед.

в печенках, но что делать... Утешает то, что теперь уже скоро.

Дома все по-прежнему. Юра учится на курсах по подготовке в вуз. Я приеду, он будет студентом! Здоровье неважное, но операцией буду заниматься уж сам. Очень сдала мать, возраст уж не молодой. Беспокоюсь, дотянет ли...

Землякам — Ивану[1], Косте[2] — кланяйся. Дай им бог успеха. А тебя не теряю надежды как-нибудь увидеть. На войне ведь бывают удивительные встречи!

Желаю больших успехов!

Обнимаю

Борис»

«*13.V.45*

Дорогой Леонид!

Вот и кончилась война! Конец застал меня западнее Берлина, в Померании. В Берлине не был, завидую тебе, на днях поеду, но это уже не то будет. Как твои дела? Говорят, вашего брата скоро отзывают. Пора, пора перейти к мирному труду.

У нас пока никто не знает, что предстоит, что нас ждет. Хочется писать, читать, делать настоящее дело... Вот сейчас пора говорить о какой-то иной работе. Если поедешь в Москву — расскажи ребятам — Паше Сатюкову, Ивану Березину, Виктору Николаеву, где я, что я. Может быть, кому-нибудь и пригожусь.

...Что сказать о себе? Страшная неопределенность, непривычность обстановки — старое уходит, к новому еще не привыкли. Втягиваемся. Хочется домой, хочется в Гагры или Коктебель. Только сейчас понимаешь, как устал, как нужно отдохнуть.

---

[1] И. А. Березин.

[2] К. М. Смирнов.

Ну, да ладно, все это дело будущего.

Желаю тебе всяческих успехов, благополучно совершить рейс Берлин — Москва.

Обнимаю.

Твой Борис»

Многие друзья Бориса — писатели и журналисты — вскорости после победного парада в Москве в июне 1945 года оказались то в Москве, то в других городах страны, кое-кто укрылся от шума городского и засел за повести и романы, чтобы рассказать об увиденном и пережитом. Я, к примеру, во второй половине 1945 года с представителями западной прессы побывал в Югославии и Польше, а потом в приятнейшем содружестве с Борисом Агаповым, Борисом Горбатовым и Константином Симоновым укатил в Японию, за сто дней исколесил ее вдоль и поперек.

В апреле 1946 года я вернулся в Москву и в первый же день позвонил в Горький в надежде поговорить с Борисом, а мне ответили: «Борис еще в армии, редактирует армейскую газету». Вот тебе и на! Мечтал сразу же после окончания войны отдохнуть, а потом работать за письменным столом, выдавать статьи о литературе и театре, а стал заправским военным газетным деятелем.

Прошло еще несколько дней, и я услышал в телефонную трубку знакомый глуховатый голос:

— Приезжай, и немедленно! Познакомлю с женой!

Борис оказался в Москве. Необычность события как по тревоге подняла меня, и через полчаса мы были во взаимных объятиях. Знакомить же меня с женой Бориса не пришлось. Марию Прокопович — приму Горьковского театра драмы, человека необыкновенного актерского обаяния и глубокого душевного богат-

ства — я знал давно и был в числе поклонников ее таланта. Все, что происходило в ту недолгую встречу, говорило об одном: Борис счастлив! Пусть все случилось несколько неожиданно, но так, как давно мечталось!

Через час Борис улетал на Запад, к месту службы, а Маша возвратилась в Горький — ей нужно было закончить сезон и передать свои роли дублерам. Мы успели договориться с Борисом, что он по своей военной линии, а я здесь, в Москве, будем добиваться возвращения Бориса в лоно литературы: здесь его призвание, здесь он — критик-марксист, прошедший через войну, — просто необходим.

Где-то летом 1946 года ко мне в «Известия» зашел молодой военный и передал письмо от Бориса:

«Дорогой Леня!

Рекомендую тебе моего друга Вениамина Фомина, музыканта, цензора... и вообще хорошего человека.

Я пребываю все в той же Силезии. Надоело. Может быть, скоро приедет семейство — все будет веселее. Собираюсь в отпуск, лечить свое старое тело там, где лечились всякие герцоги. Чем я хуже герцогов?!

Брось киснуть в Москве, приезжай к нам в гости... Поедем вместе в Альпы!

В начале августа буду в ваших краях — поеду устраивать Юрия на учебу в институт. Как в песне:

Кончат детки семилетки,
и поступят
детки в вуз!

Вот как жизнь-то идет!

Желаю тебе всего хорошего. Жму руку. *Борис*

Как успехи насчет перемены моего местожительства?»

Вскорости перемена местожительства Бориса Рюрикова состоялась. Его, как критика, знал и ценил руководитель Союза писателей СССР Александр Фадеев, хорошо знали некоторые работники аппарата ЦК КПСС. В начале тридцатых годов за творческими успехами молодого критика наблюдал А. А. Жданов, и теперь он поддержал предложение о демобилизации Б. С. Рюрикова и назначении его консультантом Управления агитации и пропаганды ЦК КПСС.

Так, в конце 1946 года Борис Рюриков стал не только жителем Москвы, но и активным участником всего послевоенного литературного движения. За исключением одного года (1949—1950 гг.), когда Рюриков работал в родном городе Горьком заместителем заведующего отделом пропаганды, он до последнего дня жизни оставался уже москвичом и по характеру своей работы оказывал влияние на литературный процесс и жизнь писательской организации. Вспомним главные этапы его послевоенной деятельности. Консультант, заместитель заведующего и заведующий сектором Отдела пропаганды ЦК КПСС (1946—1949 гг.), заместитель главного редактора «Литературной газеты» (1950—1952 гг.), член редакционной коллегии и редактор «Правды» по отделу литературы и искусства (1952—1953 гг.), главный редактор «Литературной газеты» (1953—1955 гг.), заместитель заведующего Отделом культуры ЦК КПСС (1955—1958 гг.), заведующий отделом культуры журнала «Проблемы мира и социализма» (1958—1961 гг.). Год был членом редколлегии журнала «Знамя», а с 5 февраля 1963 года главный редактор журнала «Иностранная литература»; с мая 1967 года — секретарь правления Союза писателей СССР.

И еще. Педагогическая работа была как бы второй страстью Бориса Сергеевича. С 1961 года он, одновременно при всем том, что лежало на его плечах, был научным руководителем аспирантов кафедры литературоведения и искусствоведения Академии общественных наук при ЦК КПСС. Любопытно одно обстоятельство: литературовед Борис Рюриков, так много сделавший для советской литературы, не имел никакой ученой степени, да, по его признанию, и не стремился к этому. О том, что еще в начале 1964 года Рюриков был утвержден в звании профессора, многие узнали после его смерти.

Конечно, место критика в судьбах родной литературы определяется не степенями, званиями и занимаемыми должностями, хотя некоторую взаимосвязь тут отрицать нельзя. Главным все же является произведения критика, которые и определяют его роль и значение, а также влияние на литературную жизнь. При этом важно заметить, что Борису Рюрикову в его творческой работе не мешали ни высокие служебные посты, ни огромная нагрузка общественными обязанностями: он был членом Ученого совета Института мировой литературы Академии наук СССР, членом редакционного совета издательства «Художественная литература», членом редакций многих изданий. Он был тружеником во всем прекрасном значении этого слова.

Как и в годы жизни в Горьком, московская квартира Бориса Рюрикова была домом прочитанной книги. В его кабинете, на книжных полках, на письменном столе, на диване, на подоконнике, на стульях — везде, где только можно было лежать книгам, они лежали стопами. И все прочитанные, как правило, с характерными подчеркиваниями и замечаниями на

полях. Среди прочитанных книг художественная литература занимала, наверное, меньше половины, хотя Борис читал почти все новинки. Философия, эстетика, проблемы современного рабочего и коммунистического движения, книги разного рода западных «советологов», догматиков и ревизионистов, книги о текущей внутренней политике — все входило в круг интересов Рюрикова.

И, я знаю, читал Борис не по диагонали, как некоторые, а все, слово в слово, внимательно, вдумчиво. Видимо, в этом надо искать секрет глубокой содержательности сотен его статей о литературе, опубликованных в послевоенной периодике, десятков вступительных статей и предисловий к книгам классиков и советских писателей и многих его книг, вышедших в свет за последние тринадцать лет жизни. В данном случае я не ставил перед собой задачи исследовать и оценивать труды Б. С. Рюрикова. Цель моих воспоминаний иная — рассказать о нем как о человеке, посвятившем всю жизнь литературе, как о большом друге многих советских писателей.

В самом деле, более сорока лет из шестидесяти прожитых Борис Сергеевич заметками, статьями, устными выступлениями откликался на появлявшиеся в свет художественные произведения самых различных жанров. Последнее двадцатилетие его критической деятельности отмечено уже настоящими исследованиями не только отдельных произведений, но явлений и процессов, происходивших в нашей литературе. Поэтому не случайно на Втором Всесоюзном съезде советских писателей в декабре 1954 года с докладом «Основные проблемы советской литературной критики» выступал Б. С. Рюриков. И сколько было подобных выступлений в более поздние годы!

Удивительно широк диапазон интересов Б. С. Рюрикова и его выступлений в печати. Назову хотя бы несколько статей: «Бессмертные мысли Ленина» (о книге Клары Цеткин «Воспоминания о Ленине»), «Письма Ленина», «М. И. Калинин и вопросы литературы», «Социализм и человек», «Гуманизм нашей эпохи», «О богатстве искусства», «О некоторых вопросах социалистического реализма», «О романе Л. Толстого «Воскресение», «О творчестве Л. Н. Толстого и некоторых его истолкователях», «Ф. М. Достоевский и его роман «Преступление и наказание», «Наследие классиков и советская литература» и так далее. Были статьи — их много, — посвященные творчеству Н. Г. Чернышевского.

Трудно назвать значительное произведение послевоенной художественной литературы, которое было бы обойдено вниманием критика Бориса Рюрикова. В свое время я читал почти все, написанное Борисом в периодике. Меня покоряла ясность позиции автора, простота и четкость письма, а порой и задорная полемичность. Рюриков был своеобразным «первооткрывателем таланта», произведения, созданного этим талантом. Немедленно по прочтении повести, романа или поэмы, написанных молодым литератором, он писал статью, обстоятельную, вдохновенную. Нередко мысли, высказанные в первом отклике Рюрикова, повторялись или варьировались другими критиками. Иногда критик Рюриков полемизировал с уже сложившимся мнением о том или другом произведении, то не в меру расхваленном или возведенном в ранг образца, то облыжно обруганной талантливой книге молодого автора.

Борис Сергеевич был человеком на редкость скромным и требовательным к себе. В книги, вышедшие при

жизни, — «Литература и жизнь», «О богатстве искусства», «Коммунизм, культура, искусство», «Марксизм-ленинизм о литературе и искусстве», «Социализм и человек», «Н. Г. Чернышевский» — он включил незначительную долю своих работ, созданных за сорок с лишним лет. (Некоторые из этих книг, по счастью, оказались в моей библиотеке с дарственными надписями автора.) Они, эти книги, сохранили в себе ум, талант, темперамент, неподкупную любовь их автора к советской литературе. Смело можно утверждать, что без этих книг Бориса Рюрикова невозможно изучать историю и развитие советской литературы, так же как, изучая историю советской литературы, невозможно обойти имя Бориса Сергеевича Рюрикова[1].

Если говорить об общечеловеческих чертах характера Бориса Рюрикова, то совокупность их укладывается в три понятия: принципиальность, скромность, добросердечие. Ни высокие посты, ни адская загруженность по работе не изменили отношения Бориса к старым друзьям, с которыми он шел по литературным тропам первые годы своей биографии критика и литературоведа. Кто бы из горьковских писателей ни приезжал в Москву, в каком бы настроении он ни был — радостном или обеспокоенно-тревожном, — он

---

[1] Уже после того, как были написаны эти воспоминания, вышла книга «Современная литература за рубежом» — литературно-критические статьи. Сборник 3. В числе авторов: Б. Рюриков, Е. Книпович, Б. Сучков, Д. Затонский, В. Днепров, Е. Амбарцумов, Б. Слуцкий, Л. Зонина, А. Зверев и др. Вслед за титульным листом специальная вклейка, а на ней несколько строк текста: «Авторы посвящают свой коллективный труд памяти Бориса Сергеевича Рюрикова, который был инициатором этого издания. Статьи, вошедшие в сборник, задумывались и осуществлялись при его непосредственном участии, в каждой из них есть частица его ума и сердца».

обязательно искал встречи с Борисом. Искал потому, что его радость станет радостью и Бориса, а беспокойство и тревогу Рюриков постарается рассеять, если нужно, то и своим энергичным вмешательством в судьбу этого писателя.

Характерен из десятков возможных иллюстраций к сказанному хотя бы такой эпизод. Летом 1955 года, когда Б. С. Рюриков был главным редактором «Литературной газеты», он предложил мне на денек-два смотаться на строительство Горьковской ГЭС, что у Городца на Волге. Строительство шло к своему завершению. Я в ту пору был заместителем главного редактора журнала «Огонек», и поездка представляла для меня и практический интерес. Чтобы не терять времени, мы выехали в ночь на автомобиле. Нашими спутниками были коренные нижегородцы — заместитель Рюрикова по «Литературке» Валерий Косолапов и очеркист, спецкор «Огонька» Евгений Рябчиков.

Осмотрели стройку, побеседовали с рабочими, инженерами и сразу в Горький. Там, конечно, встреча со старыми друзьями, душевная, радостная. Но мы не уехали из города, пока не побывали у тогдашнего первого секретаря обкома КПСС Д. В. Смирнова. Настоял на этом Борис Рюриков. Причину он пояснил секретарю обкома так:

— По нелепому поводу во время войны был арестован крупнейший писатель Поволжья Николай Кочин. Он давно уже освобожден, но, по не менее нелепому поводу, вынужден жить не в Горьком, где его квартира, где его жена, а за Волгой, на Бору. Он изредка приезжает на свидание с женой. Просим положить конец этой чудовищной несправедливости!

Как мы знаем, Н. И. Кочин не только был полностью реабилитирован, но в дни своего шестидесятилетия награжден орденом Трудового Красного Знамени. На Четвертом и Пятом съездах писателей СССР он избирается членом правления Союза. Его произведения снова выходят в Горьком и в Москве. Предисловие к роману «Девки», переизданному в 1965 году «Художественной литературой», написал Борис Рюриков. Заканчивается оно так: «Н. И. Кочин создал значительные художественные образы, доносящие до нас дыхание эпохи гражданской войны, перехода к мирному строительству, первых советских пятилеток. Ныне писатель в строю, и мы верим, что он создаст новые талантливые произведения о людях нашей страны». Через пять лет после этих слов, в 1970 году, в журнале «Волга» опубликован новый роман Николая Кочина «Нижегородский откос».

Борис просто светлел, когда у него собирались нижегородские друзья-товарищи. В дни Второго съезда писателей РСФСР в квартире Рюрикова на Ново-Песчаной собрались почти все оставшиеся в живых писатели-горьковчане, которые действовали в литературе Горьковской области в тридцатые годы. Борис сиял, вспоминая свою и нашу юность. Он сиял еще и потому, что в те дни исполнилось совершеннолетие его сына Дмитрия. По этому поводу была извлечена из домашних тайников бутылка коньяка с наклеенной бумажкой, на которой моей рукой восемнадцать лет тому назад было написано: «Как крестный, разрешаю открыть и распить эту бутылку в день совершеннолетия моего подопечного Дмитрия Борисовича Рюрикова». Мы долго и мощно кричали «ура!», чокались со студентом-первокурсником Дмитрием Рюриковым.

Последние два десятилетия мы виделись реже —

были очень заняты, но встречались друг у друга по семейным праздникам, часто перезванивались по телефону и почти перед каждым праздником — Новый год, Первое мая и 7 ноября — обменивались с Борисом и его семьей поздравительными открытками. В десятках коротких душевных пожеланий, которыми Борис Сергеевич сопровождал свои приветы, много искреннего добродушия и мягкого юмора. К примеру: «Пусть всем улыбается солнце», «Пусть Вам будет хорошо, по возможности *очень хорошо*!», «В общем, пусть хорошие люди живут, как *они* хотят, пусть плохие люди живут, как *Мы* хотим... Лично я 7-го улетаю в Индию... Праздник над «Гималаями». Поздравляя с новым, 1962 годом и желая счастья, Борис добавлял: «и, как говорят философы, с диалектическим сохранением старого счастья». В первомайской открытке 1965 года он сообщал: «Уезжаю в Белград, когда вернусь, еще точно не знаю, поэтому поздравляю тебя вперед». В конце мая 1966 года: «Меня не было в Москве, и я был лишен возможности поздравить тебя с шестидесятилетием. Делаю это с опозданием и заочно. Я рад, что почти сорок лет знаю тебя, глубоко ценю твою работу, солдата литературы и печати, уважаю и люблю тебя... Желаю тебе всего того хорошего и отличного, что ты желаешь себе сам. Обнимаю и целую». Были и такие строки надежды: «Из 50 лет Советской власти 40 лет мы дружим. Будем это продолжать хотя бы еще столько!»

Мечтам и надеждам не удалось осуществиться. Открытка-поздравление с 7 ноября 1968 года. Борис пишет: «Мы встречаем праздник под надзором врачей, но надеемся, что все же выпьем по рюмочке за старых друзей. Считаем это своим долгом и в «Соснах». В общем мы здоровы, лечимся, т. е. здоровеем, и вам

желаем бодрости, удач, хорошего настроения. Будьте счастливы! Обнимаем сердечно». Это праздничное поздравление Бориса оказалось последним — 21 мая 1969 года его не стало.

Может быть, тут и стоило бы поставить точку: как будто главное, что я знаю о Рюрикове, сказано. Если бы не одно обстоятельство. А обстоятельство такое. У Бориса Рюрикова, как у всякого критика, были не только друзья. Кого-то он гладил и против шерстки не потому, что не любил этого писателя, а по существу оценивал его творения. До скрупулезности он был принципиален. Не только не принадлежал ни к какой литературной группе, но всякую групповщину считал вредной для литературы. Люди же, причастные к групповщине, нередко позицию Б. С. Рюрикова по тому или другому произведению объясняли не его принципиальностью, а происхождением, которое, мол, и объясняет для одних «всеядность Рюрикова», для других — «сухой догматизм». Те и другие вопросительно намекали: а вы знаете, кто отец Рюрикова? И многозначительно называли то одну, то другую фамилию.

Основанием для намеков и измышлений служило то, что родился Борис 2 апреля 1909 года в Женеве. Революционерка-мать находилась в Швейцарии в эмиграции. В 1913 году мать и сын вернулись в Россию, до 1918 года жили в Арзамасском уезде бывшей Нижегородской губернии, где мать работала врачом в селе Чернуха. В 1918 году Рюриковы переехали в Нижний.

В литературе по истории революционного движения в Нижнем Новгороде в конце прошлого и в начале нынешнего века фамилия Рюриковых встречается не

раз как участников марксистских кружков, организаторов стачек и демонстраций. Дядя Бориса Сергеевича по матери, Б. И. Рюриков, вел в Нижнем активную революционную работу, был знаком с А. М. Горьким. Умер он в Нижнем в 1902 году после пыток в тюрьме. А ему было всего 24 года. Похороны Б. И. Рюрикова превратились в политическую демонстрацию против царского строя. Во время похорон, в которых участвовал Я. М. Свердлов, произошло столкновение с полицией. Исследователи творчества А. М. Горького утверждают, что страницы повести «Мать» о похоронах Егора Ивановича рисуют картины, очень похожие на похороны Б. И. Рюрикова.

Мы, друзья Бориса, никогда его не спрашивали об отце, да он и не допускал разговоров на эту тему, всегда ограничиваясь одной фразой: «Моя фамилия по матери». Так мы ничего и не ведали об отце Бориса. Ну и что же? Не стал же он, Борис, в нашем сознании от этого ни хуже, ни лучше?

Оказалось все не так просто. Имя отца не только приоткрыло завесу в до сих пор неизвестное, но как-то по-особому осветило всю жизнь Бориса, его талант, скромность, демократичность.

В личном деле Бориса Сергеевича Рюрикова, что находится в Отделе творческих кадров Союза писателей СССР, в автобиографии, написанной Борисом в августе 1952 года, я с немалым удивлением прочитал: «Отец — крестьянин-самоучка, автор нескольких книг о деревне, убит в 1922 году кулаками, как рабкор». И все. Как же так? Мать жила в Женеве, Борис там и родился. А отец — русский крестьянин. Убит кулаками. Как же звали отца? Писатель-самоучка? Откуда он? Его фамилия? Я стал лихорадочно перелистывать страницы «личного дела» и только в одной

из последних анкет, заполненных Борисом, прочитал: «Отец — Семенов Сергей Терентьевич, 1880 года рождения, с. Андреевка, Волоколамского уезда, Московской губернии. Умер в 1923 г., беспартийный. Мать — Юлия Ивановна, 1885 г. рождения».

С. Т. Семенов? Не тот ли, которого опекал Л. Н. Толстой, кажется, даже написал предисловие к книжке крестьянского писателя? Я немедленно бросился к телефону. Звоню тем, кто «все знает», книжникам, любящим литературу. «Видимо, тот самый! — отвечает один и спрашивает: — А почему у Бориса Сергеевича фамилия не Семенов, а Рюриков?!» Что я могу ответить? Сам ищу ответ. Сергей Борисович Сутоцкий, журналист-публицист, дотошный копуша, выслушав меня, с восторженной ноткой в голосе сказал:

— Теперь-то мне все понятно, — гудел в трубке баритон Сутоцкого. — В конце 1965 года в издательстве «Правда» под моей редакцией вышла книга воспоминаний более чем пятидесяти авторов: «М. И. Ульянова — секретарь «Правды». Вскорости в одном из холлов редакции «Правды» я встретил Бориса Сергеевича Рюрикова. Он темпераментно пожал мне руку и сказал: «Спасибо за книгу о Марии Ильиничне Ульяновой. Эта книга дорога мне в личном плане». Признаюсь, тогда я остался в полном недоумении: почему книга воспоминаний о М. И. Ульяновой дорога Борису Рюрикову в личном плане? А теперь, когда ты мне сказал, что отец Рюрикова волоколамский крестьянин-писатель С. Т. Семенов, мне все понятно. В книге, которую я редактировал, есть воспоминания журналиста В. Федоровича. Почитай их, и тебе, как и мне сейчас, будет ясно, почему эта книга была так дорога Борису Рюрикову в личном плане.

Прежде чем прочитать воспоминания В. Федоровича, я познакомился с книгой Ивана Белоусова «Литературная Москва», изданной «Московским товариществом писателей» вторым, исправленным и дополненным изданием, видимо, в 1928 году и, конечно, оказавшейся в библиотеке С. Б. Сутоцкого.

Книга содержит беглые литературные зарисовки писателей из народа второй половины XIX и начала XX века.

Теперь эта книга, можно сказать, библиографическая редкость. Поэтому позволю себе процитировать из нее основное, что связано с С. Т. Семеновым.

Одним из первых пишущих людей, с которыми познакомился семнадцатилетний Иван Белоусов, был Иван Матвеевич Вдовин — волостный писарь Бухоловской волости, Волоколамского уезда, Московской губернии. Белоусов называет его «одним из первых селькоров», «он писал корреспонденции в журнал «Русь», издаваемый Иваном Сергеевичем Аксаковым, и вел с ним переписку». «Вдовин писал стихи и рассказы из народного быта, а в 1889 году издал книжечку стихов «Для детей».

Через несколько страниц после беглого рассказа о Вдовине в воспоминаниях Ивана Белоусова читаем:

«Вскорости после того, как я познакомился с И. М. Вдовиным, он, в один из своих приездов в Москву, сказал мне, что по соседству с ним живет еще один молодой писатель-крестьянин Сергей Терентьевич Семенов, с которым я через Вдовина и познакомился.

Семенов жил в деревне Андреевской, Волоколамского уезда, где семья его вела крестьянское хозяйство.

Семенов писал рассказы из деревенского быта. Вскоре на него обратил внимание издатель только что

образовавшейся в то время фирмы «Посредник» — Иван Иванович Горбунов-Посадов, который познакомил его с Л. Н. Толстым...

Первый рассказ «Два брата» заинтересовал Льва Николаевича, и он был издан «Посредником».

Помню, впоследствии, когда я близко сошелся с Семеновым, мы как-то проходили с ним по одной из улиц близ Сокольников, — он указал мне на небольшой флигелек и сказал:

— Вот тут помещалась красильная фабрика — юношей я работал на ней. Вот под тем окном была моя койка, где я после работы писал свой первый рассказ «Два брата»...

Познакомившись с Л. Н. Толстым, Семенов сделался «толстовцем» — стал вегетарианцем, не ходил в церковь, не крестил детей.

Начав рассказом «Два брата», Семенов написал множество повестей, рассказов и пьес из народного быта, а вместе с тем из-под его пера вышло много довольно ценных статей по сельскому хозяйству, земельным и кооперативным делам. Жизнь деревни он знал доподлинно; кроме того, его кругозор еще более расширился после того, как он побывал за границей: он был выслан из России по приказу царского правительства, как «вредный элемент», и довольно долгое время прожил в Швейцарии и Англии.

Как художник-писатель Семенов отличался правдивостью и верностью описаний жизни крестьянства и окружающей его природы. Эти достоинства отметил Л. Н. Толстой и вот что сказал в своем предисловии к 1-му тому «Крестьянских рассказов» Семенова, вышедших в 1894 году:

«Честность — главное достоинство Семенова. Форма рассказов совершенно соответствует содержанию:

она серьезна, проста, подробности всегда верны — нет фальшивых нот. В особенности же хорош — часто совершенно новый по выражениям и поразительно сильный и образный язык, которым говорят лица рассказов. . .»

Судя по письмам, которые я много лет получал от Семенова из деревни и из-за границы, и из бесед с ним, — я видел, как он сильно интересовался всем новым в литературе, науке и общественной жизни, читал он очень много, и в этом отношении его можно поставить в первые ряды писателей, вышедших из народа.

Семенов, среди окружающей его темноты, являлся светлым пятном, — он, узнавший свет, стал борцом против тьмы народной, изобличал невежество, своим знанием и опытом разбивал деревенские суеверия и предрассудки на почве религиозной и общественной; говорил об этом прямо и открыто, и, конечно, нажил себе много врагов, которые не раз проявляли свою дикую месть против своего обличителя. Семенов нес культурный свет в деревню, устраивал спектакли, собрания, принимал участие в кооперации.

Богачи-кулаки деревенские всячески старались извести его, десятки доносов написали на него властям, несколько раз его поджигали, и, наконец, 3 декабря 1923 года он был убит из ружья своими соседями односельчанами, когда шел в соседнюю деревню к знакомому учителю.

С. Т. Семенов был знаком со многими писателями, конечно, он больше интересовался такими же выходцами из народа, каким он был сам».

Все написанное Белоусовым о С. Т. Семенове — интересно. Но тот ли это Семенов, о котором пишет в своей автобиографии и анкете Б. С. Рюриков? В ан-

кете Б. С. Рюриков пишет, что С. Т. Семенов родился в 1880 году. А том «Крестьянских рассказов» Семенова вышел в 1894 году, выходит, автору было всего 14 лет? Невероятно. Кто же ошибся?

В первой книге 69-го тома «Литературного наследства» «Лев Толстой» приводятся письма Л. Н. Толстого и другие материалы, убедительно показывающие, что С. Т. Семенов родился значительно раньше, нежели указано в анкете Б. С. Рюрикова. Так, в письме «В лавку Сытина» Л. Н. Толстой пишет: «Книги, заказанные мною, прошу, пожалуйста, передать Сергею Терентьевичу Семенову». Авторы справки к публикации писем Л. Н. Толстого к С. Т. Семенову датируют это письмо периодом 1887—1890 гг. Они утверждают, что С. Т. Семенов познакомился с Л. Н. Толстым еще в 1886 году, когда принес ему на просмотр свой первый рассказ «Два брата». Рассказ был напечатан в 1887 году. В начале апреля 1889 года Семенов послал Толстому рукопись своих повестей «Немилая жена» и «Назар Ходаков». 10 апреля Л. Н. Толстой отвечал ему: «Рукописи я ваши прочел. «Немилая жена» лучше, но еще грубо. Другая тоже имеет этот же недостаток и вся слабее». После исправлений, сделанных автором, повесть «Немилая жена» была издана «Посредником» в 1891 году. Посылая Черткову повести Семенова, Л. Н. Толстой писал: «Семенов очень замечательный человек, не столько по уму, сколько по сердцу, и повести его в сыром их виде очень замечательны, отражая народный быт, как он действительно есть. Я его очень люблю и переписываюсь с ним».

С. Т. Семенов, как утверждают авторы публикаций, неоднократно бывал у Толстого в Ясной Поляне и в Москве. Переписка между ними длилась несколько лет. Так, 5 сентября 1894 года Л. Н. Толстой писал

С. Т. Семенову из Ясной Поляны: «Рассказы Ваши большинству людей непредубежденных нравятся. Либеральные же журналы осуждают: одни («Вестник Европы») за то, что они слишком нетенденциозны, а «Мир Божий» за то, что они тенденциозны. Пишите, не думая об этих критиках, а только о том, чтобы не погрешить словом».

В приведенных выдержках встает образ писателя из народа С. Т. Семенова. Но этот ли Семенов отец Б. С. Рюрикова? Не мог же шестилетний мальчик (как пишет Рюриков, Семенов родился в 1880 году, а первый рассказ Л. Н. Толстому Семенов принес в 1886 году) принести Толстому рассказ, который через год был опубликован?

Листая том «Литературного наследства», я увидел овальную фотографию С. Т. Семенова. Даже вскрикнул от неожиданности: уберите бородку и усы — и увидите знакомое лицо Бориса. Борис Рюриков внешне — копия отца. Сомнений нет, дату рождения С. Т. Семенова Борис, видимо, не знал и ошибочно пометил ее 1880 годом! Здесь нужно искать объяснение и тому, что в автобиографии Рюриков пишет, что отец убит в 1922 году кулаками, как рабкор, а позднее, в анкете: отец «умер в 1923 году».

В конце 1970 года в издательстве «Художественная литература» вышла книга С. Т. Семенова «Рассказы». Автор предисловия к книге К. Ломунов, исследователь жизни и творчества Семенова, указывает точные даты: «Он родился в тот же самый год, месяц и день, что и Алексей Максимович Горький, — 28 марта 1868 года», «Его убили невдалеке от родного дома, в начале декабря 1922 года». Из статьи К. Ломунова мы также узнаем, что накануне первой русской революции Семенов устанавливает связи с социал-демократами, стано-

вится членом «крестьянского союза». В 1905 году Семенов был арестован полицией, через два месяца выпущен. «Неблагонадежный» писатель волостным сходом был направлен представителем в Государственную думу, но снова арестован и приговорен к ссылке в Олонецкую губернию. И только благодаря вмешательству влиятельных лиц ссылка была заменена высылкой за границу. В 1908 году С. Т. Семенов вернулся на родину.

С. Т. Семенов был плодовитым писателем. В 1909—1911 годах издательство «Посредник» выпустило шесть томов «Крестьянских рассказов» Семенова, издание было отмечено премией Академии наук. Им написан целый том «Крестьянских пьес для народного театра», мемуарная книга «Двадцать пять лет в деревне», книга очерков «Крестьянские беды», писал он и стихи.

Сообщая интересные детали жизни и творчества С. Т. Семенова, цитируя его письма Ю. И. Рюриковой, К. Ломунов посвящает свою статью «Светлой памяти Бориса Сергеевича Рюрикова», но ни словом не обмолвился о причинах переписки матери Бориса с крестьянским писателем и о кровном родстве Бориса с Семеновым. Отчество — Сергеевич — еще ни о чем не говорит.

А между тем это родство в какой-то мере символично! Поэтому-то в воспоминаниях о Борисе Рюрикове я так подробно пишу и о С. Т. Семенове. Борис Рюриков — сын профессиональной революционерки, сын крестьянина, сын крестьянского писателя-революционера, которого убили классовые враги советской власти и партии Ленина. Истоки литературной деятельности Бориса Рюрикова и его глубочайшей партийности и принципиальности надо искать и здесь!

Но я не могу еще оборвать повествование. О чем

же пишет В. Федорович в книге воспоминаний о Марии Ильиничне Ульяновой? Он рассказывает, как пришел в кабинет Марии Ильиничны по ее вызову:

«Январский день скупо освещал ее широкое лицо. Из типографии сквозь двойные рамы в комнату пробивался шум печатной машины.

— Убили крестьянского писателя Семенова, — сказала она, взглянув на меня карими глазами. — Поедете?

...Укомовский кучер сидел рядом со мной. Как только мы выехали на заставу, он начал свой рассказ.

Тихим рассудительным тоном кучер... говорил, что Сергей Терентьевич был ходоком, страдальцем за народ... Он упорно стоял на своем: «Надо, чтобы крестьянский труд ценили, чтобы крестьянину жилось тепло и сытно, и не в раю, а нынче же!..»

Но Григорий Малютин говорил: «Сергей Семенов — колдун и завлекатель. Ты перекрестись с верой, дунь и плюнь — и ничего от его затей не останется!»

Я спросил:

— Кто такой Григорий Малютин?

— Как кто такой? Староверец он, Малюта, сосед Сергея Терентьевича. Он и убил. Всей семьей устерожили. Сергея под самой деревней и убили...

— За что?

— За то, что отобрали у Малюты лишки земли, десятин с двадцать, да лес и большой дом под клуб «Светлый путь».

— Советская власть у всех отобрала лишки.

— Но Семенов в газете писал, и Малюта затаил злобу.

...— До одного еще не добралась власть, — добавил кучер, — до дьякона Николая Цветкова. Это он,

анафема, подговорил Малюту, когда они приехали к нему со всей семьей за советом. Дьякон так и сказал: «Провижду, что живет подле вас настоящий черномагистер. И вред от него вашему дому всемерный».

...Вернувшись из Андреевки на следующий день, я принес в редакцию очерк «Роль веры некасаемая». Эти слова Малютин произнес на допросе. Мария Ильинична сидела над оттисками сверстанной газеты. Она прочла рукопись и сказала:

— Расскажите подробнее о семье покойного. Какие после него остались литературные труды?

Я рассказал, что семья поставлена на ноги, три дочери сельские учительницы. А литературным трудом Сергей Терентьевич уже давно перестал заниматься.

...По-видимому, творить ему было некогда. Когда-то хватало времени писать «Отчего Параша не выучилась грамоте», а когда все Параши сели за парты и благополучно учились, он не писал, вероятно, только копил материал. Старшая дочь Сергея Терентьевича Таня вынула из стола и показала мне дневник отца, куда он по вечерам записывал дела, тревоги и мысли дня.

Мария Ильинична слушала, ссутулясь в кресле. Громче вздыхали машины за окном.

— Таня, Люда, Лена — три учительницы, — задумчиво сказала она. — Это хорошее наследство. — Она взяла трубку с «вертушки» и сказала, чуть улыбнувшись: «Добрый день, Надя! В семье Семенова три дочери: Татьяна, Людмила, Елена — сельские учительницы».

Потом она снова позвонила по «вертушке» и поздоровалась, как я понял, с руководителем Госиздата. Говорили с ним об издании однотомника Сергея Семенова. Голос ее был суховат и деловит — привычная

оперативность старой, видавшей виды революционерки: действовать без лишних слов, по самой кратчайшей прямой».

В этих воспоминаниях В. Федоровича весьма знаменательна одна деталь: в семье Ленина, — Надя — это Н. К. Крупская, — говорили о гибели Семенова, о его семье, возможно, знали и его самого. Но, конечно, не знали, что кроме трех дочерей-учительниц у С. Т. Семенова был еще сын Борис, который в день гибели отца бегал в нижегородскую школу второй ступени.

В воспоминаниях В. Федоровича есть и неточности. Во-первых, он вошел в кабинет М. И. Ульяновой не в «январский день» и назывался его очерк не «Роль веры некасаемая», а «За то, что не знался с богом», и напечатан он 24 декабря 1922 года, на первой странице «Правды». Несколько кусочков из этого очерка:

«Деревня Андреевка веселая... И избы веселые, с мезонинами. Такая же изба и у Сергея Терентьевича Семенова.

На мезонине (беседкой называется) жил сам... В мезонине у Сергея Терентьевича все полки и этажерка перегружены толстыми книгами... Маркс — тут же на столе, открытый...

Деревня-то только с виду веселая, а внутри разъедала все душная тьма. Половина деревни — новый человек, не верящий в бога, вместе с Семеновым выставивший из изб иконы, половина — «староверье»...

Отца-то Сергея Терентьевича убил кто? — Малютин Григорий. Ну, хоть не прямо убил, а забил до смерти, и скончался от того старик вскорости...

Ночью идет Сергей по деревне — откуда-то кирпич летит. Сарай сожгли. Ригу со всеми орудиями тоже сожгли...

Сергей машины привез. В деревне опять спектакли пошли, лекции, молодые споры... Мечтал школу второй ступени открыть, молочное дело наладить...

По проселку, ночью, зажимая под тулупом рукопись, шел Сергей Терентьевич. Шел к учителю. Сколько лет писал Сергей Терентьевич (семь томов издал), а не мог одолеть грамматики: натруженными руками «больно несусветно карякал рукопись»...

Выстрелил Григорий Малютин в упор из нагана. Сын Николай выскочил с винтовкой, — дал второй раз. Потом дал еще в лежачего. Пнули с дороги...

Малютину угрожал самосуд, но власти выехали вовремя, и они сознались. Сам старик Григорий Малютин сказал:

— Да, убили семейно. Вредный был для нас человек. Чернокнижник. Зло от него...

Беседка Сергея Терентьевича опустела. В поле, без попа, без икон, но всей волостью, многотысячной скорбной толпой положили крестьяне писателя Сергея Терентьевича Семенова пониже, чем берет лемех, привалили четырехугольным серым камнем, на котором поземка вьет пламенем алые ленты».

Пламенный отсвет алых лент, шедший с могилы отца, как бы осветил путь Бориса Рюрикова.

В некрологе правлений Союзов писателей СССР, РСФСР, Москвы, Академии общественных наук при ЦК КПСС и редакции журнала «Иностранная литература» о Б. С. Рюрикове сказано: «Ушел от нас высокоталантливый ученый-марксист, всю жизнь стоявший на переднем крае идейной борьбы. Образ этого замечательного человека и коммуниста всегда будет жить в нашей памяти».

1971

ВСТРЕЧИ С АЛЕКСАНДРОМ ТВАРДОВСКИМ

Я не был в числе тех друзей поэта, которым он доверял сокровенные мысли, не работал в журнале, который он редактировал, не вступал с ним в литературоведческие дискуссии, не участвовал в поездках по стране. Но волею обстоятельств я оказался сопричастным к первым публикациям некоторых произведений Александра Твардовского, провел с ним немало вечеров в беседах. Многие годы мы были связаны с одной газетой, жили в одном доме, бывали друг у друга. И мне думается, что все, что сохранила память, все, о чем свидетельствуют письма и даже автографы поэта на книгах, подаренных мне, и есть крупицы биографии Александра Трифоновича Твардовского, — пусть и они в какой-то мере помогут осветить личность и творчество одного из выдающихся поэтов России двадцатого века.

Встретились мы с Александром Твардовским на войне, в конце второй мировой. Войска Третьего Белорусского фронта, освободив Литву, били врага на его территории, штурмовали Восточную Пруссию.

Свел нас полковник Баканов.

Читатель, надо надеяться, меня не осудит, если вначале я расскажу о Баканове, — Твардовский хорошо относился к полковнику, дружил с ним.

Николай Александрович Баканов принадлежал к той плеяде кадровых военных, которые, независимо от занимаемых постов (в свое время он командовал полком, а в годы войны был заместителем редактора фронтовой газеты «Красноармейская правда»), всегда со всеми оставался «на равной ноге». Тихий, скромный, даже застенчивый человек, в пору, когда он командовал полком, в свободные от службы часы сочинял бесхитростные зарисовки, в которых были живые картины воинской службы. В непринужденно написанных сценах показывались удачливые и неудачливые солдаты, думающие командиры взводов и солдафоны, наводящие дисциплину не разъяснением и убеждением, а криком. Несколько зарисовок, написанных командиром полка Н. Бакановым, появились в военных газетах. Это-то обстоятельство и изменило его «жизненный профиль».

Став военным журналистом, Николай Баканов написал несколько книжек, опять же без претензий на художественность, но поучительных для солдата и молодого командира: популярно рассказывалось об уставных нормах жизни взвода, роты, батальона.

В начальный период войны — летом 1941 года — корреспонденты центральных газет, аккредитованные при Западном фронте, оказались под заботливой опекой редакции «Красноармейской правды». Жили мы в палаточном городке, упрятанном в молодом березняке в районе Касни. Вместе с сотрудниками фронтовой газеты ездили в дивизии и полки, вместе с ними каж-

дое утро выходили на боевую зарядку, которую неизменно проводил Николай Баканов.

Фронтовые дороги разлучили нас на три года. Лишь летом 1944 года, после освобождения Каунаса, я снова разыскал редакцию «Красноармейской правды» и с радостью скрестил объятия с полковником Бакановым. За обедом не обошлось без «трофейной жидкости». Я продекламировал на память что-то из «Василия Теркина».

— А Твардовский-то теперь у нас, в нашей редакции, — не без гордости сказал Баканов. — Мы с ним дружим. Хоть он и с трудноватым характером, но человек простой, свойский. Обязательно познакомлю тебя.

Не помню, когда и при каких обстоятельствах состоялось это знакомство, в конечном счете это и не так уж важно. Но знаю точно: новый, 1945 год Твардовский и я встречали вместе. Был в Каунасе один дом, точнее, фотостудия, принадлежавшая Карлу Петровичу Баульсу. Она стала своеобразным местом встреч для фронтовых писателей, журналистов, художников, фотокорреспондентов. Войска Третьего Белорусского фронта вступили в Восточную Пруссию. В воздухе пахло весной — весной Победы. Вполне понятно, что наше новогоднее застолье стало веселым, полным ощущения радости. Как бы главной фигурой новогоднего торжества оказался Александр Твардовский. Он с каким-то упоением читал стихи, отрывки из «Василия Теркина» и пел. Пел со всеми. Пел и один старинные русские песни, пел тихо, задумчиво, задушевно. А когда пели все или подпевали ему, Твардовский не разрешал врываться в строй песни громовыми и ухарско-раздольными выкриками. Впервые оказав-

шись рядом с Твардовским, я поразился обилию и разнообразию его песенного репертуара. Это в какой-то мере говорило об истоках народности «Страны Муравии», «Василия Теркина», многих стихотворений поэта, которые к тому времени я знал.

Мы расстались на рассвете на улицах Каунаса. Твардовский ушел к себе в редакцию, а я уехал в пятую армию, в дивизию генерала Казаряна. Возможно, на этом и закончились бы мои «взаимоотношения» с Александром Твардовским, если бы опять же не Николай Баканов.

В феврале 1945 года из-под Кенигсберга я уехал под Берлин, на Первый Белорусский фронт. Полковник Баканов примерно в то же время был назначен членом редколлегии и редактором военного отдела газеты «Известия», корреспондентом которой я и являлся. Вскоре после окончания войны я из Берлина вернулся в Москву. Первым, кого я увидел в кабинете своего непосредственного начальника Н. А. Баканова, был Александр Твардовский.

Говорят, солдатская дружба — самая стойкая. Дружба Александра Твардовского и Николая Баканова, завязавшаяся на фронте, объясняла и то, что в первые послевоенные годы печатной трибуной для Александра Твардовского были страницы газеты «Известия».

Александр Твардовский, или Трифонович, как звали его многие известинцы (для Баканова он был просто Саша), стал частым гостем военного отдела — не отдела литературы и искусства, а военного. Замечу кстати, и не без основания, — привязанность или антипатия к тому или другому человеку нередко опреде-

ляли и отношение Твардовского к изданию, возглавляемому этим человеком.

В те первые послевоенные годы Трифонович жил в доме № 17 по улице Горького, рядом с аркой, что ведет в Большой Гнездниковский переулок. От его дома до редакции «Известий» на Пушкинской площади — рукой подать.

— Вышел погулять, смотрю, у вас огонек. Ну, и к вам, — скажет Трифонович и присядет на стул около стола.

Военный отдел занимал две комнаты на пятом этаже, окна выходили как раз на Пушкинскую площадь. Одна комната — кабинет Н. А. Баканова, другая — проходная, пристанище военных корреспондентов. Нас было шестеро, носивших еще военную форму, но почти полностью переключившихся на темы мирного труда, то есть, по существу, были людьми цивильными. Мы — это Виктор Полторацкий, Евгений Кригер, Петр Белявский, Константин Тараданкин, Александр Булгаков и автор этих строк.

На известинский огонек Твардовский приходил чаще всего без прямой цели, а просто так, «пофилософствовать». Но, поговорив о том о сем, «отпустив» шуточку или колючее ироническое замечание по поводу неудачного словечка, встретившегося ему в очередном опусе одного из нас, Трифонович извлекал из кармана пиджака листы с машинописными или каллиграфически четким почерком исполненными строками и говорил:

— Вот, послушайте, братцы. . .

Мне приходилось слушать поэтов и прозаиков, читающих свои произведения не со сцены концертных залов, а в обычной редакционной комнате, для двух-трех слушателей. Не припомню похожих друг на дру-

га чтецов. Когда, к примеру, Николай Павлович Смирнов-Сокольский читал свои рассказы о книгах, то слушавшие его сразу же оказывались в плену какой-то таинственной истории создания книги. И пожалуй, захватывала слушателя не «таинственность», а голос читающего, хорошо поставленный голос знаменитого актера эстрады, с переливами и нюансами от шепота до громовых раскатов. Как известно, в стихотворениях и в прозаических произведениях Александра Твардовского не было и намека на какие-то таинства или сногсшибательные события. И тем не менее с первых же строчек, прочитанных им, слушатель был пленен. Твардовский читал звонко, с мягким оттенком хрипотцы в голосе. Ни позы, ни жестов, ни резких перепадов в интонации. Кроме голоса, у поэта-чтеца участвуют еще лицо и глаза — в них горе и радость, гнев и добродушие, напевность и суховатость. Вся гамма душевных переживаний автора на лице и в глазах. Все, кто в эти минуты находился в кабинете Баканова, замирали, как в кинокадре, остановившемся на экране. Ни шороха, ни вздоха, ни малейшего движения. Когда голос поэта умолкал, наступала тишина. Не произносились слова одобрения или восторга. Каждому хотелось еще несколько минут побыть в тишине рядом с человеком, который написал только что услышанное. Думалось: «Счастливый я человек, узнал эти строки раньше других».

Как правило, тишину нарушал Николай Баканов. Он говорил безапелляционно, как и положено военному:

— Конечно, Саша, эти стихи для «Известий».

— Подойдут, думаешь? — с улыбкой спрашивал Твардовский и передавал рукопись в руки полковника.

Нередко бывало и так:

— Печатать пока не стану. Не завершено. Не все еще тут, как хотелось бы, как следует быть, — и Твардовский прятал листы в тот же карман, из которого их извлек.

Или:

— Извини, Николай Александрович, обещал (следовало название журнала или газеты). А вам прочитал как бы для проверки — самому хотелось послушать, да и вашу реакцию узнать. . . — и рукопись скрывалась в кармане.

Я могу только посетовать на себя, что не записывал тогда ни названия произведений, которые читал нам Твардовский, ни тем более какие-то строки или куски, поразившие своей свежестью и глубиной мысли. А полагаться на память в данном случае нельзя. Скажу лишь, что в послевоенные месяцы 1945 года в «Известиях» было опубликовано более десяти произведений А. Твардовского, в их числе такие рассказы и очерки: «Лявониха», «Настасья Яковлевна», «Салют у моря», «Поцелуй», «В родных местах» — с продолжением в двух номерах газеты. В те же месяцы в «Известиях» появились новые главы «Василия Теркина», в частности «Дорога на Берлин», стихотворения «Расплата», «Дорога до дому» и, наконец, «Песни немецкой неволи», собранные и записанные Надеждой Коваль, альбом которой «для пiсень з життя в Германiї, 1944 року» был найден на полу барака для «восточных рабочих».

Виделись мы с Трифоновичем не только в редакции газеты.

Бывало, зайдет, посидит, потолкует и скажет:

— А не навестить ли нам, дорогой Николай Александрович, достопочтенного Сергея Ивановича Вашенцева? Как ты, Леонид, к этому относишься?

Мы направились в квартиру скромного русского писателя, многие годы отдавшего воспитанию будущих прозаиков и поэтов в Литературном институте. В рабочем кабинете Вашенцева, скорее похожем на склад не рассортированных еще вещей, мы рассаживались в старинные глубокие кресла, вспоминали всякие военные истории. Фронтовые «байки», как правило, заканчивались небольшим концертом — дочери Сергея Ивановича учились в консерватории. Вернувшись с занятий, они настраивали свои инструменты, что-то «пиликали», репетировали. Мы выходили к ним на эти непонятные звуки. Настойчивые просьбы Твардовского исполнить что-то встречались доброжелательно: полчаса, а иногда и час мы слушали музыку, каждый уходя в свои думы.

— Ну вот и чудесно, — говорил Твардовский, как бы заключая концерт. — Спасибо вам, миленькие. А мы что? Отдохнем? — эти слова были обращены уже к нам, мужчинам.

Мы шли в кафе «Отдых», что на Советской площади. Твардовский не любил шумных, фешенебельных ресторанов. Он любил все попроще: пивной бар, уютный ресторан ВТО, где не было ни оркестра, ни танцев, и закуток в кафе «Отдых». Любил бывать там, где можно не только выпить и закусить, но и поговорить, пошутить, посмеяться. Доводилось и мне в таком немноголюдном, неторопливо беседующем застолье засиживаться и час, и два. Позднее в главе «С самим собой» поэмы «За далью — даль» о разговорах обо всем и ни о чем Твардовский напишет:

Мне дорог дружбы неподдельной
Душевный лад и обиход,
Где слово шутки безыдейной
Тотчас тебе не ставят в счет,

Где о грядущих днях Сибири,
Пути гвардейского полка,
Целинных землях и Шекспире,
Вреде вина и табака,

И обо всем на белом свете
Беспротокольный склад речей —
Ты лишь у смеха на примете
На случай глупости твоей...

Строчки, строфы, как и все стихотворение, у Твардовского, конечно, «созревали» по-разному. Одни, видимо, сразу. А другие — годами. Во второй главе «За далью — даль» я прочитал строки:

Самим Фадеевым отмечен,
Пшеном в избытке обеспечен...

Я хлопнул себя по коленке: да эти же строки читал нам Трифонович еще в сорок седьмом году, в веселой компании, только они произносились так:

Самим Ермиловым отмечен,
Пшеном и хлебом обеспечен...

Прошли годы, и в печать, к читателю пошли уже другие слова.

Бывало и так. Телефонный звонок, голос Трифоновича:

— Чего поделываете? Не могли бы с Николаем Александровичем вместе или кто-то один из вас зайти ко мне сейчас? У меня тут добрые люди...

И если была возможность, мы шли вместе или отдельно: как не откликнуться на зов Трифоновича!

Не раз Твардовский звал меня к себе и тогда, когда он один. Всегда добродушно настроенный, читал что-то не только свое. Расспрашивал меня о моих родных

лесных краях, об обычаях, об одежде. Интересовался моими впечатлениями о Японии, где я пробыл сто дней. Иногда вступал в спор с невидимым оппонентом, вовлекая меня в круг своих суждений.

— Погубит нас графоманство, — как-то с нескрываемой в голосе тревогой говорил Трифонович. — Что ни книга, то пятьсот, шестьсот страниц, а то и два-три тома. Жизненная ситуация, что в основе толстенной книги, — пустяковая. А размусолено на сотни страниц! «Капитанская дочка» Пушкина — всего четыре авторских листа! А в ней целая эпоха. Характеры. Столкновения страстей. А проза Лермонтова: какая ясность, поэтичность и ни одного лишнего слова. Графоманство задушит нас, ей-богу!

— Если свободен, забеги на минутку, — послышалось однажды в телефонной трубке.

Пришел. В кабинете Трифоновича были его друзья — поэт Украины Андрей Малышко и поэт Белоруссии Аркадий Кулешов. Ни в записных книжках, ни в блокнотах я не оставил следов об этой встрече, как и о многих других. А ведь три поэта, и каких! Читали стихи каждый на родном языке. А русские, украинские и белорусские песни, схожие в задушевности, пели вместе. В тот вечер сердцем, умом, всем своим существом я ощутил великое духовное единство трех народов-братьев. Оно было выражено в современной поэзии, в лучших ее образцах и проявлениях.

Однажды я ушел от Трифоновича с подарком — его книгой «Поэмы», только что вышедшей в «Советском писателе». Трифонович написал на титуле:

«Леониду Кудреватых, милому и умному товарищу и писателю

А. Твардовский

16/II. 47. М.».

(Допускаю, что кое-кто может упрекнуть меня в нескромности за то, что привожу лично мне адресованные А. Твардовским дарственные надписи на подаренных им книгах. Но и в этих автографах я вижу широту его души, теплоту и щедрость ее. К тому же я глубоко убежден: каждая строка, каждое слово, написанное Твардовским, принадлежит его биографии, нашей литературе.)

Трифоновича занимали и такие проблемы, как отражение правды жизни в нашей повседневной журналистской практике.

— Не следует сусальничать, приукрашивать, — говорил он мне. — Чем хорош Алексей Колосов в «Правде»? Он умеет удивительно просто и поэтично рассказать о том, что увидел, узнал, почувствовал. Его иной газетный очерк дороже многолистной водолейной повестуши о деревне, которые развелись как мокрицы.

И вдруг спросил:

— Алексей Колосов член Союза писателей?

— Да, — ответил я.

— А кто еще из очеркистов «Правды», «Известий» в писательском союзе?

— Елена Кононенко и Иван Рябов, Татьяна Тэсс и Евгений Кригер.

— И правильно! — сказал Трифонович. И тут же подкрепил свое утверждение доводом: — Журналисты, знающие жизнь и пишущие о ней самобытно, — это же писатели, причем популярные в народе писатели. Их читают миллионы: кому, как не вам, летописцам нашего боевого времени, быть в Союзе писателей. А ты и мой земляк Петр Белявский, вы состоите в писательской организации?

— На собрания очеркистов приглашают. Хожу. Ходит и Белявский. Но подавать в союз не рискую...

На этот раз я уходил от Твардовского с листочком бумаги, на котором было написано:

«В Союз советских писателей СССР.

Знаю Леонида Кудреватых по довоенным очеркам и корреспонденциям и, в особенности, по его литературно-журналистской работе в период войны и в послевоенное время, я готов горячо рекомендовать его в члены Союза писателей, как талантливого, знающего жизнь человека и умеющего говорить о ней точным, незаурядным языком.

А. Твардовский

17. 10. 47».

Нередко посещение квартиры Трифоновича заканчивалось тем, что мы приносили в редакцию рукописи новых его произведений. Не смогу утверждать, какие произведения Трифонович сам принес в редакцию, какие передал через кого-то из нас, но в первой половине сорок шестого года, в сорок седьмом и сорок восьмом, в первой половине сорок девятого года к читателям «Известий» пришли главы из поэмы «Дом у дороги», стихотворения «Москва», «Молодость родины», «Свет всему свету», «9 Мая», включенные Твардовским в третий том первого четырехтомного собрания его сочинений, да и многие другие стихотворения, напечатанные в «Известиях», которые поэт не включил в первый четырехтомник, ждут исследователей творчества поэта.

В те же годы на страницах «Известий» опубликованы и критико-литературоведческие статьи А. Твар-

довского о творчестве Михаила Исаковского и Аркадия Кулешова.

Вовлеченный в орбиту больших государственных, редакторских дел, в работу Секретариата Союза писателей СССР, Трифонович печатался в «Известиях» все реже и реже. Возможно, что определенную роль отдаления А. Твардовского от «Известий» сыграло и то, что из редакции ушел Николай Баканов.

Уже в 1950 году семья Твардовского переехала в дом «Известий», тот самый, который стоял на Второй Бородинской под номером девятнадцать, а ныне оказался на углу возникших в пятидесятых годах Кутузовского проспекта и Шевченковской набережной, номер один дробь семь. Так изменился этот район старой Москвы, примыкавший к Дорогомиловской заставе! Что мы оказались соседями — есть свидетельство — дарственная надпись на одной из книг поэта:

«Леониду Кудреватых — соседу дружески — от автора

А. Твардовский

27. X. 50 г.».

Я пишу о том, что знаю, что сам видел или слышал, о чем говорят сохранившиеся у меня какие-то доказательства. Пишу о тех встречах и беседах Трифоновича, на которых я присутствовал, о тех его друзьях, с которыми он встречался при мне. Я не биограф Твардовского и не исследователь его творчества — такое мне не по плечу. Я только свидетельствую. И не берусь утверждать того, что мне лично неизвестно.

Из уст Трифоновича не раз слышал добрые, самые восторженные слова о Михаиле Исаковском, Александре Фадееве и Самуиле Маршаке, которых он почитал.

В первые годы жизни с Трифоновичем на Бородинской мы виделись чаще, чем прежде, бывали друг у друга, и если встречались на «нейтральной почве», то нашими сотоварищами были Эмма Казакевич, Алексей Фатьянов и Сергей Сутоцкий — каждый по отдельности или все вместе.

Я не знаю истоков дружбы Эммы Казакевича и Твардовского, но могу свидетельствовать, что она была очень душевная, наполненная взаимным уважением, глубоким чувством солдатской верности. В какой-то мере эти два художника слова являли собой единый моральный монолит, возвышавшийся над безвкусицей, серятиной, над тем потоком бесцветной прозы и поэзии, который, к сожалению, порой замутняет великую светлую реку советской литературы.

Особые, доверительные отношения сложились у Твардовского с Сергеем Сутоцким — журналистом-публицистом. Познакомились они после войны, когда Сергей Сутоцкий работал в «Известиях» членом редколлегии и ответственным секретарем. А когда они оказались жильцами одного известинского дома, то квартира Сутоцкого для Трифоновича была открыта и в час душевного подъема и в дни тягостных страданий. Не так часто, но иногда и я был зван третьим для разговора.

Твардовский ценил широкие познания Сутоцкого во всем, что связано с жизнью и деятельностью В. И. Ленина, с литературой о революционно-исторических процессах. На протяжении нескольких лет Сутоцкий был членом редколлегии журнала «Новый мир», который редактировал Твардовский.

Неподалеку от нашего дома жил поэт-песенник Алексей Фатьянов. К Фатьянову по зову Трифоновича мы нередко и слетались. Алексей Фатьянов являл при-

мер единства поэта и музыканта. Мне порой казалось, что Алексей сам сочиняет не только слова, но и мелодию будущей песни, которую потом уж развивают и обогащают известные композиторы.

У Фатьянова пели, пели часами. Трифонович жил песней, русской народной песней. Сколько их было перепето у Алексея Фатьянова, у Сергея Вашенцева, в нашей известинской военкоровской дружине, где одно время Твардовский бывал частенько. У Фатьянова, аккомпанировавшего на рояле, Твардовский пел с задорной улыбкой на лице, с сосредоточенной серьезностью и с грустинкой, так свойственной его голосу. Он просил нас подпевать, но негромко. Чтобы не нарушить удивительную слитность голосов Твардовского и Фатьянова — Казакевич, Сутоцкий и я только шевелили губами или просто молчали. Да и слов многих песен мы не знали. Не берусь утверждать, какая из песен была самой любимой, но «Летят утки» пелась чаще других, в ней голос Трифоновича звучал неподражаемо задушевно.

Мне хочется напомнить об одной особенности характера Александра Твардовского. Если на войне некоторые писатели и журналисты из фронтовых или центральных газет частенько наведывались к генералам, командирам дивизий, корпусов, армий и фронтов, застольничали с ними и вели обстоятельные разговоры, вникая в суть военной стратегии и тактики применительно к сегодняшней обстановке на фронте, а потом в своих повествованиях до мельчайших подробностей рассказывали об этих встречах и воспроизводили беседы с генералами, то Трифонович не только не искал этих встреч, но даже уклонялся от них,

если не сказать более резко — не любил. Он не так уж часто посещал передний край на войне, но уж если шел в подразделение, то надолго, жил с солдатами, вместе с ними ел кашу, пил водку, подпевал солдатские песни. Как сказано в авторском вступлении в поэме «Василий Теркин»:

Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, но порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой немудрой.
. . . .
А всего иного пуще
Не прожить наверняка —
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.

И после войны Твардовский никому не навязывался в друзья, ни с кем не искал встреч. Он не искал знакомств и признания. Признание, уважение, почести, посты шли к нему сами. Вспомним: он был секретарем Правления Союза советских писателей. Дважды и подолгу главным редактором журнала «Новый мир». Нес вахту депутата верховных органов страны. Избирался кандидатом в члены ЦК КПСС. А если его не выдвигали снова на высокие посты, он говорил: «Раз недостоин, значит, так тому и быть». Но это не изменяло его характера, его отношения к тем, с кем он бывал в часы досуга и отдыха.

Непросто и нелегко сходился Трифонович с людьми, даже с собратьями по перу. Вообще я ни разу не слышал его рассказов о «вышестоящих», а если он и вспоминал какие-то встречи, то героем его рассказа был самый что ни на есть простой, рядовой человек,

но чем-то примечательным тронувший душу и воображение поэта. Восторженно говорил он о литераторах, написавших что-то талантливое, яркое, и гневно о тех, чьи творения публикуются «по занимаемой должности, а не по таланту».

Как известно, не всегда легко переступить порог, иногда мешает даже ничтожно малое препятствие. А если говорить о Твардовском, то многое определялось его сложной натурой, в которой вместе с застенчивостью, даже со стеснительностью уживалась какая-то несдержанность, подкрепляемая к тому же резкой иронией.

Я бывал свидетелем того, как в дружеской беседе, будь то в перерыве между заседаниями или в небольшом застолье, Трифонович вдруг резко обрывал кого-то, даже уважаемого окружающими, и произносил адресованную ему уничижительную реплику то ли о делах вообще или творческих в частности. Бывал я свидетелем и тех мгновений, когда Твардовский, смущенный излишним вниманием к собственной персоне, исчезал, говоря по-современному, из поля визуального наблюдения. Он не любил ни званых приемов, ни шумных, многолюдных застолий. Ему милее было там, где людей поменьше, где потише гул — словом, попроще, без чопорности.

Насколько я знаю, в военные годы, а может, и раньше у Александра Твардовского и Константина Симонова зародилось взаимное тяготение друг к другу. Жизненные пути их не раз перекрещивались. В шестидесятые годы они стали ближе друг к другу, во многом сошлись. Но все разрешалось не сразу, не все шло просто и гладко. Не помню точно, в каком году, но знаю, что в конце сороковых, в вечерний час, Трифонович сидел в военном отделе редакции «Известий»,

вел с нами неторопливый разговор, глянув на часы, вдруг спохватился:

— Ребятки, подбросьте на Ленинградское шоссе. Зван к Константину Симонову. Испытываю желание побывать у него.

Н. А. Баканов вызвал машину, и мы поехали. Усевшись рядом с шофером, Трифонович повернулся к нам:

— А может, зря это я? А?

— Что зря-то? — спросил Баканов.

— Может, лучше где-нибудь посидеть нам в тиши? А? Нет, поеду. Симонов просил, надо пойти.

Когда автомобиль остановился около дома, в котором жил Константин Симонов, Трифонович открыл дверку, повернулся к нам и сказал:

— Прошу вас — сразу не уезжайте. Подождите минут десять — пятнадцать. Вдруг я почему-то вернусь.

Не прошло и десяти минут, Трифонович возник у автомобиля.

— У Симонова много незнакомых мне людей, — заговорил Трифонович, усаживаясь на свое место. — Видимо, какой-то важный прием устроил хозяин. Я даже не стал снимать пальто. Костя просил, но я не могу. Не могу я в таком многолюдье, а главное, в незнакомом. Извинился, конечно, мол, как-нибудь в другой раз. Поедемте в наше кафе «Отдых», а? Согласны?

Какое-то заседание в Правлении Союза писателей СССР продолжалось без перерыва часа три. После все пошли в ресторан Дома литераторов, уселись за один большой стол. Тогда еще не было нового здания ЦДЛ, ресторан был маленький, занимал небольшую комнату, ту, где нынче нечто вроде коктейль-холла. За большим столом по соседству оказались Михаил Бубеннов и Ва-

лентин Катаев. В свое время Бубеннов в «Правде» раскритиковал роман Катаева «За власть Советов». Их соседство внесло общее оживление. Кто-то пытался поиронизировать по этому поводу, но Бубеннов и Катаев отделались шуточками.

Бориса Горбатова застольное соседство Бубеннова и Катаева все же насторожило, и он предложил Катаеву, Твардовскому и мне:

— Поедемте в «Националь»?

— А может, в чайную, за Крестьянскую заставу? — предложил Твардовский. — Там густые щи и ароматная гречневая каша. Это я могу. А «Националь» не по мне.

— Тогда, может быть, так: завезем Горбатова в «Националь», раз у него там свидание, купим торт, вина и ко мне? — предложил Валентин Катаев.

В «Националь» мы все же зашли, довольно плотно поужинали. А потом, оставив Горбатова с его фронтовым другом, поехали на Лаврушинский, к Катаеву.

В кабинете Валентина Петровича на письменном столе появились чайные чашечки, яблоки и конфеты. В чашечках пузырилось какое-то грузинское вино.

— Попроще, вроде водки, у вас ничего не найдется? — спросил Твардовский.

— Проверил холодильник. Ни водки, ни коньяка... Только вот это, грузинское. Вино не плохое. Попробуйте.

Было уже поздно, ближе к полуночи, а может, и за полночь переступило. Два тонких знатока и ценителя слова, мастера поэзии и прозы, сидели друг против друга и, все понимая, каждый о себе и о другом, вели непринужденный, поначалу даже веселый разговор о литературе. Один — изысканный интеллигент, весь городской, мягкий, улыбчивый. Другой — тоже

интеллигент, но весь от земли, от деревни смоленской с ее березовыми рощами и соленым потом.

Я отодвинулся немного от стола, заняв позицию наблюдателя. Я не столько слушал, сколько думал о них — разных, со своим голосом, со своим восприятием мира, но уже прочно занявших достойное место в советской литературе.

Оба были на войне. Но опять же по-разному.

Александр Твардовский еще в финскую войну был на фронте в газете. Так прошел и всю Отечественную, тоже неотлучно в газете, фронтовой. Слушал солдат, писал для солдат, жил солдатской думой и верой. И на войне написал почти всего «Василия Теркина».

Валентин Катаев появлялся на разных фронтах в качестве специального корреспондента центральных газет. Что называется, заскакивал на несколько деньков на «горячий участок», рвался ближе к переднему краю, чтобы все повидать и пощупать, но не всегда его допускали к «огоньку». А он рвался и находил пути...

Смотрел я на двух беседующих бардов литературы, слушал их неторопливый разговор и мысленно унесся на молдавскую землю. Весной 1944 года войска Второго Украинского фронта в бурном порыве, форсируя несколько рек, с украинских земель вступили на земли Молдавии, стонавшей под гнетом фашистской оккупации, быстро пересекли ее северную часть с востока на запад, и, преодолев реку Прут, под Яссами, вышли на румынскую землю. Этот стремительный рывок ошеломил врага и вызвал восторг у советских людей.

Помню, в те дни к нам, на Второй Украинский фронт, наведывались многие литераторы. И не только из Москвы. Прилетали, например, английские журналисты Александр Верт и Ральф Паркер. Они расспрашивали, как совершался этот бросок наших войск, как

форсировались водные преграды, а потом писали подробные очерки о свершившемся.

В те дни в молдавскую деревеньку, где квартировали военные корреспонденты, как ангел с неба свалился Валентин Катаев. Он прилетел самолетом, пришел к нам, корреспондентам, и с доброй улыбкой спросил:

— Ну, как тут живем?

Вечер мы провели в разговорах о друзьях, о знакомых. Валентин Петрович не спрашивал нас, как мы тут месили грязь, как «прорывались», как «штурмовали города». И ничего не записывал. Мы спросили:

— Надолго ли к нам?

— Поживем, увидим, — уклончиво ответил Катаев.

А утром он исчез из нашей деревеньки. И больше не появлялся. Где он и что делает, мы так и не ведали. И только через несколько дней в «Красной звезде» прочитали очерк, из которого узнали, что Валентин Катаев в самолете-штурмовике, заняв в хвосте самолета ничем не прикрытое, продуваемое и простреливаемое со всех сторон место стрелка, летал на вражеские позиции, исполнял все положенные стрелку обязанности. А когда штурмовик вернулся с боевого задания на аэродром, Валентин Катаев пересел на самолет, летевший в Москву. Он спешил в редакцию. Ему хотелось немедленно рассказать о тех ощущениях, которые он пережил, ибо в этих ощущениях и была бесстрашная, героическая, повседневная отвага стрелка на самолете-штурмовике.

Я слушал беседу, которая поначалу плавно текла между поэтом и прозаиком, и думал о том, как они словом и пером много сделали для нашей победы над врагом. Не могу не процитировать несколько строк из

путевых заметок Валентина Катаева о полете на штурмовике. Вот эти несколько строк:

«Еще пятнадцать — двадцать минут, и под нами проплывает, извилисто поворачиваясь, новая река. Она туманно блестит на солнце. Она зеленеет, желтеет в камышах. Это — Прут. Он промелькнул, пропал.

Вот внизу между нами и землей появилось что-то, какая-то живая, переливающаяся цепочка. Присматриваюсь. Это — дикие гуси. Они возвращаются из теплых краев на родину. Еще дальше — стая дроздов. Они летят, взмахивая крыльями. Они тоже возвращаются на родину. А вот и аисты на длинных крыльях. Они летят домой.

Все возвращаются на родину в эту весну.

Чудесная весна! Весна победы. Весна славы. Весна, которая возвратила родину украинцам, молдаванам. . .»

Такие очерки писал о войне Валентин Катаев, прозрачные, полные деталей и музыки слова.

Рассматривая книги, что в небольшом шкафу, — разные издания произведений Валентина Петровича у нас и за рубежом, — я время от времени прислушиваюсь к разговору. Говорят о Тютчеве и Достоевском, о Чехове и Толстом, о Есенине и Маяковском, о Горьком и Блоке, о современной советской литературе. Снова попрекаю себя, что не записал ни одного слова той беседы, длившейся много часов, до рассвета. Спорили, соглашались и не соглашались друг с другом и без удовольствия тянули из чашечек сухое вино. И не хмелели. Долго говорили о Бунине. Катаев знал Бунина в юности. Твардовский — только читал, но ему хотелось не только слушать рассказы Катаева о Бунине, но и самому о нем говорить, может быть впервые высказать какие-то мысли, которые потом, через несколь-

ко лет, оживут в его известной статье «О Бунине», написанной в 1966 году. Разговор, точно морские волны, то стихал, то шумел прибоем. Собеседники явно притомились. Вино было допито. Спорщики взбадривали себя кофе.

Вдруг Трифонович встал, глянул в окно, потянулся и, обращаясь ко мне, сказал:

— Ничего себе — умыкнули ноченьку. Пошли-ка, дружище, домой.

Валентин Петрович вместе с нами вышел на улицу и ждал, пока мы не уселись в проходившее мимо свободное такси. Когда я поднимался к себе на лифте, часы показывали шесть часов сорок минут утра.

Когда же это было? Достаю с полки книгу «Белеет парус одинокий», читаю дарственную надпись Валентина Петровича, под ней дату — 28 апреля 1951 года. Значит, памятная беседа состоялась в ночь с 27 на 28 апреля 1951 года.

С мая 1949 года на страницах «Известий» ни одной строчки поэта. Трифонович был поглощен делами «Нового мира», да и Н. А. Баканов уже не работал в газете, а, как было сказано, личная приязнь для Твардовского имела огромное значение.

В редакции меня попрекали:

— Видишься с Твардовским часто, живешь в одном доме, а сделать так, чтобы он снова прикипел к «Известиям», не можешь. Эх, ты...

Я не раз пересказывал Трифоновичу укоры в мой адрес. Но тщетно. И только накануне Первого мая 1952 года, то есть через три года, он передал «Известиям» большое стихотворение «Песнь о Москве». Оно-то и украсило праздничный номер газеты. И, как в большинстве его творений, — сыновнее признание:

Москва, моя мать приемная,
С тех пор и до наших дней
Уже без тебя не помню я
Себя и судьбы своей.

И эпическое:

Москва — вот книга открытая,
Что правдой в мире сильна,
Весь мир у нее под защитою,
У мира всего — она...

Проходит месяц, два, три месяца, а стихов Твардовского опять нет на страницах «Известий». Опять упреки:

— Считаешься чуть ли не другом Твардовского, а для газеты ничего от него выпросить не можешь? Эх, ты...

И вдруг в утренний час Трифонович позвонил:

— Ты когда собираешься в редакцию?

— Через час.

— Не трудно будет раньше зайти ко мне?

— О чем речь...

Когда я пришел, Трифонович усадил меня за письменный стол у окна, обращенного к Москве-реке. На столе листы бумаги с отпечатанными стихами.

— Прочти вслух, — сказал Твардовский.

— Испорчу песню, — ответил я. — Ты же знаешь мою дикцию.

— Тогда слушай.

И Трифонович прочитал, видимо, только что законченные «Две кузницы» с подзаголовком «Из путевого дневника», потом ставшие главой поэмы «За далью — даль».

Я не могу похвастаться памятью на стихи, подобной, например, памяти у поэта Виктора Полторац-

кого, в которой удерживаются строчки, четверостишия и целые стихотворения, прочитанные всего один раз, но они возникают в его памяти при случае через годы и десятилетия, причем, что особенно примечательно, эти строки и стихотворения принадлежат не одному избранному памятью поэту, а десяткам поэтов, представителей разных эпох, направлений и ритмов стихосложения. Моя память в этом смысле — решето. И тем не менее в ней иногда закрепляются мотивы или ритмы единожды услышанного или прочитанного. С той поры, а было это 22 сентября 1952 года, остались в памяти два заряда — лирический и эпический — из «Двух кузниц»:

Я помню нашей наковальни
В лесной тиши сиротский звон,
Такой усталый и печальный
По вечерам, как будто он
Вещал вокруг о жизни трудной,
О скудном выручкою дне
В той небогатой, малолюдной,
Негромкой нашей стороне,
Где меж болот, кустов и леса
Терялись бойкие пути;
Где мог бы все свое железо
Мужик под мышкой унести;
Где был заказчик — гость случайный,
Что к кузнецу раз в десять лет
Ходил, как к доктору, от крайней
Нужды, когда уж мочи нет.

Всего шестнадцать строк. И каких! Детство и отец-кузнец. Бедность дореволюционной смоленской деревни. В этих строках — русский дух. Таков он, лирический эпос Александра Твардовского, необыкновенно человечен, всеобъемлющ и вместе с тем конкретен в своей сути.

А разве возможно забыть строки, которые после публикации «Двух кузниц» сразу стали хрестоматийными и уже много лет выносятся как эпиграф к статьям и очеркам об Урале. Вот они, эти строки:

Урал! Завет веков и вместе —
Предвестье будущих времен,
И в наши души, точно песня,
Могучим басом входит он —
Урал! Опорный край державы,
Ее добытчик и кузнец,
Ровесник древней нашей славы
И славы нынешней творец.

Очарованный услышанным, я ни слова не сказал Трифоновичу и, свернув в трубочку листы со стихами, поспешил в редакцию. Успел как раз к планерке — формировался номер на 23 сентября. Когда заместитель ответственного секретаря сообщил названия статей, очерков, корреспонденций и репортажей, намеченных к публикации в завтрашней газете, я попросил слова:

— Вот стихи Александра Твардовского. Полчаса назад они лежали на его письменном столе. Думаю, надо их поставить в номер.

Посыпались вопросы:

— Как называется?

— «Две кузницы».

— Это что, про войну?

— Про все! — зло ответил я.

— Сколько там строк?

— Не считал, — опять зло ответил я. — Ведь суть-то не в количестве строк.

— Может, вначале отдел литературы посмотрит, подготовит для набора, ну и поставим стихи в один из очередных номеров газеты, — как бы подводил черту главный редактор.

— Разрешите, я вслух прочитаю стихи Твардовского, — неожиданно вступила в спор Татьяна Чугай, заведующая отделом школ и вузов, бывшая учительница и фронтовичка. Не дожидаясь разрешения, звонким, хорошо поставленным голосом она начала:

На хуторском глухом подворье,
В тени обкуренных берез,
Стояла кузница в Загорье,
И я при ней с рожденья рос.

Чугай читала превосходно. Я с радостью наблюдал, как меняются лица почти у всех сидевших в конференц-зале, как уходит лежавшая на них тень усталости, равнодушия и безразличия. Вот что значит, когда сочетание обычных, простых слов становится поэзией. И какой! Таня Чугай являла собой отражение чувств Твардовского, вложенных им в эти стихи, так она здорово их читала. А когда она закончила чтение, раздались аплодисменты, так редко звучавшие в стенах конференц-зала.

Конечно же стихи «Две кузницы» тут же были включены в очередной номер газеты, а утром их уже читали все.

Хотя случай, о котором я хочу рассказать, имеет лишь косвенное отношение к Александру Твардовскому, но он, как воздух в природе, нужен для моего повествования.

В конце марта 1953 года Александр Фадеев, возглавлявший в ту пору Союз писателей, собрал редакторов писательских изданий. По совместительству с работой в «Известиях» я, редактировавший «Альманах год (такой-то)», оказался в окружении маститых редакторов. Фадеев попросил каждого из нас рассказать, что публикуется в очередном номере издания,

интересовался содержанием не только романов и повестей, но и рассказов, очерков, стихотворений, даже критических статей. И обязательно спрашивал:

— А как написано? Как звучит?

Когда дошла очередь до меня, я сообщил, что в первой книге «Альманах год XXXVI» (в год выходило три-четыре книги) публикуются очерки «На стройках коммунизма», повесть Виктора Полторацкого «В родных краях», рассказы Ефима Дороша, Николая Коляструка, Виктора Старикова, очерки и памфлеты Ярослава Галана.

— А стихи? — спросил Фадеев. — Поэты в вашем издании участвуют?

— В каждом номере печатаем стихи, — ответил я. — Но не все поэты, к кому обращаемся, откликаются на наш призыв. Сколько раз я просил Твардовского...

— Твардовский ныне нарасхват, — прервал меня Фадеев. — Кого из поэтов печатаете в этом номере?

— Ивана Молчанова, — ответил я.

Александр Александрович пожал плечами, как бы выражая какое-то сомнение, вроде: «Что-то давно я не читал Молчанова. Неужели он еще пишет?»

Точно отвечая на не произнесенный никем вопрос, я сказал:

— Ей-богу, стихотворение Молчанова хорошее. В нашей редколлегии оно всем понравилось, — и положил на стол верстку стихотворения «У лукоморья дуб зеленый».

Верстку взял Твардовский и стал вслух читать стихотворение Молчанова. Читал он так же просто и проникновенно, как читал и свои стихи. Чем дальше, тем громче звучал голос Твардовского:

Как хорошо бы четверть века
И мне отнять из суммы лет
И по неписаному праву
Ворваться в юность, словно шквал,
Чтоб говорили:
— Ту дубраву
Вот этот парень создавал.

Дочитав стихотворение и положив верстку на стол, Твардовский сказал:

— Хорошее стихотворение. Правда, ведь хорошее?

Точно по заранее обговоренному сигналу, в это время в кабинет Фадеева вошла секретарша с коричневой папкой в руках, с такой папкой, в которых обычно вручают поздравительные адреса юбилярам.

Раскрыв папку, Фадеев не смог удержаться и захохотал так, как он умел, что называется — от всей души.

— Здорово! — взмахнув руками широко и вольно, сказал он. — Вот это совпадение! Сегодня юбилей Ивана Молчанова. У парня-то, комсомольского поэта, как мы сейчас узнали, есть еще порох в пороховницах. Давайте все, кто есть, распишемся в этом адресе. А где сейчас Молчанов? — спросил он, обращаясь к секретарше.

Секретарша вышла. Пока мы подписывали адрес, она вернулась и сообщила:

— Небольшая группа друзей Ивана Молчанова собралась в восьмой комнате клуба, отмечают его полувековой юбилей.

— Пойдем в клуб, поздравим юбиляра, — восторженно сказал Фадеев.

— Непременно, — поддержал его Твардовский.

Через несколько минут почти все участники только что закончившегося совещания были в восьмой ком-

нате клуба, заключали юбиляра в объятия. Лицо Ивана Молчанова сияло от радости.

— Чем я обязан? — смущенно спросил Молчанов

— А вот прочитай-ка сам, — сказал Твардовский, передавая Молчанову верстку стихотворения.

Надо ли говорить, что скромно начатый юбилей комсомольского поэта превратился в волнующий праздник поэзии.

В октябре 1954 года меня назначили заместителем главного редактора журнала «Огонек». Вполне естественным было мое стремление побудить Трифоновича к активному участию в журнале. Твардовский для «Огонька» не новичок, он печатался и раньше, но уж очень редко, примерно в два года один раз. За восемь лет в литературном приложении библиотечки «Огонька» вышли три книжки его стихов — в 1946, 1953 и 1954 годах.

Но как «активизировать» участие Твардовского в «Огоньке»? Мы по-прежнему жили в одном доме, встречались на различного рода собраниях и заседаниях, бывали в одних застольях, имели общих друзей и знакомых, изредка заходили друг к другу. Почти при каждой новой встрече я заискивающе просил:

— Ну хотя бы одно стихотворение для «Огонька»?

— А ты напиши сам, — иронизировал Трифонович. — У меня нет, понимаешь, нет!

И вдруг звонок:

— Зайди, почитай. . . Может, что-нибудь возьмешь для «Огонька»?

Через несколько минут я сидел за знакомым мне письменным столом и читал одно за другим, читал, дивился и радовался — сразу шесть стихотворений! Чи-

тал молча и как бы боковым зрением примечал, что сидевший сбоку стола, в кресле, Трифонович следил за выражением моего лица. Я не нашел точного слова, которое вобрало бы мое ощущение от прочитанного, и сказал, как мне показалось, банальное:

— Превосходно!

Не знаю: то ли Трифоновича покоробила моя оценка, то ли ему еще раз захотелось послушать свои стихи в собственном исполнении, но, взяв со стола листы, он вслух стал читать стихи. Медленно, с той немного певучей, присущей ему неповторимой манерой. Слушая голос Трифоновича со знакомой мне мягкой хрипотцой, я в свою очередь тоже следил за выражением лица поэта и видел, что он доволен, что стихи ему нравятся.

Было это в середине октября 1955 года. Я, что называется, летел в редакцию «Огонька» на крыльях радости, понимая, какой гостинец везу для читателей журнала.

Весь цикл был назван «Из лирики». Первое стихотворение «Нет, жизнь меня не обделила. . .» стало заключительной частью главы «С самим собой» поэмы «За далью — даль». Помните:

Нет, жизнь меня не обделила,
Добром своим не обошла.
Всего с лихвой дано мне было
В дорогу — света и тепла.

И сказок в трепетную память,
И песен матери родной,
И старых праздников с попами,
И новых, с музыкой иной.

Потом шли стихи без названия, заголовки заменяли первые строчки: «Час рассветного подъема. . .», «Ни ночи нету мне, ни дня. . .»:

У стольких душ людских в долгу,
Живу, бедой объятый:
А вдруг сквитаться не смогу
За все, что было взято!

За то добро, за то тепло,
Участье и пристрастье,
Что в душу мне от них вошло,
Дало изведать счастье.

Далее: «Снега потемнеют синие. . .», «Ты дура, смерть. . .», «Спасибо, моя родная. . .»

В тот же день стихи были посланы в набор для очередного номера журнала. А назавтра дочь Твардовского Оля принесла мне домой записку (главный редактор журнала был в отъезде, и я вел номер):

«Леонид!

Я не показал тебе еще одно стихотворение (полушуточное) «Не много надобно труда. . .». Я включаю его в цикл для разрежения «серьезности» большинства стихов.

Порядок расположения примерно этот, а там видно будет.

А. Т.»

Новое стихотворение было поставлено четвертым. Теперь их стало семь.

Как только пришла верстка, я позвонил Трифоновичу:

— Есть верстка. Могу завезти, показать. . .

— Что еще за честь. Сам сейчас к вам в редакцию заеду. И вместе посмотрим.

Я разложил перед поэтом еще не высохшие листы верстки. И прежде чем увидеть неудовольствие на лице Трифоновича, сам заметил промашку. Стихи были раз-

верстаны на полторы страницы журнала, что называется, впритык друг к другу, без воздуха, без той широты и легкости, которой они были достойны. Я пригласил техреда и сказал ему:

— Разверстать цикл на полный разворот. Попросите художника Высоцкого написать заставочки, он это умеет. И на открытие цикла портрет поэта.

— Может быть, портрет-то как раз и ни к чему? — улыбнулся Твардовский.

— Портрет необходим, — поддержал меня техред.

23 октября вышел сорок третий номер журнала «Огонек» за 1955 год. Шестая и седьмая страницы заняты стихами Александра Твардовского «Из лирики». За этот цикл поэт был удостоен премии «Огонька». В числе тринадцати лауреатов (тогда премировались действительно самые лучшие произведения — не более пятнадцати за год), кроме А. Твардовского, были С. Маршак, О. Гончар, Н. Грибачев, Ю. Лаптев, К. Паустовский, Г. Радов, Д. Храбровицкий, художник О. Верейский.

Пожалуй, это было самое крупное выступление А. Твардовского со стихами на страницах «Огонька». За четыре года (1955—1959) мы дали подписчикам еще три книжки со стихами Твардовского в приложении к журналу.

Кому-то нужно было распустить страшную байку: «Твардовский терпеть не может молодых поэтов». При этом ссылались на произнесенные им где-то слова: «Молодых поэтов, как котят, надо топить, пока они не прозрели». Нечто подобное однажды слышал и я от Трифоновича. Тогда шла речь о том, что в чистый поток советской поэзии все явственнее вливаются ручейки бездарности, серятины и пошлости, что стало много

поэтов разных и, к сожалению, далеко не всегда хороших, что поэтическая дребедень наносит моральный ущерб поэзии и портит вкусы читателям.

— Люди теперь грамотные, все больше и больше становится тех, у кого среднее и высшее образование. Почти каждый может рифму подобрать, с размером справиться, стишок сочинить. — Помню, еще в первой половине пятидесятых годов в кругу известинцев, бывших военных корреспондентов, когда речь зашла о состоянии поэзии тех лет, Твардовский говорил это и продолжал: — Но у большинства подобных поэтов стихотворчество, как правило, баловство, и оно со временем проходит. У большинства, но, увы, не у всех. Газет и журналов ныне у нас уйма. Заводская многотиражка, районная газета да областная комсомольская или городская вечерняя стишки «своего» поэта тискает с удовольствием. А он и возомнит, на работе волынить начинает, стишки кропает, в разные адреса шлет. В тех стишках ничего своего, все заимствовано, все под кого-то. Словом, чужая песня на знакомый лад. Вот таких-то поэтов, как котят, надо «топить», то есть останавливать вовремя, пока они совсем не загубили себя и поле настоящей поэзии не заглушили сорной травой. Остановить их нужно вовремя, пусть полезным обществу делом занимаются. Льстить бездари — значит погубить человека.

Известно, что Твардовский и как поэт, и как редактор чувствовал и отмечал всякого талантливого молодого стихотворца, — доказательства тому десятки писем поэта к разным молодым авторам, впервые опубликованных в книге «О литературе», вышедшей в издательстве «Современник» в 1973 году. Он охотно привечал самобытного молодого поэта, не уставал радовать-

ся его успеху. Я не раз слышал добрые слова, даже слова восторга, высказанные Твардовским, например, о Егоре Исаеве. Не раз слышал и обиды, адресованные Твардовским некоторым «открытым» им поэтам. В «Огоньке» мы напечатали несколько поэм Алексея Маркова. Как-то в разговоре со мной Трифонович сказал:

— Алеша Марков очень способный, талантливый человек. Впервые он напечатался в «Новом мире» по моей рекомендации. А теперь публикует поэму за поэмой. Не стало прежней отточенности и строгости при отборе слова. Пишет размашисто, многословно. Кое-кто у нас, бия себя в грудь, всенародно клянется, что он русский, что он и есть подлинная Россия, а его поэзия — исконно русская. Суть поэзии русской — не подобные клятвенные заверения. Она, эта суть, в русской сдержанности и силе мысли, чувств, в достоверности и правдивости, в содержании всего, что создано русской поэзией, что написано тем или иным русским поэтом, хотя он нигде и не давал клятвенного заверения быть только русским.

Все это я вспомнил, вчитываясь вот в это письмо А. Твардовского:

«Москва, 21.X.56

Дорогой Леонид Александрович!

Направляю стихи молодых поэтов, о которых говорил тебе по телефону.

1. Борис Шумилов, комбайнер, Б. Мурашкинской МТС, Горьковской области. Его стихи, при всей как бы непритязательности формы, на мой взгляд, отличаются подлинно поэтическим видением живых черт того мира, в котором автор — свой человек, работник.

Стихи можно было бы расположить в таком порядке (если редакция отважится поместить не одно, а три-четыре стихотворения молодого автора):

1) Перед жатвой
2) «Конец уборки. . .»
3) Дядя Вася
4) Тетя Маша
5) О поэзии.

2. Игорь Корейша, студент Таллинского политехнического института (горное отделение). В стихах явные поиски своеобразного выражения, стремление к отчетливости, ритмической и интонационной, словом, что-то есть свое, не с чужого образца взятое, хотя знакомство с образцами, известная культура безусловна. Из его тетрадей рекомендовал бы следующие стихотворения:

1) «Иной поэт. . .»
2) Утро на берегу
3) Молодые дарования
4) Точная примета

(Эти четыре стихотворения можно дать вместе.)

5) Пословицы наизнанку
6) Медицинско-лирическое

Я, конечно, намечаю с возможностью выбора, как, впрочем, и в отношении вещей из этих тетрадей, — можно и там посмотреть.

3. Владимир Фирсов — студент Лит. института, молодой (20 лет), хороший паренек, уже печатался по моей рекомендации в «Н. мире» и др. местах. Посмотрите его два стихотворения.

Привет!

А. Твардовский

Большая просьба уведомить авторов, если будет что-нибудь отобрано, и возвратить (во всех случаях) тетради. *А. Т.*»

Нуждается ли это письмо в комментариях, хотя ими можно занять не одну страницу. Письмо Трифоновича как бы изобличает нелепые разговоры о нелюбви, даже чуть ли о ненависти Твардовского к молодым поэтам. Наоборот, не все именитые поэты столь трогательно заботливо относились к молодым поэтам, в произведениях которых есть хотя бы блесточка самобытного таланта.

Письмо А. Твардовского и тетрадки со стихами Шумилова, Корейши и Фирсова пришли ко мне после моих настойчивых домогательств:

— Трифонович! Дай для «Огонька» что-нибудь из новых твоих стихотворений!

— Будут новые — передам, а сейчас пока ничего нет.

Как-то он позвонил:

— Я получаю массу писем молодых поэтов со стихами. Если я отберу для «Огонька» произведения двух-трех поэтов и пришлю тебе? Напечатаете? А своего у меня пока, извини, ничего нет.

— Присылай, — ответил я. — Для нас достаточно уже того, что есть твоя рекомендация.

Когда тетради со стихами пришли ко мне, я передал их Анатолию Кудрейко, который много лет вел в журнале отдел поэзии, и попросил его быть предельно внимательным при подготовке стихотворений к печати.

В последнем, пятьдесят втором номере «Огонька» за 1956 год, под рубрикой «Молодые голоса», были опубликованы стихи Бориса Шумилова: «Дядя Вася», «Расставание» («Конец уборки. . .») и «О поэзии» и стихи Игоря Корейши: «Утро на берегу» и «Молодые дарования», — следуя рекомендации Твардовского, под

этим названием были объединены несколько стихотворений Корейши.

Два стихотворения Владимира Фирсова, присланные Твардовским, мы решили не включать в эту подборку. Фирсов жил в Москве. Кудрейко связался с ним и попросил дать для «Огонька» цикл стихотворений на целую страницу журнала. Почему-то затянулась публикация этого цикла. Только 10 апреля 1958 года всю десятую страницу под рубрикой «Голоса молодых» заняли стихотворения Владимира Фирсова: «Смоленск», «Не ты», «Глинка в дороге», «Мельник», «Красивой». Страница проиллюстрирована портретом поэта и рисунками Ю. Реброва.

Примечательно, что в первом номере «Огонька» за 1959 год опубликовано сообщение о премиях журнала за 1958 год. В числе лауреатов: Я. Брыль, Р. Гамзатов, О. Гончар, В. Кулемин, С. Никитин, В. Перцов, Г. Радов, Я. Хелемский, В. Федоров, В. Фирсов — за упомянутый цикл стихотворений — и А. Твардовский за рассказ «Печники».

О рассказе «Печники» стоит рассказать подробнее.

Только что перечитал «Печники», лучшее из прозаических произведений Александра Твардовского, примечательное творение вообще русской прозы и особенно такой его жанровой разновидности, как рассказ.

Перечитал, чтобы самопровериться: сохранились ли в памяти все детали из этой песни о мастерстве, как высшем проявлении характера представителя любой профессии, как выражении достоинства личности: печник «Егор Яковлевич был поэтом своего дела».

Я оказался одним из первых читателей рассказа «Печники». С той поры он осел в моей памяти со все-

ми подробностями, как песня о русском величии и душевной теплоте.

В начале второй половины января 1958 года в вечерний час позвонила Мария Илларионовна:

— У меня поручение мужа — дать почитать вам его рассказ.

— С удовольствием беру на себя эту приятную миссию. Я сейчас забегу к вам...

Мария Илларионовна сказала:

— Нет, лучше я к вам зайду. Если можно, то сейчас.

Через несколько минут Мария Илларионовна сидела у нас дома и поясняла:

— Мы с Сашей в Ялте, в доме творчества. В квартире у нас пустынно. Я прилетела утренним самолетом всего на два дня, послезавтра лечу обратно. В Москве у меня уйма всяких дел, в том числе и поручений Саши. В Ялте он закончил рассказ «Печники» — начал лет пять назад, а последнюю точку поставил вот теперь. Просил обязательно Вам показать: «Пусть Леонид прочтет, подойдет ли рассказ по размеру для «Огонька». Как-никак сорок страниц на машинке. А нужно в один номер. Делить рассказ ни на какие части нельзя. Да и вообще, у них там, в журнале, не все так уж просто... Попроси его, чтобы он сам прочел и тот, кому еще нужно, за два дня, что ты будешь в Москве. Если они решат печатать, оставь у Кудреватых».

Размер рассказа меня не смущал. Я обещал Марии Илларионовне позвонить завтра утром: за ночь прочту и сразу скажу свое мнение. Больше того, заранее просил передать Трифоновичу благодарность за то, что рассказ он отдал «Огоньку».

— Вначале Твардовский намеревался опубликовать «Печники» в «Новом мире», — заметила Мария Илларионовна, — но перед моим отлетом из Ялты положил рукопись в папку и сказал: «В «Огоньке» тираж больший, да если захотят, то и напечатают быстро. А в «Новом мире» через два месяца, не раньше. Скажи об этом Кудреватых».

На следующий день перед отъездом в редакцию я позвонил Марии Илларионовне:

— Рассказ мне очень понравился. Будем его печатать. Будем, я уверен. Но окончательное решение должен принять главный редактор Анатолий Софронов. Он сейчас в Москве. Я еду к нему домой, попрошу его сразу же прочитать.

В редакцию Софронов приехал, как обычно, часа в три дня. Я шел в его кабинет с некоторой тревогой: отношения между Твардовским и Софроновым, мягко говоря, были не из легких.

— Прочитал? — спросил я.

— Да. И рассказ хороший, — последовал ответ. — Будем печатать. Но он большой, придется в двух номерах.

Я передал просьбу Твардовского: «Прошу в одном номере, рассказ не делится на части».

— С иллюстрациями — это семь страниц журнала, ничего подобного у нас еще ни разу не бывало.

— Ну и что же? — заметил я. — Ради отличного рассказа, а рассказ действительно превосходный, наконец, ради Твардовского возможны и исключения.

— А как ты относишься к такому месту? — Софронов нашел нужную страницу и прочитал: — «Коснулись Маяковского, о котором майор говорил с обожанием, то и дело вычитывал из него стихи наизусть с таким увлечением, что даже забывал заслонять рукой

свою улыбку. А я думал о том, почему он при такой любви к Маяковскому сам пишет совсем по-другому — ровненько, опрятно, подражая всем на свете, но только не своему кумиру. Но я не спросил его об этом, а сказал только, что ознакомление школьников с поэзией Маяковского часто наталкивается на такие слова и обороты, которые идут вразрез с законами изучаемой ими родной речи».

— Во-первых, говорит это учитель, преподаватель литературы, от лица которого ведется рассказ, — сказал я. — А во-вторых, действительно, многие и сейчас не всё понимают и принимают у Маяковского. . .

— А как расценить реплику старого печника Егора Яковлевича, — продолжал читать Софронов: — «А я говорю, что не Пушкин? Кто же еще так мог написать? Может, Маяковский твой? Нет, брат!» Может быть, Твардовский подумает над этой репликой: к чему такое лобовое столкновение?

Уже много лет зная Твардовского и его отношение к предложенному для печати, я сказал главному:

— Надо решать так: или все дословно, или отказаться от рассказа. Трифонович не уберет и не заменит ни одного слова, тем более в данном случае. Мне так думается: эти фразы и реплики о Маяковском уже давно выношены Твардовским, в них в какой-то мере заложено и собственное восприятие и отношение поэта к поэту. Подобные высказывания я слыхал не раз от Трифоновича в разговорах со мной и с другими. Он тут не поступится ничем. Собственно, и рассказ-то, если можно так сказать, в какой-то степени написан и ради этих нескольких фраз.

— Давай запускай в производство, — решил Софронов. — Кто рисовать будет?

— Конечно, Орест Верейский.

— А в какой номер?

— Может быть, что-то снимем завтра при читке верстки очередного номера и поставим «Печники»?

— Действуй...

Вечером я позвонил Марии Илларионовне:

— Все в порядке. Рассказ будет напечатан во втором февральском номере «Огонька». Передайте, пожалуйста, Трифоновичу — ждем давно обещанные стихи.

Дня через три из Ялты в мой адрес пришла телеграмма:

«Спасибо за оперативность одобрения рассказа. Стихи дам середине февраля. Твардовский».

В седьмом номере «Огонька» за 1958 год, датированном 9 февраля, семь страниц журнала (7—15) занял рассказ «Печники». В четырех рисунках Орест Верейский прекрасно передал облик и характер всех персонажей рассказа. Один из сигнальных номеров авиапочтой я послал Твардовскому в Ялту. Тринадцатого февраля получил депешу:

«Спасибо. Стихи будут второй половине февраля. Твардовский».

Находились в редакции «Огонька» и такие особи, которые опасались: «Четвертую часть текста журнала под один рассказ, — обидится читатель». Большинство же сотрудников как бы переживали своеобразный творческий праздник: напечатан преотличный рассказ, написанный поэтом! Настроения скептиков развеяли, а оптимистов поддержали читатели. Рассказ Александра Твардовского вызвал поток читательских писем, что бывает не так уж часто. Через два месяца в пятнадцатом номере «Огонька» появилась заметка «Печники». Вот ее содержание:

«Рассказ Александра Твардовского «Печники», опубликованный в № 7 «Огонька», вызвал многочис-

ленные отклики, эта встреча с Твардовским-прозаиком обрадовала читателей. Они расценивают новое произведение поэта как значительный факт литературной жизни.

«Мы очень любим Ваши стихи, — обращаются к автору учителя московских школ В. Новоселова, А. Воронец, З. Кулакова и другие, — с большим интересом следим за всем, что вы печатаете последнее время, и этот рассказ явился для нас неожиданным и чудесным подарком».

Авторы письма, касаясь художественных достоинств рассказа, отмечают «удивительную живость и правдивость характеров, теплоту и человечность, поэзию труда и таланта». Их пленило также национальное своеобразие рассказа, его русский колорит. К ним присоединяется врач Е. Александрова.

В письмах отмечается любовное отношение писателя к людям, рядовым труженикам, его восхищение народными умельцами, красотой человеческой души, подчеркивается, что автор хорошо знает жизнь и мастерски, с тонким психологизмом изображает ее. «Оригинальность, новизна, знание жизни — бесспорны», — утверждает полковник запаса Н. Васильев. В его письме эта высокая оценка убедительно аргументирована.

Отдельные читатели, приводя факты из своей жизни, видят в рассказе правдивое изображение бытовых неурядиц, с которыми им, так же как и рассказчику, молодому сельскому учителю, приходится сталкиваться. «У меня подобные переживания тоже были», — соглашается с автором пенсионер П. Латышев. Развивая эту мысль, читатель И. Нечепуренко рассматривает «проблему печи» как следствие серьезных

упущений в бытовом обслуживании трудящихся. «Нам нужны, — восклицает он, — не только учителя, но и хорошие печники, не только писатели, но и обыкновенные портные!..»

Так случилось, что с Трифоновичем я повидался только в начале лета. Мы взаимно поблагодарили друг друга, я за то, что он передал «Огоньку» свой рассказ, а он меня, как заметил поэт, «за отменную оперативность».

— А обещанные стихи? — с укоризной спросил я.

— Их просто нет, — развел руками Твардовский. — Понимаешь, новых стихотворений у меня нет. — И тут же шутливо прочитал несколько строк из второй главы поэмы «За далью — даль»:

> ...Друзьями в классики намечен,
> Почти уже увековечен,
> И хвать писать — пропал запал!
> Пропал запал. По всем приметам
> Твой горький день вступил в права.

Я понимал, что дело, конечно, не «в запале»...

К пятидесятилетию «Огонька» в первой половине 1973 года издан однотомник «Литературный «Огонек». В статье «Как создавался «Литературный «Огонек» (вместо предисловия) А. В. Софронов, в частности, пишет:

«Перелистываешь страницы журнала, и вдруг видишь прозаический шедевр — рассказ Александра Твардовского «Печники». Не так много замечательный советский поэт написал произведений в прозе. Но этот, пожалуй, единственный в такой манере, со скрытой полемикой, рассказ он в свое время передал нам со словами: «Люблю печататься в «Огоньке». Много людей сразу читают».

Жаль, что «прозаический шедевр» из-за его объема не включен в однотомник «Литературного «Огонька». Творчество А. Твардовского в нем представлено стихотворением «Дом бойца», опубликованным в «Огоньке» во время войны, в 1942 году. Историю же получения и печатания рассказа я изложил подробно.

Чтобы завершить «огоньковский период», расскажу об одной фотографии. 19 июня 1960 года, накануне моего ухода из «Огонька», отмечалось пятидесятилетие поэта. На оборотной стороне обложки журнала мы напечатали портрет Александра Твардовского и рядом с портретом небольшую статью Михаила Дудина, который написал: «Ему пятьдесят лет. Он стал национальным русским, советским поэтом».

У меня сохранился один из вариантов фотографического портрета пятидесятилетнего поэта. Когда фотокорреспондент В. Тарасевич показал только что отпечатанные размером на страницу журнала портреты поэта, я отобрал один для публикации и попросил фотожурналиста остальные экземпляры вручить Александру Трифоновичу как подарок редакции, заметив при этом:

— Скажите Трифоновичу, что я очень хотел бы иметь у себя вот это его изображение, — и указал на фотографию с вдохновенным лицом поэта, то ли с кем-то увлеченно разговаривающего, то ли читающего свои стихи.

В свое время Трифонович видел у меня редкие фотографии Шаляпина, Бунина, Рахманинова, Чкалова, фронтовые снимки, на которых запечатлены друзья, товарищи — журналисты и писатели в разных сочета-

ниях, и, видимо вспомнив папку с этими фотографиями, на обороте снимка со своим изображением, который я отобрал, написал:

«Леониду Кудреватых
в его «собрание».
А. Твардовский
27. V. 60 г.».

Чисто деловые отношения с Трифоновичем у меня прервались — больше я нигде не служил, но, пока Твардовские жили еще в известинском доме, мы встречались нередко и в час прогулки поэта, а порой у Сергея Сутоцкого или у меня дома.

Побродив в вечерний час около дома или по набережной, что перед окнами, потом иногда мы уединялись у меня на кухне. Неторопливый разговор о том о сем прерывается просьбой Трифоновича:

— Принеси-ка томик Тютчева.

И читает полушепотом одно, второе, третье стихотворение. Даже не для меня, а как бы себе. Почитает, остановится, посмотрит куда-то, через меня, и опять читает!

— Несправедливо недооценен у нас Тютчев. Огромной силы поэт! Философ и лирик! — скажет это, положит оба тома передо мной и добавит: — Далеко не прячь, потом почитаю.

В 1961 году Твардовские переехали из нашего известинского дома на Котельническую набережную. Трифоновича я видел реже и реже, больше на разного рода писательских собраниях и заседаниях, обменивался рукопожатиями и двумя-тремя мало что значащими фразами. Правда, несколько раз я был зван к

Сергею Сутоцкому, к которому Трифонович все еще наведывался в часы, видимо, нелегкого душевного волнения.

В один из зимних месяцев шестидесятых годов в одно и то же время мы с Трифоновичем оказались на отдыхе в санатории «Барвиха». Тогда же там был и Андрей Яковлевич Свердлов, сын нашего первого президента Якова Михайловича Свердлова. Андрей Яковлевич, с которым мы уже не раз бывали тут вместе, говорит мне:

— Пойдемте вечером костер жечь?

Я не расспрашивал, где жечь, а поинтересовался лишь — когда.

— После ужина, — сказал Андрей Яковлевич. — Вместо кино.

И каково же было мое удивление, когда в вестибюле я увидел и Трифоновича. Мною уже было замечено, что Твардовский не любит прогуливаться по набережной пруда, где собираются отдыхающие разных возрастов и рангов и ведут разговоры на самые различные темы. Трифонович не вливался в эти группы. А если и случалось ему выходить на набережную, то, встретившись или обгоняя «дискуссионников», он молча, кивнув головой, что означало его приветствие, проходил мимо. Кое-кто спрашивал меня:

— Зазнается, что ли? Почти ни с кем не общается...

— Не в зазнайстве тут дело, — отвечал я. — Характер у него такой, нелюдимый.

Он любил уединяться и тут, в санатории. Жечь костер он пристрастил и Свердлова. Для этого был выбран укромный уголок в глубине парка, на дне песчаного карьера, вырытого в небольшой горке. Гуляющие по парку иногда доходят до кладбища. В первые годы

войны санаторий был превращен в госпиталь. Многие из тяжело раненных защитников столицы в госпитале закончили свой жизненный путь. На их могилах — надгробия с фамилиями. Дальше, за кладбищем, — лыжня. Вот по этой-то лыжне мы и вышли к своеобразной нише, она как бы вырублена в отвесной стене карьера и походила на огромный камин. Здесь мы разводили костер, тем более что сушняка кругом было в избытке.

Языки огня лизали стены ниши, сушняк потрескивал в костре, устроившись на пеньках, мы сидели молча, устремив взгляд на огонь. Я видел лицо Трифоновича, задумчиво сосредоточенное. Отсветы пламени на секунду освещали лицо поэта, и оно снова уходило в тень.

— С детства люблю жечь костры, — не обращаясь ни к кому, проговорил Твардовский. — Люблю огонь костров. В нем есть что-то от стихийного и вместе с тем — успокаивающее. Вы заметили: люди у костров, как правило, стоят или сидят молча, точно слушая музыку, уходят в свои думы.

Последний раз я встретил Трифоновича в семидесятом году в Доме литераторов, в минуты перерыва на партийном собрании. Он стоял в фойе у окна и курил. Лицо было грустное, думы, видимо, тяжелые. Я подошел. Поздоровались. Молча. О чем спросить? Какую думу спугнешь?

— Все еще куришь? — неожиданно сорвалось у меня.

— Курю, Леонид! Курю, дорогой! А ты не утешай. Утешать попы любили. Они врали и утешали. Это, брат, ни к чему. Так-то вот! — и похлопал меня по плечу.

Август — октябрь 1973 г.

МАКАР РЫБАКОВ

В августе 1960 года в редакции русской прозы издательства «Советский писатель» меня попросили прочитать романы «Пробуждение» и «Лихолетье», вышедшие в Калинине в 1958 и 1960 годах. Признаюсь, я брал книги для рецензирования с некоторым предубеждением. Имя Макара Рыбакова, автора книг, мне было неизвестно. В «Советском писателе» редко переиздают произведения, ранее опубликованные на периферии. Живет у нас еще такой термин: «периферийный писатель» — это о литераторе, не пробившемся пока на всесоюзную или хотя бы всероссийскую трибуну. Если писатель, не живущий в Москве, издал роман, повесть или книгу рассказов в местном издательстве и рискнул потом предложить их для переиздания в Москве, то его прежде всего спрашивают: «Почему не прислали нам свое произведение в рукописи? Побоялись? Теперь, когда редакторы отредактировали, отшлифовали и доработали, вы просите: «Москва, переиздай!» Так, что ли?»

Под воздействием этой «традиции» нес я домой два томика произведений Макара Рыбакова. Через несколько дней начал читать роман «Пробуждение». Открываю первую страницу:

«В синем небе сверкает раскаленное добела солнышко. Я, повязанный желтым платком, сижу в деревянном ящике со скрипучими колесиками и облизываю языком сухие губы. Из раскрытых окон избенок, разбросанных по берегу Волги в два ряда, доносятся перестук сапожных молотков и непонятные песни. Мне пятый год. Мои простуженные ноги не ходят. Девятилетняя сестра Зина везет меня по пыльной дороге и сердито кричит:

— Везу Макария-уго-дника! Макарий-уго-дничек умер во вторничек!

«Угодником» Зина зовет меня, когда у нее хорошее настроение, а обычно честит «сиднем головастым».

И «Пробуждение» и «Лихолетье» я прочитал быстро и с удовольствием. Макар Рыбаков пишет скупо, афористично. Многие страницы с янтарной россыпью народных поговорок и пословиц. Прямая речь действующих в романе персонажей самобытна, она выражает и характер персонажа и восприятие им окружающего мира. Необычна судьба героя романа — Макара. В ней как будто нет ничего особенного, она — сколок судеб миллионов ребятишек из бедняцких семей конца прошлого и начала нынешнего века, и тем не менее в ней много необыкновенного.

В центре повествования романов — семья Рыбаковых, особенно Макар и его сестра Зина. Картины безутешной бедняцкой жизни выписаны впечатляюще. Вся семья Рыбаковых в батраках, в работниках у чужих людей, живет впроголодь. А Макара к тому же выгнали из начальной школы.

Социальные мотивы — основа романов. На протяжении многих лет интересы таких людей, как Рыбаковы и им подобные, и помещицы Костолярихи с ее окружением были непримиримы, они показаны писа-

телем во многих житейских столкновениях. Классовые схватки постепенно открывают мир больших идей. К финалу романа «Лихолетье» (события, развивающиеся на страницах романов, охватывают период с конца прошлого века до Октябрьских дней 1917 года и происходят в деревне, в городе Кимры, в Москве — на обувной фабрике Хапилова — и в армии в годы первой мировой войны и революционных потрясений) многие представители из народа становятся активными участниками революционных событий, примыкают к большевикам.

Когда я дочитал оба романа, в память запали не только главные герои, но и появляющиеся в эпизодах персонажи. Нельзя было не заметить умения автора точными определениями или живо написанными сценами придать колоритность таким типажам, как урядник, поп, благочинный, управляющий имением. Выразительными показались мне и сатирически заостренные рисунки пьяницы и разбойника, обжоры и бездельника, деревенского глупца.

В романах показаны жизнь и быт мастеров сапожного дела, особенно подмастерьев, этих несчастных людей, своим поведением родивших народные поговорки: «пьян как сапожник», «нализался в стельку».

Рецензия, которую я написал после прочтения романов Макара Рыбакова, была немного восторженной, но искренней: «Романы М. Рыбакова — произведения незаурядные, имеют право быть переизданными в «Советском писателе». К этому выводу я добавил: «Некоторые писатели, живущие в Москве, куда менее интересны и самобытны в своем творчестве, чем Макар Рыбаков, а выпускают книги то в одном, то в другом московских издательствах. А Макар Рыбаков, безусловно одаренный человек, в Москве не издавался еще

ни разу». Заключалась моя рецензия так: «Уверен, что романы Макара Рыбакова найдут путь к сердцу самого широкого круга читателей и встретят его одобрение».

Когда я принес рецензию и сказал, что оба романа надо переиздать, что произведения Макара Рыбакова имеют все основания перешагнуть границы Калининской области, мне заметили:

— Вы не одиноки в своей рекомендации. И другие писатели, знакомившиеся с романами Макара Рыбакова, в частности Борис Агапов, требовательный к слову, тоже высоко оценили прочитанное.

Переиздание романов Макара Рыбакова вошло в план 1962 года, а в мае 1962 года я получил из города Кимры бандероль.

«Сердечно благодарю Вас за Вашу рецензию для издательства «Советский писатель» на мои романы «Пробуждение» и «Лихолетье», которые сейчас находятся в производстве.

В знак благодарности посылаю Вам последний роман моей трилогии — «Бурелом».

От души желаю Вам бодрствовать и творить.

М. Рыбаков»

«Бурелом» издан тоже в Калинине. Прочитав его, я убедился в правоте своей причастности к переизданию в Москве первых двух романов трилогии Макара Рыбакова: на всесоюзную писательскую трибуну выходит новый самобытный писатель.

В романе «Бурелом» нарисовано обширное полотно послереволюционных социальных преобразований, проходивших в острых классовых столкновениях.

В этом романе, как и в первых, та же чеканность письма. Но, как и в первых, встречались и стилевые огрехи, и сюжетные флюсы, что при доброжелательном совете рецензента и редактора книги легко исправлялось.

В начале 1963 года в телефонной трубке я услышал высокий баритон:

— Здравствуйте! С вами говорит Макар Андреевич Рыбаков. Я очень хотел бы видеть вас...

— Я тоже буду рад встретиться с вами.

Через час я поднимался в лифте на девятый этаж гостиницы «Москва» и мысленно рисовал облик писателя из города Кимры. Он мне представлялся то довольно дряхлым, сухопарым интеллигентом с пергаментной кожей на лице, в длиннополом пиджаке, застегнутом на все пуговицы, то бородатым мужиком, несущим в себе что-то от старой лесной деревушки. Встречал же меня среднего роста, большеголовый и высоколобый, довольно бравый крепыш, с густой, немного вьющейся седой шевелюрой, молодецки подстриженными усами. На нем была рубашка-косоворотка с вышивкой русского орнамента на воротнике, крученый пояс и поверх пиджак из добротного бостона. Рукопожатие порывистое, крепкое.

Макар Андреевич знакомит меня с гостями. Не скрывая любопытства, я и за столом заинтересованно слежу за Рыбаковым. Он смачно опустошает рюмку, легко закусывает, и продолжается начатый до моего прихода разговор о его новой книге, в которой действует драмодел-прохвост, пытавшийся попервоначалу соавторствовать с молодым литератором, а позднее крадущий почти окончательно написанную пьесу.

— А вы еще и пьесы писали? — прерываю я рассказ Макара Андреевича.

— Начал я, правда, с рассказов. Первый рассказ «В бане» написал, когда мне было уже тридцать семь лет, — отвечает Рыбаков. — Напечатала рассказ «Тверская правда». Потом в драматургию ударился. Писал пьесы для клубной самодеятельности. Две пьески вышли книжками в издательстве «Федерация». Одну из них, «Зайчина», даже премировали. Был такой конкурс, организованный по инициативе Алексея Максимовича Горького Московским областным отделом народного образования, на лучшую пьесу клубного характера. Горький прочитал «Зайчину» и похвально отозвался о ней.

— Вам приходилось видеться с Алексеем Максимовичем?

— Да, в тысяча девятьсот тридцать втором году.

— Сколько вам было лет?

— Уже сорок два.

— Значит, сейчас вам за семьдесят?

— Получается так — семьдесят третий пошел. Рассказом о встрече с Алексеем Максимовичем Горьким я заключаю свой новый, уже четвертый, роман «Первопутки», который недавно закончил начерно.

— Рукопись романа с вами?

— Хотите послушать?

Мы единодушно попросили прочитать последнюю главу. Мне к тому же хотелось послушать, как молодой телом и духом семидесятидвухлетний крепыш читает сотворенное им. Предупредив, что написанное только черновик, Макар Андреевич начал читать медленно, короткими паузами отделяя одно предложение от другого:

— «Алексей Максимович провел нас в свой рабочий кабинет, где я увидел возле окна большой письменный стол, покрытый голубой бумагой. На нем стоя-

ла массивная стеклянная чернильница, возле которой три отточенных карандаша и ученическая ручка с пером. На краю стола — стопка рукописей, наверху моя пьеса — «Зайчина».

Прежде чем предложить нам сесть, он, пожимая руки, поздравил нас с успехом. (На беседу были приглашены авторы премированных пьес. — *Л. К.*) А когда мы разместились, достал из кармана брюк серебряный портсигар, предложил угощаться нам и закурил сам.

Из всех только я отказался взять папиросу.

Горький облокотился на угол стола, придерживая рукой левый висок, чуть прищурился и спросил меня:

— Товарищ Сапожник, разве вы не курите?

— Алексей Максимович, — ответил я, — с малолетства не научился, а теперь, думаю, поздновато. Уже за сорок перевалило.

— И не учитесь. Не советую. Польза от этого невелика. Я сам несколько раз кончал, а вот никак...

Он поднялся и приоткрыл дверь в прихожую, что-то сказал той женщине, которая встречала нас. Докурив папиросу, воткнул ее в стеклянную пепельницу, обратился ко мне:

— Макар Сапожник — это ваша фамилия?

— Нет, Алексей Максимович, это псевдоним, а фамилия моя Рыбаков. Сам я из Кимр, основная профессия сапожник, вот я и...»

Тут Макар Андреевич оторвался от рукописи и пояснил нам:

— Рассказы и пьесы я подписывал псевдонимом М. Сапожник. Не устали слушать? Может быть, пропустим по одной?

Мы попросили продолжать чтение. Сказав, что будет читать с небольшими купюрами, Макар Андреевич продолжал:

— «Угощая нас, Горький долго говорил о значении советской драматургии для народа, вскользь упомянул свою знаменитую пьесу «Егор Булычов», которая шла в то время в театре Вахтангова. Затем коснулся целей, которые преследовал московский конкурс, после чего решил остановиться на каждой пьесе в отдельности. Взял мою «Зайчину» и, глядя на первую страницу, подумав, сказал:

— Так-так, Макар Сапожник. А по-моему, напрасно вы взяли себе такой псевдоним. Рыбаков — чисто русская фамилия, а Сапожник? Не оригинально. Я бы на вашем месте никогда не поменял. — Он, извинившись перед сидящими, что задерживает их, продолжал: — Товарищ Сапожник, а что вас заставило взяться за перо в таком возрасте?

— Алексей Максимович, вы толкнули меня на этот путь.

Мой ответ его немного удивил, он чуть придвинулся ко мне и проговорил:

— Я? Мы с вами, кажется, ни разу не встречались. И если бы вы не получили премии, возможно, и не увиделись. Вы меня заинтересовали. — Обратившись к сидящим, продолжал: — Самоучка, кимряк-сапожник и вдруг написал неплохую пьесу. Вы были хозяином или батраком?

Я коротко рассказал о своей тяжелой жизни. . .»

Извинившись, что прерываю чтение, я спросил Макара Андреевича:

— В те дни, когда вы узнали о премии за пьесу и были приглашены к Горькому на беседу, где вы были, что делали?

— Жил в Москве у приятеля. Был холодным сапожником, работал на рынке. И одновременно учился на курсах драматургов при Всероскодраме. — Макар Андреевич отложил рукопись на столик у кровати, сказав при этом: — Главное я прочитал. Потом Алексей Максимович спросил меня, учусь ли, и посоветовал: «Учитесь и пишите». И еще спросил меня, почему в пьесе я пишу о скорняках Ивановской области, а не показываю своих кимряков, о них, об эксплуатации кимряков, мол, упоминал Владимир Ильич в книге «Развитие капитализма в России». Да, это была встреча, перевернувшая всю мою жизнь. Еще раньше, когда я прочитал уже много книг Горького, перед портретом Алексея Максимовича я дал клятву писать до самой смерти. Но после беседы с ним понял: одной клятвы мало. Нужны знания, литературные навыки, мастерство.

И внешний облик Макара Андреевича, и только что услышанное о его необычной судьбе заинтересовали меня. Видимо, заметив мой вопрошающий взгляд, Рыбаков продолжал рассказ о себе:

— После беседы с Алексеем Максимовичем я много лет ничего не писал. В самом деле: мои драматургические опыты теперь вызывают только улыбку. Они были в литературном отношении беспомощны. Подкупала в пьесах необычность среды и профессии действующих лиц с их своеобразной лексикой. Жизнь моя была трудная, но необыкновенно богатая впечатлениями. Все окружавшее меня — неисчерпаемый кладезь характеров. Бедняк из бедняков. Подмастерье. Рабочий в сапожной мастерской. Участник двух войн и трех революций. После установления у нас в Кимрах советской власти — уездный комиссар земледелия, председатель первой в уезде сельхозкоммуны. Я самоучкой

получил образование. Уже взрослым, много познавшим человеком экстерном сдал за среднюю школу. Стал преподавателем. Так что жизненного материала для рассказов, повестей и романов у меня было предостаточно. После беседы с Горьким я понял, что, прежде чем начинать писать что-то серьезное и большое, нужно учиться и учиться. Меня еще в 1935 году приняли кандидатом в члены Союза писателей. Мне было уже сорок шесть лет, когда я поступил на заочное отделение Литературного института имени А. М. Горького. Окончил его только на пятидесятом году жизни. Как видите, учиться никогда не поздно.

— После окончания Литературного института начали писать трилогию? — спросил кто-то из нас.

— Куда там, — с горечью ответил Макар Андреевич. — Началась война. Разве я, старый солдат, мог усидеть дома, тем более что фашисты подходили к моим родным землям?! Демобилизовали меня раньше, чем прозвучали победные залпы, — как-никак перевалило за пятьдесят. Вначале был инструктором районного сельхозотдела, потом снова ушел в преподаватели.

— Когда же начали писать трилогию?

— Я писал ее всю свою жизнь, — смеется Макар Андреевич. — Сначала — как прототип главного персонажа. Потом мысленно: чеканились характеры героев, рисовались картины природы и эпизоды событий, развивался сюжет. Этот процесс был долгим, многолетним. А писать-то я начал уже в пятидесятых годах. Как сел за письменный стол, так с той поры вот уже более десяти лет занят этим захватившим меня делом. «Пробуждение» вышло в свет, когда мне стукнуло уже шестьдесят семь лет. В том же 1958 году меня перевели из кандидатов в члены Союза писателей.

— Совсем молодой писатель! — воскликнул я.

— Выходит, так, — улыбнулся Макар Андреевич.

Кто-то сразу предложил тост за молодого писателя Макара Рыбакова. Выпили мы стоя, пожелав литератору долгих лет жизни и новых талантливых книг. Когда мы сели, Макар Андреевич заговорил снова:

— Задумки есть — о нынешней молодежи написать, о людях много знающих, энергичных, ни перед кем не сгибающих спины. Но прежде всего нужно закончить «Первопуток». Этим романом я как бы заканчиваю автобиографическую серию. Автобиографическую — условно. В изданных романах действуют и вымышленные персонажи, и Макар Рыбаков — это, конечно, далеко не я. Тут много от типизации, от эпохи, о которой идет речь в написанном. Становление новой личности из рядов трудового народа — вот что я хотел показать в трилогии. Удалось ли, не знаю. Судить вам. . .

Мы засиделись далеко за полночь. Я был рад, что судьба свела меня с таким человеком. И, точно угадав мои мысли, Макар Андреевич в дарственной надписи на только что вышедшем в «Советском писателе» однотомнике, впитавшем в себя романы «Пробуждение» и «Лихолетье», начертал: «Пусть наша встреча останется в памяти навсегда».

Мы условились при каждом удобном случае встречаться, и, конечно, в следующий раз в Кимрах. Изредка мы разговаривали по телефону, в предпраздничные дни обменивались поздравительными открытками. В декабре 1965 года Макар Андреевич писал мне: «Я звонил вам, но мне сказали, что вы в больнице. Последнее время слышал, что вы стали чувствовать себя лучше, чему я сердечно рад. Не теряю надежды

встретиться с вами, особенно в день моего семидесятипятилетия, 8 июня 1966 года».

Когда Макар Андреевич писал эти строки, он и не подозревал, что я работаю над рецензией, теперь уже на всю его трилогию. Мой отзыв заканчивался так: «Я высказываюсь за переиздание всей трилогии в «Советском писателе», как произведения, которое может войти в библиотеку советской литературы, издаваемой к пятидесятилетию советской власти и как юбилейное издание — Макару Рыбакову в 1966 году исполнится семьдесят пять лет».

На семидесятипятилетний юбилей Макара Андреевича, который отмечался в Калинине местным отделением Союза писателей и областной библиотекой имени А. М. Горького, я, хотя и получил специальное приглашение устроителей торжества и самого юбиляра, приехать не смог: последствия тяжелой болезни еще давали себя знать.

В ноябре 1967 года я с радостью поздравил Макара Андреевича с правительственной наградой. В канун пятидесятилетия Октябрьской революции он был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. Макар Андреевич немедленно откликнулся телефонным звонком: «Приезжайте в Кимры. Надо обмыть награду». Я опять не смог поехать.

Макар Андреевич был настойчив. В январе 1968 года он пишет мне: «Если здоровье позволит, приезжайте летом к нам, в Кимры, ведь всего три часа на автобусе. Искупаетесь в Волге, которая от моего гнезда в ста метрах».

Но опять же, увы...

Десятого апреля 1969 года «Правда» опубликовала мою небольшую статейку «Его университеты» на трилогию Макара Рыбакова. В статье, в частности, го-

ворилось: «Трилогия — широкое, масштабное, художественное полотно о переломной эпохе в жизни России, полотно, написанное мастером, знающим силу русского слова, умеющим пользоваться им точно».

После опубликования этой статьи я несколько дней лелеял надежду услышать в телефонной трубке высокий баритон Макара Андреевича. Но вместо телефонного звонка пришло письмо. Оно меня немало удивило: «Ваша статья, напечатанная в «Правде», меня очень порадовала, я получил поздравления из Калинина, Ярославля, Владимира. Но сам газету с Вашей статьей достать не могу. Будьте добры, пришлите мне ее».

Статья о трилогии Макара Рыбакова была напечатана в вечернем — периферийном — издании «Правды», а жители города Кимры получают ночное — московское издание, из которого рецензию вытеснили срочные официальные материалы. Газету со статьей я, конечно, послал Макару Андреевичу.

То апрельское письмо 1969 года от Макара Андреевича заканчивалось так: «Я не теряю надежды, что мы встретимся летом у нас, в Кимрах, на берегу матушки-Волги.

Года берут свое, а мне без пары лет восемь красных. . .»

Минуло немногим более года, и 10 июля 1970 года в «Литературной России» я увидел в траурной рамке «Слово прощания», написанное Петром Дудочкиным:

«На восьмидесятом году умер Макар Андреевич Рыбаков.

Он любил вторую половину июня, когда природа дарит самые большие дни в году. В эту пору можно долго-долго писать без огня, сперва в скромном своем кабинетике с одним окошком, выходящим на тихую

по утрам и бойкую днем улицу Орджоникидзе, а потом в выращенном своими руками садике, где так хорошо чувствовался волглый ветерок речушки Кимрки, впадающей поблизости отсюда в Волгу. Ему нравился этот ветерок, напоминающий, что и его писательское творчество, как и Волгу маленький приток, питает большую советскую литературу.

Почти никогда не хворавший, считавший себя все время в большом литературном походе, по воле судьбы он заболел в один из таких самых длинных дней — 17 июня, а 1 июля скончался».

Так закончил жизненный путь самородок из народа, человек редкостной писательской судьбы.

1972

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Взволнованная, точнее сказать, потрясенная увиденным и пережитым за день, она положила перед собой стопку бумаги и начала писать:

«Как только я вошла в дежурную ночлежки, меня обступили мальчишки в лохмотьях.

— Эй, дружинница! .. Вы к нам? В наши палаты? Сестра? Ку-ка-ре-ку! .. Квик! ..

Кто-то дернул за подол пальто, кто-то потащил за меховые концы шапки».

Фиолетовые строчки ложились ровными рядами. Мысли и слова опережали перо. Она торопилась. Пять, восемь, десять страниц. Изображены картины и сцены удивительной, необыкновенно тяжелой и вместе с тем беспечной, даже разудалой жизни ребят. Выстроились новые строки:

«Я подумала: «Как трудно будет их перековать. А надо. Обязательно надо».

Еще страничка. Новые действующие лица. Новый строй отчетливо написанных слов:

«Надо бить в набат, надо всех людей взбудоражить!»

На пятнадцатой странице последние строчки:

«Я никогда не писала в газету, но теперь твердо решила: напишу, как было в ночлежке, напишу об этих беспризорных ребятах. Скорей, скорей спасти их! Скорей, товарищи!»

Спать легла на рассвете. Сон был тревожный — видела чумазых оборвышей с лицами злыми и задорными, глазами умными и смелыми. Проснулась, заторопилась, собрала написанное, положила в тетрадь со стихами. Окунулась в водоворот московских улиц. Поднялась по лестнице в первую редакцию, оказавшуюся на пути. То была «Беднота». В небольшой комнате работал Михаил Семенович Грандов — один из редакторов «Бедноты».

— Я хочу напечататься у вас...

Грандов, улыбнувшись, посмотрел на стройную, сероглазую девушку с двумя тугими косами:

— Что вы принесли?

— Стихи, — неожиданно сказала она.

— Почитайте, — и Грандов вышел из-за стола.

Читала громко, взмахом руки как бы чеканя ритм. По форме стихи были наивными, а по мысли дерзкими: девушка грозилась покончить со всем человечеством.

Грандов пригласил к себе ближайших сотрудников редакции и, не скрывая улыбки, попросил девушку еще раз прочитать стихи. Она приняла вызов и читала еще громче.

Эффект был тот же. Но девушка не смутилась. Она положила на стол Грандова пятнадцать страниц рукописи.

— Почитайте вот это, — сказала она и села на стул, не сводя с Грандова вопрошающего взгляда, пока он не перевернул последнюю страницу. Встал. Прошелся. Теперь уж без улыбки сказал:

— Вот тут вы — молодчина! Точность и подкупающая простота письма. И вместе с тем душа автора, набатный призыв: скорей, скорей на помощь! Оставьте. Хотя мы и деревенская газета, для крестьян, но печатаем все интересное и талантливое. . .

На следующий день «Беднота» напечатала репортаж «В ночлежке у беспризорных». Без единого изменения, даже с последними, заключительными словами.

Было это в декабре тысяча девятьсот двадцатого года. Девушке — автору репортажа — шел восемнадцатый год. Звали ее Еленой Кононенко.

Более полувека читатели многих газет и журналов, увидев под рассказом, очерком или статьей подпись — Елена Кононенко, обязательно прочитают их. Они знают, что этот автор с подкупающей ясностью и душевностью покажет картины жизни или подвиг советского человека, вызывающий чувство радости и гордости, а если это статья, то в ней поставлены моральные проблемы, тревожащие разум, зовущие к действию.

Я знаю Елену Викторовну более сорока пяти лет. Вскорости после опубликования репортажа «В ночлежке у беспризорных» она была приглашена на работу в «Бедноту» и сотрудничала там до дня ликвидации газеты. В «Бедноте» Кононенко занималась письмами крестьян и селькоров. Эти письма и заполняли страницы газеты. В них отражались сложные процессы бурной и противоречивой, насыщенной острыми классовыми схватками деревенской жизни. Кононенко отбирала письма для опубликования. Многим авторам писала подробные послания, полные доброжелательности и советов писать проще, как жемчужные зерна

отбирать из народных речений слово за словом, быть до предела искренним и душевным в рассказе для газеты.

Много таких писем-посланий получил и я — селькор «Бедноты». К сожалению, в годы войны письма моей наставницы — Елены Кононенко — пропали. В памяти и сердце сохранилась их теплота. Уверен: кононенковское тепло на всю жизнь сберегли многие десятки селькоров «Бедноты».

Да и как его не запомнить! В апреле 1928 года небольшую группу селькоров, в их числе и меня, «Беднота» пригласила в Москву на первомайские торжества. Елена Кононенко, или просто Лена — так мы звали ее в ту пору, неотлучно была с нами, заботилась о нас, как старшая сестра о родных братьях, попавших в необычную обстановку. Она заполнила наши дни до отказа, возила нас по Москве, показывала все интересное и важное. Лена отдавала нам не только время, но и частицу своего сердца.

И так всю жизнь — делится теплом своей души. Она бескорыстна и верна в дружбе. Дружила с правдистами-очеркистами Алексеем Колосовым и Иваном Рябовым. Дружила и спорила из-за каждой строчки, из-за каждого слова. Радовалась успеху и беспощадно критиковала неудачи, огрехи. Уже много лет нет в живых ни Колосова, ни Рябова, а Кононенко высоко несет знамя дружбы с ними: то устроит в коллективе «Правды» творческий вечер о каждом из них или обоих вместе, то организует издание однотомников их произведений или полосу памяти каждого в «Правдисте».

Лена капитан бригантины: журналистов, пришедших в «Правду» из «Комсомолки», и нас, старых очеркистов, она как бы свела в единую команду, поддер-

живает в ней высокое чувство дружбы и братства. Она немедленно встревает в защиту кем-то случайно обиженного, идет «проталкивать» чей-то важный, понравившийся ей очерк, но застрявший «в запасе». Не забывает она и старых друзей, не доживших до наших дней. В определенные дни возглавляет походы к могилам незабвенных.

А как она радуется удаче талантливой молодежи, пришедшей в «Правду»! Охотно делает обзоры произведений молодых на партийных бюро и творческих семинарах. Хотя Лена давно уже на пенсии, но, оставаясь специальным корреспондентом «Правды», с завидной и для иного штатного работника аккуратностью посещает все редакционные летучки, порой ради того, чтобы сказать несколько слов об удачных выступлениях молодежи. Человек может гордиться, если вырастил одно дерево. Кононенко помогла творческому росту десятков молодых журналистов.

Как-то в один из утренних телефонных раундов (я люблю эти раунды, в них раскрываются какие-то новые, неизвестные для меня черты характера и биографии Кононенко) Лена сказала мне:

— Спешу на летучку. Читал очерк Кожемяко? Понравился? Хочу поддержать, похвалить.

— Это, надо думать, сделают и без тебя, — робко вставил я. — Чего ты мотаешься на каждую летучку? Не молоденькая ведь. . .

— Слушай, что я тебе прочитаю:

Стариковское спасибо — пока я не умер,
За здоровье, за полуденное солнце,
За этот неосязаемый воздух,
За все, что живет, за любовь,
За дела, слова, книги, за краски и формы,

За всех смелых и сильных,
За преданных упорных людей,
Которые отстаивали свободу
Во все века во всех странах.

Я спросил:

— Опять стихи писать начала?

— Что ты! — послышалось в ответ. — Это же стихи американского поэта-гуманиста Уолта Уитмена. Года три назад ему исполнилось сто пятьдесят лет. Эти строки очень близки мне. Только, пожалуй, в первой строке я бы вычеркнула слово «стариковское». А вместо него поставила бы «горячее» или «сердечное». Ты знаешь, я не люблю слово «стариковское» и не ощущаю себя старухой. Я ненавижу старух!

— Лена! Извини, пожалуйста, сколько сейчас тебе лет?

— Когда Уитмен писал это стихотворение, ему было пятьдесят четыре года. Мне идет семидесятый. Вот так-то, Ленечка! — И в телефоне прозвучал отбой.

Действительно, несмотря на такой возраст, Лена не любит ничего стариковского. Не любит ни старух, ни стариков. Года два назад она убедительно и хлестко разнесла в «Правде» неких стариков пенсионеров, которые под флагом «общественности» взяли за правило вмешиваться в личную жизнь соседей по дому.

Мне знакомо все, или почти все, опубликованное Еленой Кононенко в «Комсомольской правде», куда она перешла после закрытия «Бедноты», все, что она уже более тридцати лет печатает в «Правде» и многие годы в самом массовом журнале «Работница», членом редколлегии которого она состоит. Печатается и в других изданиях, в разных сборниках, изредка выступает по радио и телевидению. Выходят книги ее рассказов и очерков. Но дом для нее — газета, ее редакция, в

данном случае «Правда». Она живет этим воздухом. Здесь все ее устремления, все мысли.

Пишет Лена, как правило, на Беговой, где живет. После машинки вычитывает материал и, не показывая никому, даже близким друзьям, несет в отдел. Ждет приговора. Приговор бывает один: в набор. Что называется, с колес очерк идет на газетную полосу.

Именно с колес. За полвека с удостоверением специального корреспондента Елена Кононенко исколесила страну вдоль и поперек, побывала и в зарубежных государствах. Она любознательна и неустрашима. Это я знаю по войне, где встречался с ней. Но никогда не предполагал, что Лена проникала даже в «запретные зоны». В традициях Военно-Морского Флота не принято допускать женщину на боевой корабль, а тем более брать в плавание. Елена Кононенко еще в начале тридцатых годов бывала не только на военных кораблях, швартовавшихся на Балтике — в Кронштадте и в Севастополе — на Черном море, но и ходила в походы на подводных лодках, на крейсере «Червона Украина», на линкоре «Парижская коммуна». Случайно мне попала книга, давно ставшая библиографической редкостью. Называется она «Краснофлотцы». Вышла в 1934 году в Издательстве художественной литературы. Автор — Елена Кононенко.

В 1970 году в редакцию «Работницы» пришла бандероль. В ней оказалась потрепанная книга, без начала, без многих страниц. Книгу сопровождало письмо учительницы Меншутиной из Химок. Учительница не знала ни домашнего адреса, ни места работы автора «зачитанной до дыр» книги и просила сотрудников журнала передать письмо и книгу Елене Викторовне.

«Я решила послать этот томик, потрепанный, поношенный, несмотря на то, что очень берегла его, —

пишет Меншутина. — Может быть, Вам приятно узнать, как он переходил из рук в руки, даже из поколения в поколение».

При ближайшем рассмотрении «томик» оказался книгой «Разговор по душам», в которую Издательство детской литературы включило двадцать три рассказа Елены Кононенко о детях и подростках. Год выхода книги — 1939-й.

В тридцатых годах «Комсомольская правда» часто публиковала рассказы и очерки Елены Кононенко о детях и подростках. Я помню, как номера «Комсомолки» с произведениями Лены, такими, как «Неженка», «Женька и барабанщик», «Обида», «Красный галстук», «Девочка», «Чапаевцы наступают», и многими другими, переходили из рук в руки. Рассказы Кононенко о детях и подростках вызывали горячие обсуждения и споры. В чем тут дело? Частичный ответ дает Сергей Эйзенштейн. В заметках, написанных в 1943—1944 годах, вошедших в пятый том его избранных произведений, к числу крупнейших писателей знатоков детской души Эйзенштейн причисляет и Елену Кононенко, цитирует ее очерки о московских ребятах. Да, незауряден дар Елены Викторовны проникать в тайники детской психологии и объяснять читателю движения разума и сердца молодого человека!

Но вернемся к письму учительницы Меншутиной. Она продолжает:

«Когда я впервые прочитала «Разговор по душам», мне было пятнадцать лет. В этом возрасте нас волновали вопросы дружбы, любви, взаимоотношений со старшими, родителями. Мы впервые начинали задумываться о смысле жизни и о своем месте на земле. И вот Ваша книга для нас оказалась очень нужной, она давала ответы на многие вопросы... Помню, как

мы, собравшись в самом дальнем классе, читали очерки из вашей книги... Что-то выписывали, перечитывали дважды».

«Через несколько лет, — пишет далее Меншутина, — в эту же самую школу я пришла учительницей литературы. И снова «Разговор по душам» стал моим большим другом... Мне дорога эта книга как воспоминания о юности, о начале работы в школе, о большой дружбе со старшеклассниками. Но все-таки посылаю ее Вам в подарок, и хочу сказать большое человеческое спасибо не только за эту книгу, но за все хорошие минуты раздумий, которые приносят Ваши статьи, за Ваше большое, чуткое, умное сердце...»

Трудно представить более высокую для литератора награду, чем письмо учительницы Меншутиной, проникнутое глубоким признанием в любви. Для Кононенко эта бандероль оказалась еще и бесценным подарком: в ее «литературном хозяйстве» давно уже не было ни одного экземпляра «Разговора по душам».

В названии книги с предельной отчетливостью выражено творческое кредо Елены Викторовны. Она пишет о том, что взволновало ее, что позвало в дорогу или за письменный стол. Пусть, может быть, это не самое главное сейчас, но то непременно необходимое, что не может не вызвать ответного душевного отклика читателей.

Пишет она самобытно, ни с кем ее не спутаешь. Пишет так, что, прочитав первый абзац, как бы попадаешь в плен и обязательно дочитаешь все до последнего слова. Такова сила манеры ее письма. И не только дочитаешь, но и задумаешься над судьбой человека или какой-то стороне окружающей нас жизни, раскрытых в очерке.

Я не беру смелости проникнуть в тайны творческой кононенковской лаборатории удивительно точного словосочетания, отбора единственно возможного в данном случае эпитета, той предельной ясности и поэтичности письма, за которыми скрыты часы бессонных трудовых ночей, ум и эмоциональный заряд, вложенные писательницей в свое небольшое по размеру произведение. Скажу лишь, что Кононенко полвека ведет с миллионным читателем разговор по душам и умеет это делать, как никто другой.

От критиков-сухарей доводилось слышать и такое: «Кононенко иногда пишет сентиментально, любит выбивать слезу!» А что тут зазорного, если человек, читающий очерк Кононенко, прольет слезу, которая чище родниковой воды? Не всякому писателю доступен эмоциональный заряд такой силы.

Летом 1945 года рабочие московского станкозавода имени Орджоникидзе встречались с Еленой Кононенко. Заводская многотиражка «Большевик станкозавода», рассказывая о читательской конференции, писала:

В рассказах и очерках Кононенко, «написанных очень выразительно, красочным и доходчивым языком, показана живая современная жизнь. Творчество Е. Кононенко — это показ красоты человеческой души, это направление, по которому должен следовать настоящий хороший человек. Товарищи отмечали большое воспитательное значение ее очерков».

В шестидесятые годы издательство «Правда» выпустило однотомник произведений Елены Кононенко «Это — жизнь». Лена подарила книгу мне с дарственной надписью: «Старому верному другу». Я подсчитал — однотомник в тридцать пять авторских листов впитал в себя немногим более восьмидесяти очерков

и рассказов, всего маленькую толику написанного и опубликованного в периодике. Я спросил:

— Сколько же очерков, рассказов, статей написала ты за свою активную творческую жизнь?

Кононенко удивленно посмотрела на меня:

— Не знаю. Передо мной никогда не возникал такой вопрос.

— А все же сколько? Две сотни? Пять, семь сотен? А может, и тысяча?

— Не считала. И не собираюсь. Мне некогда этим заниматься, — резко оборвала мои допросы. — Вам, мужикам, хорошо. Вы не думаете о хозяйственных делах. А у меня семья. Не забывай, я мать и давно бабушка. Прежде чем сесть за письменный стол или собирать вырезки из газет и журналов, мне нужно побывать... Да мало ли дел у хозяйки...

Когда я впервые увидел Лену в апреле 1928 года в «Бедноте», с ней неотступно была румяная девочка. Звали ее Василисой. Она уже много лет «по уши» загружена в «Пионерской правде». Две внучки Лены, дочери Василисы, в свое время ходили в школу, пели в хоре Центрального Дворца пионеров, учились музыке. А потом — университет, факультет журналистики, поездки по стране и за рубеж. А внук — давно уже женат. Мало ли хлопот у бабушки Лены!

А раз так, то в литературном хозяйстве Кононенко «полный беспорядок». Она не знает всех сборников, в которых напечатаны ее произведения. У нее нет и всех ее книг, она даже не помнит, сколько их было и как они назывались.

Понимаю — главное не подсчет написанного. Созданное за полвека Еленой Кононенко — свидетельство незаурядного таланта и мастерства, летопись нашего времени. Ее творчество — одна из примечатель-

ных страниц истории советской журналистики и литературы.

В числе правительственных наград — знаков внимания, уважения и оценки труда, которыми отмечены заслуги Елены Викторовны Кононенко на журналистском поприще, есть и высшая награда Родины — орден Ленина, есть и орден Отечественной войны первой степени.

Елена Кононенко не числилась в кадровых частях действующей армии, не значилась и в корпусе военных корреспондентов, но на боевые участки фронта ездила много раз, бывала на передовой, в окопах и землянках, в командирских блиндажах и на лесном привале, беседовала с воинами, как губка впитывала все увиденное и услышанное.

Годы войны — важнейший этап в жизни и творчестве Кононенко. Она писала не только фронтовые очерки и рассказы. Она встала в один ряд с выдающимися публицистами страны. Многое из того, что печатала Елена Кононенко в «Правде», через несколько дней выходило книжечками и листовками, рассылалось по фронтам. Книжечки с очерками, рассказами и статьями Кононенко заменяли политбеседу и пламенную напутственную речь политрука перед боем. Их было много, этих кононенковских книжечек. А сколько и какие — Лена, конечно, не помнит: «не собирала». Сохранилось всего несколько потрепанных, без обложек, без внутренних страниц. А такие, как «Девушки-героини», «Бессмертие» — рассказ о восьми молодых советских людях, повешенных фашистами в Волоколамске, не раз переиздавались.

Не могу лишить себя удовольствия познакомить читателя, с некоторыми фактами и письмами, которые и есть оценка журналистского подвига Елены Коно-

ненко, когда, по меткому определению поэта, перо приравнивается к штыку.

В начале 1942 года у Кононенко началась переписка с бойцами пятидесятого полка одной из дивизий, воевавшей на Волховском фронте. Солдаты полка вызвали журналистку на соревнование: вы напишите для нас рассказ, а гонорар за рассказ мы оплатим снайперским огнем.

Вслед за письмом в Москву приехал представитель полка и попросил Кононенко пожаловать на передовую для оформления договора на соревнование. Лена, конечно, поехала, побывала почти во всех подразделениях полка, заключила со снайперами «договор», обязуясь написать рассказ, который «вам непременно понравится».

Через месяц в редакцию «Правды» на имя Кононенко пришел рапорт:

«В качестве аванса под гонорар за Ваш рассказ мы уничтожили восемнадцать гитлеровцев. Ждем рассказ. . .»

Вскорости «Правда» опубликовала небольшой, всего на подвал, рассказ Елены Кононенко «Жена». Снайперы пятидесятого полка тоже выполнили свое обязательство — уничтожили пятьдесят пять гитлеровцев. Поток солдатских писем хлынул со всех фронтов. Приведу выдержки только из двух. Одно написано в конце мая 1942 года из блокированного Ленинграда и принадлежит политруку И. Дрынову:

«. . .Если бы Вы только знали, как мы обсуждали Ваш рассказ «Жена». Сколько высказано горячих речей. Каждый говорил о своей Маше, о верном своем друге, и каждый, пожалуй, прав. Хорошие у нас жены, матери и дети. Каждый из нас готов вместе с Давыдовым тысячу раз расцеловать дорогую Машу.

Ждем следующего рассказа. Пишите. Пишите. Привет Вам, дорогой товарищ Лена! Имейте в виду — мы регулярно получаем «Правду». Товарищи мои часто спрашивают: «Что написала товарищ Лена?» Я им отвечаю: «Скоро будем читать. Она обдумывает, творит, дерзает».

Выдержки из другого письма (октябрь 1942 года, полевая почта 1962, часть 209), авторы — бойцы и командиры-пограничники Маслов, Савин, Кильдеев, Вовин:

«Мы не знаем, сколько Вам лет, молода ли Вы или стара. Но Ваши рассказы читают все — и малый, и старый. Они доходят до глубины души. Видно, Вы можете читать душу. Мы не могли спокойно читать рассказ «Сын». Вот мы и решили Вам написать. А пишем потому, что в рассказе «Сын» люди показаны правдиво, настоящие, советские люди... Вы пишите о чем хотите, и все, что будет написано, так, как и рассказы «Жена», «Сын», мы обязательно обсудим, поделимся с Вами своими впечатлениями».

Минуло более четверти века после победного окончания войны. Как далекое эхо, до наших дней доносятся отзвуки боевых дел. Елена Кононенко не только получала письма с фронтов, но и писала ответные письма, идущие от всего ее вместительного на тепло и ласку сердца. Узнал я об этом разными путями.

В газете «Советский патриот» опубликован очерк «Кавалер Золотой Звезды» о начальнике штаба 12-го участка народных дружин г. Москвы Илье Леоновиче Григорьеве. Какое отношение к Елене Кононенко имеют Григорьев и его штаб? Оказывается — прямое. В очерке приводится письмо Кононенко:

«Товарищ Григорьев! Спасибо Вам за теплую оценку моего творчества, эта оценка вдвойне приятна, по-

тому что Вы — герой, кавалер ордена Славы, на Вашем счету 261 убитый фашист. Это здорово! Поздравляю Вас за Вашу храбрость. Такими воинами гордится наш народ. Вот когда мы разгромим врага и Вы вернетесь на родину, все девчата будут на Вас заглядываться, каждой дивчине захочется быть знакомой с кавалером ордена Славы. А может быть, где-нибудь Вас уже ждет невеста или жена — тогда передайте ей от меня привет в письме. . .»

Письмо Елены Кононенко Григорьев зачитал своим боевым друзьям и пообещал: «Бить гадов еще беспощаднее». Так это и было. 15 июня 1944 года снайперу Илье Григорьеву присвоено звание Героя Советского Союза. Григорьев истребил 328 гитлеровцев, в том числе 67 офицеров и 18 снайперов.

И еще эхо войны, дошедшее до нас почти тридцать лет спустя. В майском номере журнала «Работница» за 1972 год напечатана статья Елены Кононенко «Одно знамя, одна идея». Она начинается так:

«С волнением перечитываю солдатские письма с фронта, которые храню, как величайшую драгоценность, тридцать лет. . . И вот вынырнуло из моих архивов письмо от киргиза Керима Молдосанова (полевая почта 95928«Р»), датированное «2.07.43 г.». Не помню сейчас, о чем я писала на фронт незнакомому воину Кериму Молдосанову. Не знаю, жив ли Керим. Вот его строки: «. . .Ваше письмо зачитано перед строем в подразделении и помещено в стенгазете. Мы воодушевлены Вашим письмом на новые победы в горячей схватке с ненавистным врагом. Нам хорошо и радостно получать такие письма, в которых каждое слово родное и ободряющее. Гвардейское спасибо! По поручению гвардейцев я Вас заверяю, что в предстоящих решающих сражениях мы покажем боевое мастерство,

стойкость и храбрость. Высокое воинское звание «Гвардия» будет оправдано. Мы не посрамим великую Советскую землю! На этом кончаю. Удовлетворяю Вашу просьбу, пишу несколько слов по-киргизски. До свидания — кош. Здравствуйте — амансызбы. Хорошо — жаксы. Враг — душман. Пишите — жазыназ.

С гвардейским приветом гвардии старшина Молдосанов Керим».

Через четыре месяца в «Работнице» новая статья Елены Кононенко «Цветы братства». Цитирую:

«И вдруг письмо из города Фрунзе.

«Жив я, жив! Аманэсенсин! Мне трудно подобрать слова благодарности за ту радость, которую Вы доставили мне и моим товарищам своей статьей в «Работнице». Коротко о себе: с боями дошел до Кенигсберга, был комсоргом артиллерийского полка, демобилизовался в 1946 году. Все послевоенное время на комсомольской, затем на партийной работе. . .»

Керим рассказывает в письме о семье: жена — коммунистка, работает в Министерстве просвещения Киргизии. Сын Камиль заканчивает пятый курс физического факультета МГУ имени Ломоносова. Дочь Гульсун перешла на пятый курс биологического факультета Киргизского государственного университета. Дочь Зейней закончила второй курс исторического факультета того же университета. Все дети — комсомольцы. Все хорошо учатся.

Вот она, перекличка времен и поколений!

И наконец, письмо, дошедшее до меня тоже через журнал «Работница». Его автор С. Новиков начал войну солдатом, прошел путь до командира роты, закончил бои в Берлине. Когда писал письмо, продолжал службу в армии в звании полковника. Приведу

несколько выдержек из его довольно обстоятельного послания.

«...К великому сожалению, — пишет С. Новиков, — мне никогда не приходилось видеть Е. Кононенко (не знаю даже ее отчества)... В моей памяти на всю жизнь сохранятся замечательные статьи Е. Кононенко... Они брали за душу каждого и порождали жгучую ненависть к врагу, а это было очень важно. Я помню, как непосредственно на переднем крае, в землянках и блиндажах, при свете коптилок, мы, солдаты, с жадностью читали эти статьи, передавая их из рук в руки...

...Прошло два года войны. Наряду с горестями и печалями разлук стали появляться и ненужные взгляды: «Война все спишет». И вот газеты печатают статьи Е. Кононенко. Может быть, далеко не дословно, но в памяти сохранились такие слова одной из статей. «...Любовь нельзя ни убить, ни сжечь, ни взорвать. Мы вместе с ней идем в разведку, ползем по полю, прижимаясь к земле, чтобы сохранить, не расплескать, не раздавить ее по мелочам на трудных дорогах войны. Любовь разжигает жажду жизни, она побеждает смерть!» Мы читали эти строки с затаенным дыханием...

Я никогда не забуду замечательных статей Е. Кононенко. В моем представлении — она человек большой души, великолепный мастер слова...»

Нужно ли что-то добавлять к этому письму полковника? Стоит ли эту высокую оценку благородного труда журналиста разбавлять какими-то речениями?!

Перо Елены Кононенко не притупилось и после войны. Она как была, так и остается на боевом посту, только поле сражения иное. Один из очерков Кононенко, включенных в книгу «Это жизнь», назван исчерпы-

вающе выразительно: «Человекострой». В фокусе всего ее творчества находится человек, точнее, борьба за человека. Во многих рассказах и очерках Кононенко создает как бы обобщенный портрет мужественного, душевного и принципиального советского человека — творца нового общества.

Как правило, герои кононенковских очерков — люди красивые, морально чистые. Кононенко утверждает, пропагандирует лучшее, зовет подражать ему. Ее очерки не бесконфликтны, не подернуты розовым глянцем. В ее рассказах и очерках, в ее книгах идет непримиримая борьба старого с новым, отсталого с передовым. Она нетерпима ко всему плохому, что мешает нам жить, идти вперед. Ей чужда фельетонная пародийность, она реалистическим столкновением жизненных конфликтов изобличает негодное, борется за доброе, благородное.

Меня давно интересовало: откуда в ней такой силы человеколюбие? Я знал, что родилась она в Гатчине, под Ленинградом. Ее ближайшие живые родственники — сестры — люди высокой культуры, ученые. И все же? Собственный возвышенный настрой, неиссякаемый оптимизм, глубочайшая вера в справедливость того, что она делает?!

Как-то в один из утренних телефонных раундов, когда Лена, вернувшись из бассейна, куда она регулярно ходит «часок поплавать», бодрым, даже задорным голосом сообщила мне:

— За бодрость духа, за здоровье я благодарю своего прадеда со стороны моей матери Евдокии Федоровны. Он был кузнец из деревни Шубино Тверской губернии. Так что с Иваном Рябовым мы земляки! Прадед был человек железного здоровья. Он прожил сто три года. За неделю до смерти он сам себе сделал

гроб, ложился в него, примерял, чтобы ему не было тесно. У него было прозвище «дедка лепило». А «лепилой» звали его потому, что он умел мастерить из глины удивительные свистульки, свирели. Мать моя, любимица «дедки лепилы», родила пятерых, любила читать, писала длинные-предлинные письма. Так что вот, Ленечка, каких я корней.

— Значит, ты тоже хочешь прожить до ста трех лет?

— А почему бы и нет! — задорно ответила Лена.

— Всем сердцем желаю, но. . .

— Ты хочешь сказать, что курю по пачке «Севера» в день и пью по несколько чашек сумасшедше крепкого черного кофе?

— Именно! И мало бываешь на воздухе. . .

— Не терплю нравоучений. . . Спешу в редакцию. Там меня ждут письма. Пока! — И в трубке прозвучали сигналы отбоя.

Первоосновой многих выступлений Елены Кононенко служат письма, пришедшие в газету. Когда я захожу в комнату на четвертом этаже редакции «Правды», в которой работает Лена, часто вижу ее склоненной над стопками писем. Одни адресованы ей. Тут и объяснения в любви давнишнего читателя, и письма-отклики на недавно опубликованный очерк Кононенко, и письма-исповеди, обращенные к писательнице за советом, за душевной поддержкой. Другие — из сегодняшней почты в «Правду». Разные, обо всем. Те и другие она читает не торопясь, внимательно. В них Елена ищет близкую для себя тему. И если письмо затронуло какие-то струны в ее настрое, она пойдет по следам этого письма, не считаясь ни со временем, ни с расстоянием.

Унаследовав еще от «бедноговского» периода бережную работу с письмами читателей, Кононенко не оставляет без своего участия письма, попавшие к ней. Она пишет подробные письма своим корреспондентам. Многие письма посылает секретарям обкомов партии, министрам, в разные организации и ведомства, сопровождая их своими подробными посланиями. В этих случаях Кононенко как бы повторяет призыв о беспризорных, прозвучавший у нее более полувека назад: «Надо бить в набат, надо всех людей взбудоражить!»

Сколько раз очерки Елены Кононенко, основанные на письмах читателей «Правды», звучали как набат, будоражили всех людей. Не счесть примеров тому. Ограничусь одним.

Не сложилась судьба у многих женщин, показавших доблесть и геройство в годы войны. У одних мужья, у других женихи — убиты. Неизбывное горе, да и многое другое мешало им сразу выйти замуж. Они хорошо работают, их уважают за подвиги и труд, даже выбирают в президиумы торжественных собраний, отдают знаки почести. Но тысячи таких женщин, на склоне жизни оказавшись одинокими, живут в общих квартирах. Их обидно называют «подселенками». Все равно что на углу семейного, чужого стола. И Кононенко со свойственной ее перу силой ударила в набат: одиноким женщинам — героиням войны — отдельную квартиру! Очерк назывался «Наталья и другие». Он взбудоражил людей. В «Правду» и на имя Кононенко пришли многие сотни писем. Лена часами читала их, рассылала со своими комментариями в исполкомы местных Советов, в обкомы партии и облисполкомы.

И набатный бой услышали. В Москве, в Ленинграде и во многих городах приняты специальные решения о преимущественном предоставлении однокомнатных

квартир одиноким женщинам, участницам минувшей войны. Но еще далеко не до всех дошел набатный гул. Через несколько месяцев «Правда» печатает новый очерк Кононенко. Она была у Натальи на новоселье, рассказала, как это было волнующе и трогательно. Но не умилилась. Лед только тронулся. Еще многие и многие женщины ждут новоселья. Пусть его справят все и скорее — к этому звал очерк «Натальино новоселье». И опять ответная волна писем.

«Спасибо Вам за Ваше горячее участие в судьбах бывших фронтовичек, устройстве их жилья. Спасибо Вам, наша дорогая сестра! Спасибо за Вашу большую душу, за справедливую оценку фронтовичек. Если бы я могла уступить Вам частицу своего здоровья, я уступила бы, не раздумывая. Лия Болховитина. Москва».

«Приглашаю Вас в гости. Если будете в Баку, заходите. Приму как родную сестру и вместе с Вами разделю радость получения квартиры. Желаю Вам здоровья и счастья. Архинцева. Баку».

«Спасибо Вам за то, что Вы есть, за то, что Вы щедро делитесь своей душой с народом. Простите меня, но не сказать Вам этого я не мог. Иван Кабанов. Мытищи».

Многие сотни, а может, и тысячи подобных писем, адресованных Елене Кононенко, хранятся в архиве редакции «Правды», в ее домашнем, неустроенном литературном хозяйстве. Все они — глубокое признание в любви к журналисту и писателю, к настоящему коммунисту, к Человеку с большой буквы.

Пусть и эти мои строки будут тоже давнишним моим признанием в любви к старому и верному наставнику, товарищу, другу.

Январь 1973 г.

ПИСАЛ ТОЛЬКО ОБ УВИДЕННОМ...

В тридцатые годы века нынешнего многие писатели и журналисты были в какой-то мере связаны с подвигами, овеянными героической славой. Одни плавали в Арктике на ледоколе, потом стиснутом и раздавленном льдами. Другие принимали участие в экспедициях по спасению людей, потерпевших аварию во льдах, по снятию их со льдины. Третьи участвовали в специальных перелетах по европейским столицам. Четвертые включались в экипажи автомобильных пробегов по пескам Каракумов. Пятые то встречали участников всех этих экспедиций, то сопровождали их в торжественных поездках по стране. Наравне с именами героев сенсационно-героических событий читатели газет и журналов запоминали и имена писателей и журналистов, в какой-то мере причастных к этим событиям, — они писали об этих событиях, славили мужество советских людей. Позднее на прилавках книжных магазинов появлялись хорошо оформленные, богато иллюстрированные книги, в которых были собраны корреспонденции, зарисовки и очерки писателей и журналистов, публиковавшиеся ранее в периодике. Такие книги немедленно раскупались, они быстро становились библиографической редкостью.

Я мог бы назвать не один десяток столичных писателей и журналистов той поры, настолько популярных, что даже простое личное знакомство с ними у нас, провинциальных газетчиков, рождало чувство собственной исключительности.

Петр Белявский — очеркист «Известий» — в те годы не участвовал ни в каких экспедициях и перелетах, никого не спасал и не сопровождал в торжественных турне — словом, не был причастен ни к одному сенсационно-героическому событию. И тем не менее его имя было уважаемо постоянными читателями «Известий». Петр Белявский печатал в «Известиях» неторопливые по манере изложения событий, но интересные деталями и человеческими характерами очерки о современной ему деревне, о борьбе нового со старым, формировавшимся веками, о людях, которые настраивают всю жизнь села на новый лад.

В пятидесятые и шестидесятые годы среди литераторов-«деревенщиков» на передний край вышли публицисты-проблемисты. Что ни очерк, то проблема, решением которой впору заниматься всем инстанциям — от колхозного бригадира до Совета Министров союзного правительства. В тридцатые годы — годы становления и укрепления колхозной жизни, первых успехов в борьбе за высокие урожаи, безбедную жизнь крестьянина, — пожалуй, самым главным для очеркиста был рассказ о новом. Мастерство литератора проявлялось в умении увидеть это новое и повествовать о нем так, чтобы оно было показано наглядно, захватывало воображение читателя, вызывало желание ему подражать. Петру Белявскому все это удавалось — он умел и видеть, и убедительно и образно писать о виденном. Еще с той далекой поры запомнились его очерки «День», «Вчера, сегодня, завтра», «Семья дедушки

Головина», «Сельские интересы», «Ступеньки роста» и многие другие. В очерках «Надежда Персиянцева», «Анна Фролова», «Паша Ангелина» Белявский славил замечательных тружениц-колхозниц, справедливо названных «великой силой».

Гимн новому, пустившему ростки на бескрайних просторах страны и дающему уже обильные плоды в материальной, социальной и моральной сферах, — таков пафос написанного Белявским. Писать о происходящем вокруг не строго и сухо-протокольно, как это свойственно репортеру-хроникеру, — хотя и такие репортажи нужны газете как воздух, — а осмысливать происходящее, искать в конкретном явлении свои закономерности, даже неизбежность, всматриваться в те направления в жизни, когда случай перерастает в событие, становится общенародным, — всем этим примечательна творческая манера Петра Белявского. Документальные очерки Петра Белявского воспринимались читателями, как художественные произведения, как настоящая литература.

Жизнь довоенной колхозной деревни во всей ее многогранности, с радостями и печалями, можно было познать, читая очерки Петра Белявского. Произведения Белявского, к сожалению публиковавшиеся нечасто, как правило газетными «подвалами», я, например, читал с удовольствием и как журналист в какой-то степени учился у него. И был счастлив, что моя заочная приязнь позднее переросла в долголетнюю дружбу с ним.

Познакомились мы с Петром Ивановичем в 1939 году, вскоре после того, как я стал корреспондентом «Известий» по Горьковской области. На совещании корреспондентов, которое состоялось летом того же

года, участвовали и выступали именитые известинские очеркисты — Евгений Кригер, Татьяна Тэсс, Илья Бачелис, Константин Тараданкин. Петр Иванович не выступал. Он сидел в уголке одного из диванов и молча наблюдал за происходящим. В перерыве кто-то спросил его:

— Петр Иванович, почему вы не скажете своего слова? Интересно бы вас послушать...

— Не речист я, — застенчиво ответил Белявский. — Да и выступать не люблю...

Мне даже подумалось: «Играет в молчуна». Но вскоре всякие сомнения об игре отпали. Петр Иванович печатался в газете редко. Но метко. Старый известинец Владимир Барыкин, с которым я как-то затеял разговор о Белявском, сказал:

— О, Петр Иванович у нас непробиваемый! Я его знаю еще по «Рабочей Москве». В первой половине тридцатых годов он был там очеркистом. Он и Иван Рябов. Теперь Рябов в «Правде», а Белявский у нас, в «Известиях», — друзья! Тогда Московская область была огромная, в нее входили несколько нынешних областей, окружающих Московскую. Посылаем мы их в командировки в разные районы, одного на юг, другого на север. А едут они непременно вместе. Вначале побывают в районах Рябова, а потом перекочевывают в районы Белявского. Иван Рябов объяснял это так: «Ездить с Петром Ивановичем — одно удовольствие. Спокойно, уютно и надежно. Он легко входит в житейский ритм деревни. Беседуя со стариком или молодайкой, с веселым, напористым парнем или с любителем поволынить, отмахнуться от работы, с лодырем, Петр Иванович затронет у собеседника такую душевную струну, что тот раскроется перед ним,

как лепесток цветка навстречу солнечному лучу. Белявский быстро становится своим человеком в любой крестьянской семье. И на короткую побывку любит устраиваться основательно. Как на долгий постой. Поэтому-то все увидит, все разузнает, доберется до корня, а потом и выдаст на-гора настоящую картину деревенской жизни».

Говорил Иван Афанасьевич чистую правду, — продолжал Владимир Федорович Барыкин. — Так работает Петр Иванович и в «Известиях». Командировку куда-нибудь «во глубину России» просит обязательно на месяц, не меньше, Объясняет: «Присмотреться надо, с людьми поговорить». Даем ему месячное направление и просим: приедете на место, сразу же сообщите свой адрес. Вдруг будут новые задания. «Непременно», — ответит Петр Иванович. А мы свое: «Первый очерк ждем дней через десять». — «А как же, — скажет Петр Иванович. — Непременно». Пройдет полмесяца, дней двадцать, от Белявского ни слова, даже не знаем, где он «приземлился». Шлем телеграмму в обком партии, в райком. Ответ, как правило, такой: «Заходил. Уехал в колхоз. В какой — не сообщил». Проходит еще полмесяца. Сияющий всегда чисто выбритый, благодушный Петр Иванович приходит в редакцию. Мы к нему сурово:

— Где вы были-то?

— В районах, в колхозах, — скажет он, присаживаясь.

— На телеграмму, что мы послали в райком на ваше имя, вы не изволили даже ответить...

— Я никакой телеграммы не получал.

— Очерк принесли?

— Я еще не начинал писать...

Проходит дней пять. Петра Ивановича приглашает редактор газеты Селих.

— Петр Иванович!.. — в голосе Селиха металл. — Месяц с лишним вы были в командировке. Уже неделя прошла, как вернулись в Москву. А очерка вашего в редакции еще нет.

— Яков Григорьевич! Я пишу. Напишу и принесу. Вы знаете, пишу я медленно. — Скажет все это так застенчиво, что сразу обезоруживает Селиха.

Пройдет еще несколько дней, пока Петр Иванович принесет в редакцию свой первый очерк о поездке. Конечно, написанный хорошо — в нем кусок жизни, показанный взволнованно, заинтересованно во всем происходящем. Очерк сразу же идет в набор и ставится в текущий номер. Дня через три-четыре — новый очерк. А на редакционной летучке критик, обозревающий газету за неделю, и выступающие в прениях добрым словом отзовутся о напечатанных очерках Петра Белявского. Редактор, заключая летучку, заметит: «На этой неделе украшением страниц нашей газеты были два выступления всеми нами уважаемого Петра Ивановича Белявского, настоящего мастера слова, глубоко знающего жизнь деревни и все сложные социальные процессы».

Забегая вперед, замечу, что после войны, когда Петр Иванович вернулся к деревенскому очерку, все происходило примерно так же, как было рассказано о нем в 1939 году Владимиром Барыкиным. Менялись главные редакторы газеты и редакторы сельскохозяйственного отдела, у них были разные характеры и манера разговаривать с сотрудниками. Не менялся только Петр Белявский. Постепенно у каждого нового редактора укреплялось уважение к нелегкому, но очень нужному для газеты труду очеркиста.

А на войне я встретился с ним в конце июля 1941 года, в первый день приезда на Западный фронт в качестве военного корреспондента «Известий». После экипировки известинская бригада, в составе Евгения Кригера, Павла Трошкина и Петра Белявского, повезла меня «на обстрел» в район восточнее Ярцева, где в те дни шли оборонительные бои.

День мы провели у пехотинцев и артиллеристов, а ночью оказались в лесу, у танкистов. На опушках укрылись танки, а в глубине леса — походные палатки. Утомленные дневными впечатлениями, мы улеглись под деревом и сразу же заснули.

Августовские вечера на Смоленщине — густые. Скоро стало темно и тихо, как может быть тихо в пяти-шести километрах от переднего края. Далекий, как эхо, пулеметный перебор, басовитый голос пушек, уханье рвущихся снарядов и глухие одиночные винтовочные выстрелы. Все эти звуки, идущие издали, настораживают: рядом с ними ходит смерть.

Убаюкивающая нервы тишина в прифронтовом лесу взорвалась сразу. Все вокруг завизжало, загрохотало, задрожала земля. Мой организм, не испытывавший в жизни ничего подобного, среагировал бурно, и поначалу я оказался безвластным над ним. Меня трясло как в лихорадке. Я понимал, что это нехорошо, что товарищи, лежащие рядом со мной, могут подумать, что я трус, что паникую, и куда, мол, такому хлюпику рядиться в тогу военного корреспондента. Самоугрызение не помогало. Павел Трошкин даже накрыл меня собой, накрепко прижал к земле. Бесполезно — меня по-прежнему трясло. До моего сознания дошел спокойный голос Петра Ивановича: «Не приставайте к нему. У него в первый фронтовой день такое происходит. С другими через месяц случается

или чуть позже. Каждый по-своему проходит этот невероятный солдатский путь. А потом и он будет, как все, обстрелянным, спокойным, внешне равнодушным к огневой какофонии».

Ребята лежали рядом со мной. «Юнкерсы» повесили над лесом фонари на парашютах и ходили вокруг каруселью, изрыгая бомбы. Бомбежка продолжалась минут сорок. Но еще до ее окончания я как бы пришел в себя, сел, обхватив колени руками, боясь поднять голову, посмотреть на товарищей. Белявский хлопнул меня по спине:

— Ну, вот и все. Теперь и ты можешь поднимать солдат в атаку.

Я впервые рассказываю об этой ночи (за все минувшие годы никто из фронтовых друзей не напомнил мне о ней), и только потому, что в ту ночь я проникся еще бо́льшим уважением к Петру Белявскому, уже как к человеку, как к бойцу. Не один я, а все обитатели палаточного городка фронтовой газеты «Красноармейская правда», взявшей нас, корреспондентов центральной прессы, на постой и пищевое довольствие, подчеркивали свое уважительное отношение к Петру Ивановичу. И не потому, что по возрасту он был старше многих — его ровесниками были поэт Алексей Сурков и корреспондент ТАСС Филарет Жадаев. Они, как и Белявский, прошли через первую мировую и гражданскую войны, Сурков — пулеметчиком, Жадаев — матросом. Были среди нас по воинскому званию и выше Петра Белявского. Он носил только одну шпалу — старший политрук, а у некоторых было уже по три шпалы — старший батальонный комиссар. И тем не менее военная форма на Белявском, в отличие от всех, особенно от нас, впервые в жизни надевших ее, была как бы слита с ним,

все пригнано точно по его невысокой плотной фигуре, даже еле заметное припадание на одну ногу почему-то показалось мне неким офицерским щегольством. Позднее мы не раз в часы бомбежек, артиллерийского и минометного обстрела наблюдали, как он, «не кланяясь пулям», двигался по ходам сообщений и окопам. Он всегда был спокоен, ровен, как будто все происходящее вокруг не относится к нему, на все, что тут творится, ему по меньшей мере наплевать.

В конце 1941 года мы с Петром Ивановичем оказались на разных фронтах. Я с удовольствием читал редко печатавшиеся в «Известиях», как и деревенские, его очерки о людях войны, но знал, что каждое слово здесь выверено, рождено в боевой обстановке. На Западном фронте я был свидетелем того, что Белявский писал только об увиденном. Он никогда не обращался к политдонесениям, к разным военным сводкам. Он жил с героями своих очерков там, где им полагалось жить и воевать в боевой обстановке. Летом и осенью 1941 года Белявский неделями жил в одной из дивизий, даже в одном полку 24-й армии, нацеленной на Ельню. Поэтому-то его очерки и были наполнены горячим дыханием боя.

В годы войны мы встречались редко, только тогда, когда удавалось одновременно попасть на несколько дней в Москву. Зато после войны большую часть суток проводили вместе, конечно кроме тех недель, когда находились в командировках. И запомнился он мне, пожалуй, самым молчаливым из всех моих многочисленных друзей и знакомых. Он любил слушать других и редко что-то рассказывал сам, тем более о себе. Никогда он не судачил о других. Если кто-то в его присутствии скажет недоброе об общем знакомом, Петр Иванович обязательно сердито заметит: «Чего ты нам

говоришь? Ты ему скажи. А поносить человека за глаза — противно!» А то оборвет на полуслове: «Не сплетничай, не принижай этим другого и себя».

Да, прямо скажем, Петр Иванович не был Цицероном. Видимо, поэтому он почти никогда не выступал на собраниях. А когда его назначали критиком на редакционной летучке, что входило в наши служебно-творческие обязанности, он считал себя самым несчастным человеком на земле. Но к выступлению готовился всегда тщательно. Страницы недельного комплекта газеты, прочитанные им, бывали испещрены подчеркиваниями, знаками вопроса и восклицания, бегло написанными на полях комментариями.

Для выступления на летучке обычно отводилось 15—20 минут, максимум полчаса. Петру Ивановичу не хватало и часа. Особенно трудно он начинал речь, никак не мог, что называется, взять быка за рога, добраться до сути дела. Первые десятки фраз, с томительными паузами между ними, состояли примерно из таких словесных сочетаний:

— Ну, так вот... Значит, за минувшую неделю... Гм-гм. Гм-гм. Вот так... Кх! Ну, как бы это вам сказать? Вот, видите, значит... Да. Да... Значит, прежде всего о вчерашней передовой... Вот так...

И вдруг точно появлялось второе дыхание. Речь критика входила в спокойное русло, вода в котором время от времени вскипала и пенилась. Петр Иванович был беспощаден и прям в своих суждениях:

— Нет мысли. Казенный, канцелярско-бюрократический стиль. Автор не умеет пользоваться прямой речью, вообще плохо знает русский язык. Мелко, дешево. Тут нет ни юмора, ни сатиры, один суховей пустыни. Нельзя так писать, даже в районной газете, а мы печатаем это в «Известиях».

И по каждому такому выводу — примеры, один, два, три, доказательное пояснение сокрушительного заключения. Кое-кто, смешком встретивший начало речи Белявского, теперь помалкивал, а кое-кто, пристыженный докладчиком, сидел опустив глаза долу. Минуло уже минут сорок. Ведущий летучку спрашивал:

— Петр Иванович, у вас еще много?

— Я как раз на половине, — отвечал Белявский.

Участники летучки просили не прерывать докладчика. Петр Иванович, в очередной раз смахнув пот с лица, в начале второго часа речи подходил к завершению критического обзора и заканчивал непременно так:

— Ну, так, вот так... Кх-кх...

В первой половине пятидесятых годов в коллективе известинцев состоялся творческий вечер, посвященный Петру Ивановичу Белявскому. Не помню, было ли это связано с какой-то датой в жизни Белявского, да и не в этом суть-то. Меня попросили сделать вступительное слово. Мне льстило такое поручение, и я серьезно готовился к выступлению. Я хорошо знал довоенные, военные и послевоенные очерки Петра Ивановича, печатавшиеся в периодике. В моей библиотеке были книги, написанные им. За многие годы дружбы мы вместе съели не один килограмм соли и выпили не одну кварту крепких напитков. И все же я многого еще не знал. Спрашивать Петра Ивановича мне не хотелось. Да и бесполезно, он отмахнулся бы от вопросов, да еще выругал бы меня за приставание. Пришлось обратиться к документам.

Петр Иванович Белявский — сын приходского священника из села Васильевское, Гжатского уезда, Смо-

ленской губернии. В 1915 году шестнадцатилетним пареньком идет на фронт рядовым волонтером, участвует во многих боях. После революции возвратился домой в звании прапорщика.

Анкетные сведения лаконичны. В 1917 году, вернувшись с фронта на родину, сын священника прапорщик Белявский без колебаний определяет свое место в развернувшихся классовых боях. Уже в сентябре 1918 года он становится большевиком, членом Коммунистической партии. По должности молодой коммунист — учитель, а по всему складу жизни — боец. Он всегда в боевой готовности, ни на один день не расстается с оружием.

Не прошло и двух лет «мирной жизни» для Белявского, как он снова в армии, теперь уже в Красной. Вначале командует коммунистическим батальоном, а потом и 373-м полком 42-й стрелковой дивизии. Когда Белявский командовал полком, ему было всего двадцать три года. Он водил свой полк против Мамонтова и Шкуро. Неизвестно, как сложилась бы судьба Петра Ивановича, если бы не тяжелое ранение — огнестрельный перелом бедра. Вот почему Белявский немного припадал на одну ногу.

В январе 1921 года он вернулся в родные края. Еще сильно давала о себе знать рана, а Петр Белявский уже секретарь волостной партячейки. За этим лаконичным упоминанием в документе — каждодневный, напряженный, горячий, связанный с опасностями труд. Коммунистов в волости всего несколько человек. Нужно не только выполнять государственные задания, но и быть готовым к схватке с врагами революции — кулаками и дезертирами, надо налаживать мирную жизнь. Секретаря волостной партячейки, как бывшего учителя, вызывают на работу в уезд и назначают заве-

дующим уездным отделом народного образования — пост, призванный сплотить местную интеллигенцию и повести наступление на безграмотность и бескультурье — страшное наследие царизма.

Опять анкетные данные: в 1922 году Петр Иванович Белявский редактирует юхновскую уездную газету «Путь коммуниста», через год — вяземскую уездную газету «Товарищ». Вскоре Белявский в губернском центре, он ответственный секретарь газеты «Смоленская деревня». Петр Иванович Белявский не только старый коммунист, но и старейшина цеха советских журналистов! — воскликнул я. И не журналист-администратор, а пишущий, творящий. Первая его публикация в газете помечена датой: 8 ноября 1918 года — заметка о праздновании первой годовщины Октября в деревне.

В ту юхно-вяземскую и смоленскую пору Петр Белявский уже был художником слова. Доказательство тому — документ, выданный Белявскому 27 сентября 1924 года:

«Смоленская артель художественного слова «Арена» настоящим удостоверяет, что тов. Белявский Петр Иванович состоял членом артели с ноября 1923 года по сентябрь 1924 года, неоднократно публично выступал со своими произведениями и вел организационную работу, исполнял обязанности товарища председателя правления артели.

Председатель Смоленской артели художественного слова «Арена»

М. Исаковский»

Узнав об этом документе, я спросил Петра Ивановича, что это за артель, он ответил:

— Баловство одно! Писал стихи, прозаические этюды.

Уже тогда, в 1924 году, Белявский приходит к выводу: нужно учиться! И осенью 1924 года он становится студентом Коммунистического института журналистики (КИЖа) и тут же зачисляется судебным репортером газеты «Правда».

За успехами студента-кижевца наблюдает Мария Ильинична Ульянова — секретарь «Правды». Она высоко оценила литературные способности Белявского и в 1927 году, сразу же после окончания КИЖа, зачисляет его в штат «Правды» фельетонистом.

Комплекты газеты «Правда» за несколько лет, пятилетний комплект «Рабочей Москвы», где Белявский работал до перехода в «Известия» в 1935 году, и, наконец, комплекты «Известий» — на страницах этих газет опубликованы основные произведения Белявского, они свидетельствуют о постоянном вторжении журналиста в жизнь, о его горячем сердце, растущем и крепнущем литературном мастерстве. Но это была лишь часть написанного Белявским. Его произведения печатались в журналах «Крокодил», «Даешь!», «Прожектор», «Огонек», «Смена», «Молодая гвардия», «Советский воин», «Наш современник», «Новый мир». В разных издательствах вышло несколько очерковых книг, принадлежащих перу Петра Ивановича. Поэтому вполне закономерно решение Секретариата Союза писателей СССР, принятое в марте 1948 года, которым мастер художественного документального очерка Петр Иванович Белявский был принят в члены Союза советских писателей.

Мое сообщение на творческом вечере Петра Ивановича для многих известинцев, не только молодых, но и старых по стажу работы в редакции, оказалось

в какой-то мере откровением. О Белявском знали мало — скромность была основой его бытия.

Позднее в устных, да и в печатных выступлениях мне не раз приходилось упоминать о творчестве Петра Белявского. Художественный документальный очерк давно признан полноправным жанром советской литературы. И все же время от времени возникали и возникают дискуссии о природе и особенностях очеркового жанра. Они, эти дискуссии, подобно фейерверку, вспыхивают ярко, порой даже ослепительно, и быстро-быстро гаснут, потому что зачастую бывают основаны или на недоразумении, или на кажущейся оригинальности взглядов или позиций.

Например, один из скоропортящихся теоретиков в статье «Рассказ или очерк» на страницах «Литературной газеты» бил земные поклоны некоей «новой литературе», пришедшей якобы «взамен старой документальной». Автор статьи начисто отрицал документальный очерк как жанр художественной литературы и звал к рассказу, к новелле, к тому, чтобы достоинство литературного произведения определять прежде всего мерой фантазии автора, его «обобщениями». Узость такой «позиции» доказывалась хотя бы тем, что история советской литературы знает десятки хороших книг, написанных очеркистами, стремящимися к документальной точности. Пример тому — все творчество журналиста и писателя-очеркиста Петра Белявского. Все написанное им — художественная летопись жизни колхозной деревни. Каждая строчка, каждая фамилия, каждый факт строго документальны — они и есть наша социалистическая действительность. Не случайно в некоторых исследованиях о колхозной деревне можно встретить ссылки на очерки Петра Белявского. И не поэтому ли в числе дипломных работ на факуль-

тетах журналистики и филологических факультетах многих университетов, посвященных очерку и публицистике, говорится и о творчестве Петра Белявского.

Бытуют еще и такие суждения: газета живет один день. Значит, и произведение, написанное для газеты, умирает вместе с газетным листом. Какое снобистское заблуждение! Не только в библиотеках, но и на домашних книжных полках ныне стоят книги, в которых собраны произведения, впервые опубликованные в газете. У нас изменилась сама природа газетного жанра благодаря высокой идейной и художественной требовательности к нему.

Иногда говорят так: одно дело газетный очерк, другое дело — журнальный, отдавая предпочтение, как явлению литературному, журнальному очерку. Но и эта карта бита жизнью. Газеты публиковали и публикуют короткие по размеру и многолистные, с продолжением в нескольких номерах, произведения, в том числе и документальные очерки. Журналы тоже не сковывают себя размерами. Они иногда публикуют немногословные, но выразительные по фактуре и яркие по форме небольшие очерки. Покоряет время хороший, идейно-боевой, художественно полноценный очерк, независимо от того, где он был впервые опубликован. Очерк, написанный мастерски, по горячим следам событий и напечатанный в газете или в журнале, живет как художественное произведение многие десятилетия.

Доказательство тому хотя бы две последние книги Петра Белявского. «Простые люди» — издательство «Известия», 1950 год. В названии книги с предельной отчетливостью выражено ее содержание и творческий пафос писателя-очеркиста, певца трудовых и ратных

подвигов простых советских людей. В том же издательстве в 1960 году вышел большой однотомник избранных очерков Петра Белявского «Вчера. Сегодня. Завтра». В разделах этой книги: «Очерки сельской жизни», «Женщины русских селений», «Ратный подвиг народа», «Возрождение», «На подъеме», «Колхозные университеты», «Обретенная родина» — собраны лучшие очерки — плод журналистского и писательского труда одного из мастеров очерково-документального жанра, человека простого и скромного, оставившего свой след в журналистике и литературе.

Умер Петр Иванович Белявский 6 августа 1968 года после долгой и тяжелой болезни.

1972

ВСЕГДА В ПУТИ

«Сегодня под лейтмотив Фучика «Люди, будьте бдительны!» всю ночь читал И. Ирошникову. Наплакался, нагордился мужеством людей, матерей, порадовался успеху писательницы... — писал из больницы в редакцию журнала «Москва» смертельно больной его главный редактор Евгений Поповкин. — Вещь надо сделать атакующим партийным документом нашего времени, документом высокоинтернационального значения, направленным против войны, поднимающегося фашизма и завоевателей всех мастей... Спасибо Ирине Ирошниковой...»

Повесть «Здравствуйте, пани Катерина!», о которой писал Евгений Поповкин, была опубликована в двенадцатой книжке журнала «Москва» за 1967 год. Вскорости она вышла отдельной книгой и немедленно разошлась. А в дни шестидесятилетия Ирины Ирошниковой повесть «Здравствуйте, пани Катерина!» открывала однотомник «Повести и рассказы» избранных произведений писательницы, изданный в «Современнике».

В повести «Здравствуйте, пани Катерина!» рассказано об удивительном стечении обстоятельств, при которых у трехлетней Татьянки, чудом уцелевшей

в Освенциме, оказались две матери. Одна, родившая ее, была связана с советскими разведчиками и партизанами, потом перенесла муки фашистских лагерей, в том числе и Освенцим. Другая — простая женщина, гражданка народной Польши. Сразу же после освобождения Освенцима она вместе с мужем отправилась туда искать своих близких. В одном из бараков они нашли уцелевших ребятишек-сироток. Среди них была крохотулька, почти ослепшая девочка. Ее-то и взяла себе Кристина Станкевич. Она назвала девочку Зосей, поставила ее на ноги, воспитала, дала образование и стала для нее тоже настоящей матерью.

Повесть «Здравствуйте, пани Катерина!» — гимн материнской любви. С глубоким проникновением в материнские чувства писательница раскрывает думы, страсти, мысли обеих матерей Татьянки-Зоси. Писательница исследует два женских материнских характера и характер уже взрослой Татьянки-Зоси, оказавшейся при двух матерях. Повесть написана с присущими Ирошниковой лиризмом, суровой лаконичностью. Ирошникова не могла не написать эту своеобразную исповедь, писательский монолог в осуждение бесчеловечности, своеобразный призыв к гуманизму:

«Трагедия человечества дробится на множество отдельных человеческих трагедий. . .» Не помню, кто сказал это.

Я должна была рассказать об одной из таких трагедий, — пишет Ирошникова. — Об истории, в которой нет ни виновных, ни правых. Для которых нет и не может быть ни разрешения, ни конца. . . Потому что история эта — порождение войны, фашизма. Отодвинувшиеся на десятилетия вперед его последствия».

В рассказе о трагической истории все время звучат мелодии, прославляющие красоту и нежность человеческой души, стойкость и храбрость простых людей, величие патриотизма и интернационализма.

Драматургическое напряжение в повести привлекло внимание театров. Ирина Ирошникова не инсценировала повесть, а по ее мотивам написала пьесу в двух действиях «Как живешь, Зося?». Ее поставили многие театры.

Я видел спектакль в Московском драматическом театре имени Гоголя. Он прозвучал, как эхо войны. На сцене не раздаются выстрелы, нет ни одного персонажа в военной форме, да и о самой войне почти не говорят. И все же зритель возвращается мыслями к минувшим годам и снова с проклятием думает о том, что натворили на земле фашисты!

В повести «Здравствуйте, пани Катерина!» и в пьесе «Как живешь, Зося?» звучит страстный призыв писательницы-коммунистки к дружбе народов, к их совместной борьбе против войны, против сил, способных развязать эту войну.

Весь жизненный и творческий путь Ирины Ивановны Ирошниковой вел ее к повести «Здравствуйте, пани Катерина!». А началось все так:

«Ты все идеализируешь, Ирина. Это все твоя непроходимая романтика!» Слова эти сказаны в июле 1943 года парторгом Кемеровского азотно-тукового завода. Адресованы они комсоргу завода Ирине Ирошниковой. И приведены в первой книге Ирины Ирошниковой «Где-то в Сибири».

Да, Ирина Ирошникова была и остается романтиком. Свидетельство тому — ее книги, вся ее жизнь. Но все идеализирующий романтик прочно стоит на земле

и умело соединяет горячий порыв сердца с разумом, реально оценивает ситуацию.

Дочь учительницы из Ярославля, Ирина детство и юность провела в Одессе. И уже в школе писала стихи. Их печатали. А первую пьесу школьницы не только поставили во многих школах, но и напечатали в журнале. Сердце горячо билось: буду литератором. А разум прислушался к голосу одного известного писателя: ранняя писательская профессионализация опасна, вначале нужно познать жизнь. Ирина пошла в техникум, готовивший младший командный состав для молодой тогда химической промышленности. После техникума поехала на стройки. А потом уж — на химфак. И уже инженером-химиком в трудные для страны военные годы оказалась в Сибири, на заводе. Там вступила в партию. И там, по велению партии, стала комсоргом. У очень сложных агрегатов завода стояли семьсот молодых рабочих — курносых девчушек и сопливых мальчишек. Их заботами, делами и волнениями и была поглощена комсорг Ирина Ирошникова, влюбленная в юношескую непосредственность, полную задора и страсти.

И вот родилась книга «Где-то в Сибири». Она вышла четверть века назад. В ней с интимной доверительностью рассказано о горестных днях войны, выпавших на долю ребят, эвакуированных в Сибирь из разных районов страны. Все в этой книге документально, взято из жизни, все увидено и пережито автором, пропущено через призму художественного видения писательницы. В книге отчетлива тенденция — подчеркнуть положительное начало, показать его во всем объеме.

Книгу «Где-то в Сибири» единодушно одобрила критика. Полюбилась она и читателям. Ее не только

переиздавали у нас, но перевели на болгарский, немецкий, румынский языки, а инсценировка «Где-то в Сибири» обошла сцены многих ТЮЗов и детских театров. С этой книгой в советскую литературу и вошла Ирина Ирошникова.

Как-то так случилось, что почти все написанное Ириной Ивановной за четверть века я читал в рукописи, а что не читал в рукописи, получал уже в виде книги с дарственной надписью, старался об этой книге написать свое слово.

Быть художником — в какой-то степени документалистом — значит жить среди героев будущих своих произведений, проникнуть в тайны их и психологии и профессии. Ирина Ирошникова с достойным подражания увлечением «окуналась» в среду своих героев. Ее путевой лист испещрен названиями многих городов и предприятий. Будучи хорошим инженером, она легко осваивала «тайны» производства, заводскую жизнь будущих героев своих книг. Ее душевность, простота, не побоюсь сказать, обаятельность позволяли ей войти в доверие к собеседнику. А талантливость писательницы, умеющей в документальной прозе широко пользоваться всеми средствами художественного обобщения, и породила творческие успехи Ирины Ирошниковой, создавшей много интересных книг, прежде всего о рядовом советском человеке.

За четверть века Ирина Ивановна, кроме «Где-то в Сибири», написала книги: «Надежда Егоровна», «Начало пути», «Трудное лето», «Чудесная высота», «Сашенька», «Соседи», «Лисий хвост», «Они живут на соседней улице», «Это было в Одессе», «Мужество», «Здравствуйте, пани Катерина!» и другие.

Такие книги, как «Надежда Егоровна», «Начало пути», «Это было в Одессе», строго документальные,

в них точные адреса и фамилии героев. И все же Ирина Ирошникова сумела придать и многогранность образам героев, раскрыть перед читателями богатый внутренний мир персонажей. Многие книги Ирошниковой — рассказы и повести — основаны на наблюденном в жизни, но уже обобщенном, входящем за рамки обычной конкретности. Героическое начало в людях, рассказ о носителях этого начала — таков пафос всех произведений писательницы.

Любой талант, а тем более писательский, расцветает и приносит плоды только благодаря настоящему трудолюбию. Я многие годы наблюдаю, как работает Ирошникова. Ее жизнерадостность и жизнедеятельность покоряют. Всегда требовательная к себе, она в какое-то время почувствовала, что ко всему, что она знает и умеет, нужны еще какие-то специальные знания, которые обогащают литературный порыв и труд. И уже немолодой инженер, автор многих книг, Ирина Ивановна пошла учиться в Литературный институт на заочное отделение и отлично его закончила.

В начале шестидесятых годов Ирошникова пишет повесть «Трудное лето». Создание автоматической линии, облегчающей труд рабочих, позволяющей увеличить выпуск продукции, — такова производственная канва, вокруг которой разворачивается конфликт, воплотивший в себе морально-этические мотивы.

В повести «Трудное лето» сталкиваются две силы. Одна идет от формального: лишь бы создать автоматическую линию, быть, что называется, запевалами, а что из этого получается и получится ли — вопрос другой (формально правильно, а по существу — издевательство). Другая, признавая всю важность и актуальность автоматизации, стремится это осуществить не ради показухи, не ради временного успеха, а на про-

думанной основе, добротно, качественно, не ради дешевой рекламы, а ради внедрения и утверждения нового. Лжеизобретателю Семенову, технически малограмотной Горюновой, карьериствующему Кутепову противостоят начальник цеха Петров, вожак коммунистов цеха Буланик, умный, увлеченный техникой молодой наладчик Виктор, секретарь парткома Рыбаков и многие другие. Интересно выписан образ журналистки Ани, не поступившейся своей совестью ради чести мундира.

В повести нет назидательности. Писательница средствами художественного изображения показывает, что человек, нечистоплотный в служебных делах, аморален и в быту, и в личной жизни. В «Трудном лете» торжествует партийная принципиальность, побеждают люди, не отступающие ни на йоту от истины. В литературе о рабочем классе повесть Ирошниковой «Трудное лето» занимает достойное место, она выдержала испытание временем, переиздается.

И последнее крупное произведение Ирины Ирошниковой — повесть «Здравствуйте, пани Катерина!».

В творчестве Ирины Ирошниковой как бы три тематических потока: война, рабочий класс, дети-подростки. Трудно утверждать, где сильнее и поэтичнее звучит ее писательский голос. Он нравится мне во всех тематических направлениях. Ирина Ирошникова пишет эмоционально. Короткая фраза, создающая определенную ритмичность повествования. Какой-то жизненный факт или столкновение двух характеров и следом — энергичный авторский комментарий, полный то лирической мягкости, то трубного негодования. Присутствием личного «я» в повествовании писательница как бы призывает читателя к диалогу, к размышлению: «А вы, дорогой читатель, согласны со мной?

Такие же мысли тревожат и вас?» Ирошникова вовлекает читателя в мир своих дум, своего психологического анализа того, о чем она пишет. Ее проза — публицистична!

Творческий и жизненный путь Ирины Ивановны находится в замечательном плодотворном единстве, которое можно определить одним очень емким понятием: партийность. Ирошникова принадлежит к той плеяде советских писателей, которые понимают свой долг как непременное активное участие в общественной жизни. Где бы и когда бы я ни встретил Ирину Ивановну, она всегда куда-то спешит: то на собрание, то на заседание, то выполняет какое-то срочное поручение, то вот-вот уходит самолет, которым она летит на свидание с героями своих новых книг. Поэтому-то писательницу Ирину Ирошникову уважают собратья по перу: она обязательно или член бюро творческой секции, или член какой-то важной комиссии. Многие годы Ирошникова — член партийного комитета Московской писательской организации.

Общественная струнка — ведущая жизненная основа натуры Ирины Ирошниковой, она-то и помогает ее творчеству, определяет его идейную четкость. Внешне скромная, всегда доброжелательная, внимательная к любому, кто надеется на ее участие, Ирина Ивановна непримирима ко всяким идейным блужданиям. Она не останавливается и перед охлаждением давней дружбы, если «друг» вдруг начал идейно петлять.

Полная творческих сил, Ирина Ирошникова всегда в пути, в поиске.

Декабрь 1971 г.

„ВЕРБЛЮД" АЛЕКСАНДРА БЕЗЫМЕНСКОГО

Представителей моего поколения — комсомольцев двадцатых годов — поэзия Александра Безыменского возвращает в бурную, кипучую юность, полную страсти и борьбы. Еще в ноябре двадцать третьего года (подумать только — уже полвека назад!) одна из аудиторий Московского университета, на Волхонке, была заполнена такими же юнцами, как и я, вчерашний сельский парнишка. На эстраду не вышел, а влетел в распахнутом полушубке и больших стоптанных валенках здоровенный, с копной темных волос, человек и в притихший зал бросал звонкие строки «Комсомолии».

То был Александр Безыменский.

Имя Александра Безыменского было очень популярно в те годы. Стихи комсомольского поэта читались на молодежных вечерах, заучивались, а его «Молодая гвардия», ставшая своеобразным комсомольским гимном, пелась всеми.

Многое из написанного Безыменским более чем за полвека вошло в золотой фонд советской поэзии. Такие его стихи, как «Партбилет» или поэма «Трагедий-

ная ночь», стали хрестоматийными. А его меткое перо сатирика с беспощадной прицельностью и неутомимостью бьет уже многие десятилетия.

В жизненной и творческой биографии поэта есть период, прочно связавший его с делами рабочих людей, чей героический труд воплотил предначертания первой пятилетки, положившей начало индустриальному маршу Страны Советов.

На десятках крупнейших новостроек и предприятий, осваивавших новую продукцию, работали выездные редакции «Правды», «Известий», местных газет тех краев и областей, на территории которых воздвигались новые заводы. Во многих выездных редакциях «Правды» непременным участником был и поэт Александр Безыменский. Днепрострой и Сталинградский тракторный, Днепропетровск и Балахна, Путиловский и Московский электрозавод — таков далеко не полный маршрут поэта.

Летом 1932 года Безыменский приехал и на Нижегородский автомобильный завод. Автомобильный гигант, построенный за два с небольшим года, 1 января 1932 года вступил в строй. Я был свидетелем не только строительства завода, но и того, как 1 февраля 1932 года первые пятнадцать грузовиков, сошедшие с конвейера завода, вошли в Московский Кремль. Члены Президиума XVII Всесоюзной партконференции Петровский Г. И. и Буденный С. М. приняли машины как дар автозаводцев. Кто-то сказал: «СССР садится на свой автомобиль!»

К сожалению, вскоре наступили огорчительные дни, недели и месяцы. Завод, оснащенный первоклассным оборудованием, не имел достаточного количества квалифицированных рабочих. Десятки смежных предприятий не выполняли план поставок деталей. Нерит-

мично работали заготовительные цеха. И главный конвейер завода остановился.

Второго апреля 1932 года Центральный Комитет партии, а 4 апреля Нижегородский крайком выносят решения о положении дел на автозаводе. В числе многих мер, принятых в то время для налаживания выпуска автомобилей, была и выездная бригада «Нижегородской коммуны». Вместе с заводской многотиражкой «Автогигант» мы выпускали газеты-штурмовки по цехам завода, листовки-лозунги, стихотворные плакаты, устраивали рейды рабочих бригад, клеймили все отсталое, воспевали передовое, ударное, звали коллектив завода к ритмичной работе.

Пятнадцатого апреля с главного конвейера завода, после долгого перерыва, снова сошел грузовик. Но радоваться было рано. Программа первого полугодия была выполнена всего на 24,6 процента. В местных и центральных газетах ежедневно появляются малоутешительные сводки выпуска машин.

Вот в такое-то время, по поручению «Правды», на завод и приезжает Александр Безыменский. Не для торжественных выступлений на рабочих собраниях и участия в застольных тостах, а как чернорабочий газетного цеха. Он пошел по цехам со своим, уже ставшим знаменитым, «Верблюдом».

Медлительный философ степей верблюд и автомобиль — антиподы. По мысли поэта, верблюд хочет властвовать вечно, он радуется неудачам с выпуском автомобилей и других заводских изделий. Поэт клеймит тех, кто ублажает верблюда. Но верблюд не единственный персонаж стихотворных выступлений поэта в областной и заводской газетах, в цеховых многотиражках и стенновках, в листовках-«молниях» и бросских плакатах-лозунгах. Все разнообразие поэтических

форм подчинено улучшению и ускорению производства.

Через день после приезда поэта на завод появляется «Песня наступления» — горячий призыв: «Автозаводцы, преграды сметая, выполнят план до конца и на ять»; «Автомобиль созидается каждым, каждым творящим любую деталь»; «Каждым родившимся автомобилем пулю вонзаем мы в сердце врага». Рефреном к этим агитационно-лозунговым строкам звучали такие:

Каждый
        день
прибавлять по машине,
Чтоб
      выпускать их
        по двести
                в день.

Комсомольцы немедленно подобрали мотив, и «Песня наступления» зазвучала по всему заводу.

Когда была опубликована «Песня наступления», завод выпускал всего по тридцать автомобилей в день.

Что ни день, то новое стихотворение. То призывное, то едко сатирическое.

Немало здесь верблюжьих дел,
Но победит завод в итоге.

Или:

Верблюд облазит каждый цех.
Везде открыта мне дорога.
Тут беззаботность есть у всех
И безответственности много.

Десятки фамилий и имен нерадивых рабочих и руководителей ежедневно попадали в поле зрения «Верблюда».

«Верблюд» появляется то в моторном цехе, то в прессовом, то он ведет разговор о единоначалии и дисциплине, то говорит о подготовке к зиме или о качестве изделий, то встречается с клопом в рабочем общежитии, то философствует о героях.

И всегда лаконично, броско, конкретно! Стихи Безыменского читались в обеденный перерыв, в автобусах и рабочих поездах, дома в рабочей семье, заучивались школьниками. Меткие четырехстишия из «Верблюда» Безыменского цитировались на рабочих и партийных собраниях, они били не в бровь, а в глаз. «Верблюд» стал синонимом всего позорного на заводе. «Верблюдом» и «верблюжьими темпами» рабочие стали называть все плохое, мешающее ударной работе и быстрейшему освоению проектной мощности.

Многие стихи Александра Безыменского страстно звали на борьбу за советский автомобиль. Как клятву, данную партии и народу, много лет повторялись на заводе слова из стихотворения Александра Безыменского.

В любом цеху, в любом отделе
Работай так, чтоб волей масс
В любом клочке страны гудели
Автомобили с маркой НАЗ!

В 1934 году Нижний Новгород был переименован в город Горький, и последняя строчка звучала уже так:

Автомобили с маркой ГАЗ!

Запомнились рабочим завода «Песня НАЗ», «Оперативность, напор, действенность». А последние строки из стихотворения-поэмы «До свидания»:

Работой, трижды вдохновенной,
Крепи свой НАЗ — идя верней
Хозяином страны своей,
Чтоб стать хозяином вселенной, —

долго горели на плакатах в цехах, в столовых и в общежитиях.

В те дни я ежедневно видел Безыменского в цехах среди рабочих, в редакции «Автогиганта», в небольшой комнате гостиницы, где в короткий час, свободный от суматошных дел, он пел под гитару и старые романсы и комсомольские песни.

Пребывание на заводе Безыменского, а вместе с ним и «Верблюда» было недолгим. Но вклад его поэтического заряда в рабочий коллектив — значительным. В моем журналистском архиве сохранились и такие документы-свидетельства. Ударники сборочного цеха присвоили Александру Безыменскому имя ударника главного конвейера и зачислили на должность регулятора мотора; ударники инструментального отдела избрали поэта почетным членом лучшей бригады; трехтысячному автомобилю марки НАЗ было присвоено имя Безыменского.

Храню и берегу вышедшую в конце 1932 года в Горьком книгу стихов Александра Безыменского «Стихи у конвейера», в которой собрано лучшее из написанного им на автозаводе. В те годы она вышла тиражом в 15 тысяч экземпляров и разошлась немедленно. Предисловие к книге — мое. То ли потому, что оно написано с юношеской задорной витиеватостью и даже вычурностью, то ли по какой-то другой причине, на титульном листе подаренной мне книги Безыменский написал:

Растущий в действии богатом,
Крепи свой ум, крепи размах,
Будь, Кудреватых, кудреватым,
Но только, милый, не в статьях.

С любовью

Сашка.

19 $\frac{19}{I}$ 33 г.

С той поры минуло сорок лет. Александру Ильичу Безыменскому — старому большевику, комсомольскому поэту, который юным остался навсегда, исполнилось уже семьдесят пять. Много пройдено, много увидено, о многом спето. И как спето! И конечно, главное не забудется. Как не забудется и «Верблюд» Александра Безыменского, так памятно вторгавшийся в нашу боевую созидательную жизнь.

Январь 1973 г.

ВДОХНОВЕННАЯ ПЕСНЯ

Доброе слово о Павле Кузнецове я слышал еще в тридцатые годы. О нем как о талантливом поэте и неистовом газетчике рассказывал мне Ефим Флейс, мой коллега по «Вятской правде» в конце двадцатых годов, а потом редактор газет в Казахстане. Он, Ефим Флейс, однажды как бы доверительно сообщил мне: «Знаешь, какой Павел Кузнецов переводит на русский язык Джамбула? Наш, казахстанский».

Тот Джамбул, которого узнал многомиллионный читатель газет и журналов, издающихся на русском языке, в какой-то мере создан и поэтическим талантом переводчика-поэта Павла Кузнецова. Свой незаурядный поэтический дар Павел Кузнецов, если можно так сказать, «вложил в Джамбула». Великий акын Джамбул и Павел Кузнецов нераздельны для советской культуры и литературы.

Встретился с Павлом Кузнецовым я лишь в июле 1944 года на молдавской земле, куда он приехал в качестве военного корреспондента «Правды» на Второй Украинский фронт. Признаюсь, я не сразу привык к Павлу Николаевичу. Человек он прямой, порой резкий в суждениях, не легко сходился с людьми. За мно-

гие послевоенные годы знакомства с Павлом Николаевичем я убедился, что он во всем и ко всем был бескомпромиссен. Он не признавал лести, ни перед кем не сгибал спины, любого человека мог «отбрить» сильно жалящими, колючими репликами. Павла Кузнецова не назовешь «рубаха-парень», хотя он дружил со многими самой верной — солдатской дружбой. И вместе с тем — непримирим к тем, кто, по его мнению, был непорядочным, не выполнял свой долг. Он был по-своему аскетичен, непритязателен в пище и одежде.

После войны, когда П. Н. Кузнецов редактировал журнал «Советский Союз», а я работал в «Огоньке», нам приходилось не раз по одному и тому же поводу бывать у товарищей, руководивших печатью. Прямота и резкость в суждениях, свойственные журналисту Кузнецову на фронте, остались такими же и у редактора Кузнецова. Обычно бывает так: редактор журнала или газеты просит у руководителей то новых работников, то дополнительных сумм на авторский гонорар. А Павел Николаевич удивил и даже шокировал руководителей многих журналов, когда в директивных органах он заявил: «Чересчур жирен у нас гонорар. Шолохов не получает за первую публикацию таких денег, какие мы платим незадачливому репортеру за его легкий опус. А ведь деньги-то народные, государственные». По его мнению, труд фотокорреспондентов оплачивался щедрее труда литераторов.

С простым крестьянским лицом, с большими мужицкими руками, худощавый, с развернутыми плечами, Павел сохранился в моей памяти — весь в порывистом движении. Четверть века отдавший до забвения любимой им «Правде», он часто ездил по краям и весям и особенно любил путешествовать по средне-

азиатским республикам, в первую очередь по Казахстану. Вернувшись из очередной поездки, Павел приходил в комнату спецкоров «Правды», усаживался в глубокое кожаное кресло и начинал рассказывать смешное или грустное. Он весь жил событием, о котором шла речь. В патетических местах рассказа вскакивал, прохаживался по комнате своей немного нервной походкой и, успокоившись, опять тонул в кресле. Если он сидел на летучке за столом, который занимает центр конференц-зала, то обязательно писал стихи или эпиграммы, пародии или шуточные оды. Сколько понаписано им этих острых и язвительных экспромтов!

Павел Кузнецов был до предела застенчив. Многие, знавшие его долгие годы и работавшие вместе с ним, даже и не помышляли о том, что поэзия Джамбула, известная нам в русских изданиях, это и плод таланта П. Н. Кузнецова. Будучи давно членом Союза писателей, Павел Николаевич не только не расталкивал никого локтями и не пробивался на трибуну для самовосхваления, но вообще редко бывал на писательских кворумах, особенно торжественных. Он чурался и услуг Литературного фонда.

Даже мы, работавшие с Павлом Кузнецовым, что называется, в одной упряжке и бывавшие в его скромной квартире, так и не знали, какие книги написал наш Павел, какие он успел издать. А книг стихов, очерков, рассказов и повестей, изданных при жизни Павла Кузнецова, более десяти.

Павел болел давно, после упорной борьбы его организм начал сдавать. Поэтому-то Кузнецов и не успел написать самых главных своих книг. По крайней мере, их должно быть две — о замечательных людях: о Джамбуле, о легендарном генерале Панфилове. Павел был не только редактором газеты знаменитой панфи-

ловской дивизии, дравшейся под Москвой в 1941 году, но и личным другом генерала. Более четверти века он дружил с ветеранами прославленной дивизии, его московская квартира была своеобразным штабом ветеранов-панфиловцев.

Зная, как писал Павел Кузнецов — емко, словами-алмазами, драгоценными россыпями, заполнявшими его очерки, можно себе представить, что бы он написал о тех, с кем рядом шел по жизни: о Джамбуле и о Панфилове.

Но не написал. Не успел...

Как-то года за четыре до смерти Павел Кузнецов показывал своим друзьям рукопись документальной повести «Цветы на камне», повесть о питерских рабочих, создавших коммуну на алтайских землях. Рукопись открывалась галереей фотографий подлинных героев событий.

— Ухлопал на эту штуку лет десять. А вот где ее издать?

За несколько недель до смерти Павел говорил мне:

— Все творческие и издательско-бюрократические муки закончены. Сегодня подписал верстку повести и отправил ее в Алма-Ату. До конца года книга выйдет в свет.

Павел не увидел этой книги, и мы, его друзья, не получили ее с автографом создателя.

Павла мы похоронили в августе, а в декабре издательство «Жазушы», что в Алма-Ате, передало повесть «Цветы на камне» в книжные магазины. В этой повести — горячее дыхание эпохи, несгибаемая убежденность автора, его романтический темперамент:

«Кипели за Нарвской заставой бурные, неудержимые, поднятые свершившейся революцией человеческие страсти. Пенилась вековая ненависть к павшему

строю. Прошло два месяца после залпа «Авроры», после штурма Зимнего, а вся Россия от края до края была расшевелена, бушевала, как море в бурю. Начинал шевелиться весь мир голодных и рабов, мир, заклейменный вечным проклятьем, а ныне призванный к жизни, к власти, к труду, к заботам о будущем».

В это время среди рабочих-обуховцев возникла идея создания первого российского общества землеробов-коммунистов. В. И. Ленин одобрил инициативу обуховцев. В письме к народному комиссару земледелия Ленин написал: «Почин прекрасный, поддержите его всячески».

Перед читателем повести встают картины сбора и долгого пути рабочих коммунаров-обуховцев на алтайские земли. Это был нелегкий путь; от обуховцев требовалась высшая организованность, их волю хотели сломить эсеры и вооруженные банды беляков. А когда коммунары добрались до Бухтармы, казачий атаман Щербатый, вначале воспротивившийся дать годную землю обуховцам, потом пошел на них вооруженной силой. Но у обуховцев были уже верные друзья среди местных крестьян, бедняков и середняков, они-то и стали в союзе с обуховцами основой партизанских отрядов, оказавших немалую помощь Красной Армии.

Павел Кузнецов скуп на слова. Для емкого выражения мыслей персонажей он пользуется самым точным народным языком, богатым, неповторимого звучания. Повесть пронизана чувством гордости писателя за рядовых бойцов революции, жизнью своей отстаивавших великое дело Ленина.

Вдохновенную песню о торжестве революционного дела пропел Павел Кузнецов в своем последнем творении.

Декабрь 1967 г.

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ?

Не помню, в каком году, но один номер журнала «Огонек» совершенно случайно вышел без кроссворда. Боже мой, как разгневались подписчики. Редакцию завалили письмами. Телефонные звонки несколько дней не смолкали во всех отделах. «Вы лишили нас лучших часов воскресного отдыха, когда мы всей семьей решали кроссворд. Объясните, что случилось», — грозно спрашивали в телеграмме из Курска.

Человек привыкает к порядку, и, если в нужную минуту он чего-то не находит на привычном месте, нервы становятся неуправляемыми, человек теряет самообладание. Сколько лет в каждом номере еженедельного журнала «Огонек» был кроссворд, и вдруг его нет. Переполох! Читатели «Огонька» привыкли также к печатавшемуся, правда, далеко не в каждом номере, но на той же странице, что и кроссворд, раздельчику: «Почему мы так говорим?» Под заметками стояла подпись — И. Уразов. И тоже, если почему-либо в журнале долго не публиковался этот раздельчик, шли письма и телеграммы, звонил телефон: «Здоров ли Уразов?»

Вот по этому самому раздельчику я знал Уразова заочно за много лет до прихода в «Огонек». Читая

небольшие по размеру заметки о разных словах и выражениях — к примеру, «Банк», «Где раки зимуют», «Дотла», «Заварить кашу», «Курские соловьи», «Мелкая сошка», «Не вытанцовывается», «Реветь белугой», «Тихая сапа», «Чеканить», «Шут гороховый», — мы узнавали не только историю возникновения слова или понятия, но и многое малоизвестное о жизни народов и истории государств.

Люди моего поколения, читавшие «Огонек» в сороковые и пятидесятые годы, конечно, запомнили уразовский уголок в журнале. Для тех, кто в те годы не был читателем журнала, приведу пояснение хотя бы одного, случайно выхваченного мною понятия из более тысячи написанных за те годы Уразовым: «На широкую ногу».

«Когда говорят «Иметь сено в башмаках» — это значит быть богатым. В XIV веке была мода на длинную и большую обувь, иногда больше полуметра. Эта мода касалась только высших классов. Чем длиннее была обувь, тем знатнее и богаче считался человек. Чтобы можно было ходить в таких башмаках и сохранять их форму, их набивали сеном. Одно время носки даже загибали кверху, закручивали. От этой моды родились перешедшие к нам выражения: «Жить на большую ногу», «Жить на широкую ногу», «Жить богато».

Мне тогда думалось, что «И. Уразов» — псевдоним многих ученых из числа составителей всем известных словарей. Можно представить и понять мое удивление, когда в первый день работы в редакции «Огонька» мне представили немолодого кареглазого человека в коричневом костюме, сшитом явно не по фигуре носившего его, и сказали:

— Заведующий отделом оформления журнала Измаил Алиевич Уразов.

Протянув мне руку, Измаил Алиевич загадочно улыбнулся и сказал:

— Будем работать вместе...

На протяжении шести лет работы в «Огоньке» я усвоил особенность выражения лица Измаила Алиевича: почти всегда немного загадочная улыбка.

Издательство «Правда», в котором выходит «Огонек», точнее, типография требовала от нас неукоснительного соблюдения графика сдачи рукописей в набор, вычитки гранок, представления макета полос и всего номера журнала.

Если оформители, точнее, технические редакторы, их у нас было несколько человек, старательно расклеивали макет каждой страницы журнала, при этом на их лицах было выражение тяжких раздумий и таинственности, то Измаил Алиевич, когда оформление номера журнала выпадало на его долю, к этому довольно-таки сложному занятию приступал не только в последний день допустимого срока, но в последний час. Он забирал гранки набора, рисунки, фотографии, уходил в свою комнату, казалось, с маху, кое-как, а между тем по заранее продуманной и мысленно сложившейся схеме все это пришлепывал на макет страницы, указывая точные размеры, и с загадочно-обворожительной улыбкой приходил к главному редактору или ко мне и, положив макет на стол, говорил:

— Думаю, что так будет хорошо.

Почти никогда ни у кого не возникали сомнения или замечания к макету, составленному Уразовым.

Бывало и такое. То сам Измаил Алиевич, то руководимые им техреды нарушали график. Из типографии звонили мне или ответственному секретарю

редакции и грозно предупреждали: «Нет никакой гарантии, что журнал выйдет в свет в установленный срок!» В первый год работы в «Огоньке», возбужденный и возмущенный нарушением графика и угрозой типографии, я приглашал Уразова, готовый накричать на него, хотя он и был старше меня на десять лет. Но открывается дверь, в ее створе появляется фигура удивительно некомпактно одетого Измаила, с непременной улыбкой и нежным вопросительным взглядом. Ну, невозможно же кричать на такого человека. И все же я говорю:

— Измаил Алиевич! До каких пор!

Вскоре я понял, что и такие слова ни к чему. Даже без приглашения ко мне или к кому-то другому, Измаил Алиевич сам пойдет в типографию, в цех, там все уладит, пусть это будет одна из последних минут, потом зайдет ко мне и укоряюще заметит:

— Я же вам говорил, что все будет в порядке.

Бывало и такое. Фотокорреспондент или художник, окончательно раздосадованный, придет ко мне:

— Измаил Алиевич потерял редкую фотографию.

Я — к Уразову в кабинет, опять готовый накричать на него. Комната, в которой работал Измаил Алиевич, походила на канцелярию, где только что был произведен обыск: все папки, фотографии, рисунки, гранки, бумаги разбросаны на столах, на диване, на кресле, на стульях, на шкафу, и ничего еще не положено на место. Увидев меня с фотокорреспондентом или художником, Измаил Алиевич, конечно, улыбался, с укоризной смотрел на «жалобщика», совал руку в хаос бумаг то на шкафу, то на диване и, как маг-волшебник, извлекал оттуда именно ту фотографию или тот рисунок, о которых только что шла речь.

Внешние черты стиля не создают еще образа характера и бывают обманчивы. Измаил Алиевич принадлежал к тому типу людей, память которых подобна энциклопедическому словарю, в ней напрочно сохранялось все единожды увиденное, услышанное, прочитанное. Эта удивительная кладовая — память служила Измаилу Алиевичу и для той тысячи с лишним блестяще написанных заметок о словах и выражениях, и для изысканной беседы на любую тему. Прочитывая гранки или синьки полос журнала, Измаил Алиевич десятки раз спасал нас от неточностей, ошибок и неверных толкований, особенно в исторической и искусствоведческой областях.

Требовательный вкус, широкие познания в истории живописи и рисунка позволяли Измаилу Алиевичу безапелляционно оценивать работу художников, сотрудничавших в журнале. Он заказывал рисунки к рассказам, повестям и отрывкам из романов, печатавшимся в «Огоньке». Художники с полуслова понимали «заказчика». В каждом номере «Огонька» репродуцировалось до десяти картин художников разных стран и эпох. Долгие годы Измаил Алиевич имел почти решающее слово при отборе картин в музеях, в мастерских художников.

С 1947 года журнал «Огонек» стал многокрасочным, иллюстрированным еженедельником, печатавшимся способами глубокой, высокой и офсетной печати. В создании внешнего художественного лица «Огонька» Измаил Алиевич играл далеко не последнюю роль. Оценкой его заслуг в этом направлении было включение Уразова в пятидесятых годах в состав редколлегии журнала, членом которой он оставался до выхода на пенсию.

Запомнилась мне месячная поездка вместе с Измаилом Алиевичем в народную Польшу. С первой же минуты вступления на польскую землю Измаил Алиевич проникся сознанием высокой ответственности своей миссии. В музеях, в художественных салонах и в мастерских польских художников ему предстояло отобрать десятки картин для воспроизведения на страницах «Огонька». Оказалось, что Уразов хорошо знает не только произведения польских художников прошлых столетий, но и отлично осведомлен о направлениях и тончайших нюансах современных школ среди живописцев Польши.

Измаил Алиевич легко вступал в разговор с любым художником, деятелем искусств, журналистом, писателем. Если его собеседник не знал русского языка (Уразов не говорил по-польски), то они начинали изъясняться на французском или английском языках, которыми Измаил Алиевич владел, что было для меня откровением. Несколько раз я вынужден был недоумевать: Уразов и его собеседник разговаривают по-татарски. Как-то я спросил Измаила Алиевича:

— Поляк, не знающий русского языка, и так блестяще изъясняется по-татарски. В чем тут причина?

— Мой собеседник, как и я, — татарин, — с подчеркнутой торжественностью объяснил Уразов.

— Поляк, а татарин?

— Так же как и я, сын крестьянина Касимовского уезда, Рязанской области, — по родословной татарин, так, к примеру, и пан Новицкий — главный редактор журнала «Пшеязнь» («Дружба») — родился и вырос под Варшавой, но по крови он татарин. Как я — русский татарин, так он — польский татарин. В Польше

полно татар! — категорично заключил Измаил Алиевич.

Вскорости я убедился, что почти в каждом городе и местечке, где мы бывали, Измаил Алиевич находил соплеменников. Всматриваясь в чье-то лицо или прислушиваясь к чьей-то речи, он вдруг произносил несколько фраз по-татарски, и, как правило, лицо человека, к которому присматривался Измаил Алиевич, расплывалось в улыбке, и на многие минуты я терял своего напарника по поездке. Уразов, окончательно перейдя на татарский, был поглощен разговором с новым собеседником.

— Вы не удивляйтесь, — отвечал на мои недоуменные вопросы Измаил Алиевич. — Татар много не только в Польше, они и в Болгарии, и в Венгрии, и во Франции.

По уверениям Уразова получалось, что значительная часть населения Европы где-то в отдаленном прошлом имеет татарское начало. В качестве доказательств своих умозаключений Измаил Алиевич сыпал примерами из истории народов и государств.

Порой иронизируя по поводу излишней увлеченности Измаила Алиевича отатариванием народов Европы, я рад был месячному ежедневному общению с ним, ибо познавал человека разносторонне образованного, журналиста, искусствоведа, не боюсь этого слова — энциклопедиста.

Каждое утро, прежде чем покинуть гостиницу, Измаил Алиевич заходил в мой номер, повертывался вокруг своей оси и спрашивал:

— Ну, как?

Если я говорил ему, что все в порядке, он был несказанно рад. Как-то так сложилась его жизнь, что он

не привык следить за своим внешним обликом. Все его время поглощали другие дела и заботы.

Измаилу Алиевичу было всего шесть лет, когда умер его отец, крестьянин-бедняк. Мать вскорости вышла замуж. Отчим не радовался пасынку. Над судьбой Измаила сжалился его дядя, по понятиям того времени довольно состоятельный человек. При его материальном участии Уразов окончил Екатеринославскую классическую гимназию, в 1918 году — исторический факультет Харьковского университета. В возрасте пятнадцати лет, будучи еще гимназистом, он начал работать в газете «Екатеринославское утро», в Харькове студент Уразов сотрудничал в «Вестнике театра», писал стихи, печатал их в газетах и журналах и выпустил три книжки своих стихов.

— Незрелая игра в поэзию, — так в зрелые годы оценивал Измаил Алиевич свои поэтические «шалости юности».

Чувство слова он пронес через всю жизнь и был не только отличным художественным, но и литературным редактором. Еще в первые годы становления советской власти на Украине Уразов был вначале заместителем заведующего, а потом и заведующим литературно-издательским отделом Наркомпроса Украины. Он заведовал отделом в газете «Коммунист», был ответственным секретарем украинских журналов «Пламя», «Рабочая семья» и ответственным редактором вначале журнала «Театр», а затем и «Театральной газеты».

В 1925 году Уразов переехал в Москву, многие годы отдал журналам «Советский экран», «Цирк и эстрада», «Всемирный турист», «Вокруг света», был их техническим редактором и ответственным секретарем,

сыграв свою роль в становлении этих изданий и создании их внешнего облика.

В августе 1945 года Уразова пригласили работать в журнал «Огонек». Пятнадцать лет — до ухода на пенсию — он отдал этому изданию весь накопленный оформительский опыт, знания и страсть человека, связавшего свою жизнь с журналистикой с первых дней существования советской власти.

Умер Измаил Алиевич в январе 1965 года, на шестьдесят девятом году жизненного пути. На память об этом человеке осталась у меня его книжка «Почему мы так говорим?», изданная в библиотечке «Огонька» в 1956 году. Измаил Алиевич написал на обложке: «Вот Вам крестник, дорогой Леонид Александрович! С уважением, любовью и признательностью. Измаил». Да на даче у меня растет роза, подаренная мне Измаилом в том же 1956 году.

1972

ВЕЛИКИЙ ГОД ВЕЛИКОГО АКТЕРА

Страна жила первыми прямыми выборами депутатов в Верховный Совет СССР. От Горьковской области и Чувашской республики в Совет Национальностей избирался знаменитый летчик Валерий Чкалов. Редакция «Горьковской коммуны» поручила мне держать постоянную связь с Валерием Павловичем, быть в курсе всех его предвыборных дел, поездок, выступлений перед избирателями. Поэтому в зимние дни 1937 года я часто бывал в Москве у Чкалова.

В один из вечеров с семьей Валерия Павловича в Художественном академическом театре мы смотрели «Горячее сердце» с участием В. Я. Станицына, Ф. В. Шевченко, К. Н. Еланской, Б. Г. Добронравова, Н. П. Хмелева, М. М. Тарханова, И. М. Москвина, В. Л. Ершова. «Какое созвездие имен!» — подумал я, перечитывая сохранившуюся программу.

Как нередко бывало и до этого вечера, Валерий Павлович после спектакля «прихватил» домой на поздний ужин братьев М. М. Тарханова и И. М. Москвина. В тот вечер мы и узнали, что в блистательном ансамбле участников спектакля один — коренной земляк Валерия, нижегородец, к тому же сормович!

Утром Валерий Павлович напутствовал меня:

— Выпытай все подробнее. Для горьковчан будет приятно узнать, что такой артист, как Николай Павлович Хмелев, сормович!

В дирекции театра меня любезно соединили по телефону с Н. П. Хмелевым, находившимся на репетиции. Я попросил о свидании, сказав, что поручение исходит от Валерия Павловича Чкалова.

— С земляком всегда рад встретиться, — послышалось в трубке. — Сегодня я не смогу: сейчас репетиция, вечером спектакль. Приходите завтра в десять утра ко мне домой.

Я предполагал увидеть многокомнатные апартаменты с дорогой мебелью и хрусталем, с картинами известных художников. Оказался же в небольшой комнате коммунальной квартиры, что в доме почти рядом с театром. Больше чем скромное обиталище Каренина — Хмелева, простота и домашность, даже какая-то уютность первых минут встречи сняли скованность, до этого владевшую мной.

— Вы как вестник моей юности, — сказал Николай Павлович, приглашая садиться на тахту. И сам сел рядом. — Что бы вы хотели узнать?

— Вы действительно нижегородец, даже сормович?

— Действительно! 23 августа 1901 года я родился в Сормове, провел там детство и юность. Первоначальные знания получил в частном реальном училище, а когда оно закрылось, перешел во вторую Нижегородскую гимназию, что в рабочем Канавине. Уже двадцать лет я в столице. Из Сормова мы уехали в 1917 году, а душой все еще на Волге, в Сормове. Вы, наверное, сами испытывали влечение человека в зрелом возрасте к родным местам, туда, где он провел детство, юность, к знакомым тропинкам, к друзьям.

Для меня Сормово — больше, чем место рождения. — Николай Павлович встал, прошелся по комнате, закинув руки за спину. Потом присел на стул и продолжал: — Вам не трудно представить, что испытывал я, какая волна гордости поднялась во мне, когда уже здесь, в Москве, читал страстную повесть Алексея Максимовича Горького «Мать». В моей памяти возникали картины утопающего в грязи рабочего поселка, толпы изнуренных рабочих, выплескиваемых проходными и растекающихся к деревянным домикам. Я не мог видеть, а тем более помнить события 1902 года, красное знамя над демонстрантами, в том числе и знамя, с которым шел Петр Заломов, он же Павел Власов, но мысленно представлял значение этих событий. Они по-своему освещали мою юность. Признаюсь, меня постоянно влекло встретиться с ней, с юностью.

Николай Павлович снова прошелся. Среднего роста, плотный, с приветливым взглядом острых глаз, он медленно передвигался по комнате, что-то вспоминая и дружелюбно улыбаясь. А когда снова сел, то заговорил тихо:

— Я поделюсь с вами одной тайной. О ней пока никто не знает, я никому этого не говорил. Прошлым летом на перроне вокзала города Горького, с поезда, пришедшего из Москвы, сошел человек с небольшим чемоданчиком. Человек этот пешком ходил по улицам Горького. Он видел новые дома, новые широкие улицы. Он не нашел болот и топей, лежавших между Канавином и Сормовом, так памятных ему. На месте болот сверкающая лента шоссе. А по сторонам новые заводы-гиганты. В многоэтажных домах, заменивших покосившиеся хибарки, живут рабочие. Человек с чемоданчиком шел по улицам Сормова, изумлению его

не было предела. Он увидел замечательный Дом культуры, озелененные улицы, прекрасные корпуса реконструированного завода. Он встречал старых рабочих — друзей и товарищей своего отца. Он нашел и товарища своей юности, с которым учился в гимназии. За разговором о прошлом друзья провели всю ночь.

В моих руках была записная книжка, но я не раскрывал ее, боясь нарушить естественность беседы. Николай Павлович посмотрел на меня, на записную книжку и, как бы вторя моим мыслям, сказал:

— Не хотите в моем присутствии записывать исповедь о любви к родным местам? Так знайте, кто были те друзья, которые проговорили всю ночь. Мастер паровозообшивочного цеха Сормовского завода Борис Коняхин и я, Николай Хмелев, тогда еще заслуженный артист республики, инкогнито приехавший в Горький и Сормово. Отец мой Павел Павлович Хмелев много лет работал мастером паровозостроительного цеха Сормовского завода!

— Родные места вы навестили через девятнадцать лет?

— Через девятнадцать. И каких! Равных целой эпохе, прикиньте их мысленно... Половина моей жизни посвящена театру. Вы видели меня на сцене?

— А как же! Позавчера в роли Силана в «Горячем сердце». Раньше в ролях Фирса в «Вишневом саде», Алексея Турбина в «Днях Турбиных», Каренина в «Анне Карениной». Ни одного приезда в Москву без посещения спектаклей МХАТа, — торжественно выпалил я.

— Это очень хорошо, — одобрил Николай Павлович. — Договоримся: каждый новый приезд в Москву вы звоните мне, а я устраиваю вам пропуск. Не стесняйтесь. Мне это доставит удовольствие.

Воспользовавшись любезным содействием Николая Павловича, за сезон 1937—1938 года я видел Хмелева в спектакле «Царь Федор Иоаннович», в роли Сторожева в «Земле» Н. Вирты и в других спектаклях.

Но вернемся к беседе.

— Может быть, это и банально, но все же скажите: чем объяснить ваши актерские успехи, особенно в роли Каренина?

— Ничего банального в вашем вопросе нет, как не будет ни банального, ни выспренно-декларативного и в моих словах, — сказал Николай Павлович. — Главной и решающей основой в моей работе стало то, что я как актер и гражданин полностью воспитан советской властью. Я называю себя октябренком. Не по возрасту, а по всей своей сути. Моя жизнь началась, развивалась и достигла настоящего уровня при советской власти, в атмосфере заботливого, самого чуткого отношения партии и правительства к нам — работникам искусства. Когда меня спрашивают: «Что вам дала советская власть?» — я отвечаю: «Все!» И знания, и полные права гражданина — все необходимое для развития творческих сил. И честь, и славу, и почет, и любовь народа!

Возьмем один нынешний год из тех двадцати, что я живу в Москве, — продолжал Хмелев. — В этом году правительство присвоило мне высокое звание народного артиста СССР, наградило орденом Трудового Красного Знамени. В этом году я подвел итоги своей общественной работы, вступил в группу сочувствующих Коммунистической партии. Теперь, в дни подготовки к выборам в Верховный Совет СССР, я член окружной избирательной комиссии Свердловского избирательного округа города Москвы. Наконец, в этом

году я впервые ездил за границу вместе с театром на гастроли в Париж. Многое из того, что мы увидели и узнали в Париже, останется в памяти, но, пожалуй, самой замечательной была встреча с Роменом Ролланом. Вечером у выхода из театра я встретился с ним. Он говорил о Советском Союзе, о театре, о моем исполнении роли Каренина. В каждом слове Роллана звучала глубокая симпатия и любовь к нашей стране и нашему искусству. Я всегда буду помнить вдохновенное лицо этого человека.

Я поднял глаза от записной книжки и тоже увидел вдохновенное лицо собеседника и взгляд, устремленный куда-то вдаль...

— Еще один вопрос, Николай Павлович: каковы ваши творческие планы?

— Дел много. Время проходит в настоящем творческом горении. Да и как не гореть в нашей прекрасной стране? Здесь все свое. Свои театры, свои зрители, свои земляки. Меня лично глубоко волнует связь с народом. Недавно я получил письмо от своей бывшей учительницы Е. И. Узловской. Трогательное письмо! Вспоминают меня и сормовичи: летом, когда меня наградили орденом, прислали поздравительное письмо. Я им ответил. Но письменного ответа мало. Хочется отчитаться по существу. У меня есть огромное желание приехать в Горький, побеседовать, поговорить, посмотреть, рассказать кое-что о том, как сын мастера-сормовича стал народным артистом Союза ССР. Думается, что эту мечту удастся осуществить...

...Прощаясь, я спросил:

— Возможно, изложение беседы «Горьковская коммуна» напечатает как вашу статью. Не возражаете?

Назавтра, визируя текст беседы, Николай Павлович сам написал ее заголовок «Замечательный год».

Напечатанная в конце 1937 года в «Горьковской коммуне» статья-беседа вызвала много откликов. Одни шли к автору и дирекции МХАТа с приглашением на гастроли в Горький. Другие — в областные организации с пожеланием организовать приезд труппы МХАТа.

Пожелания оказались встречными и к взаимному удовольствию осуществились. В мае 1939 года основной состав труппы МХАТа пожаловал в Горький.

«На этот раз встреча особенно волнующая, — писал Вл. Немирович-Данченко в небольшом вступлении к книжке-программе о предстоящих гастролях. — Здесь, в Нижнем Новгороде, жил под надзором полиции Алексей Максимович. Сюда я приезжал к нему когда-то для разговоров о новых пьесах и уезжал, окрыленный широтой и смелостью его замыслов, так отвечавших нашим совместным стремлениям... Здесь, на гигантских заводах и фабриках, созданных народом под руководством партии большевиков, тысячи старых кадровых рабочих, осуществляющих горьковские мечты, вспоминают его постоянно, как близкого друга, как самое дорогое из прожитого. Для них, когда-то не знавших входа в театр, для их молодых товарищей — из Сормова, из колхозов, вузов и техникумов мы будем счастливы распахнуть занавес в спектаклях театра Максима Горького, им созданных или продиктованных его мировоззрением».

Дни пребывания МХАТа в Горьком стали днями настоящего праздника. В моем блокноте — тогда собственного корреспондента «Известий» — сохранились такие записи:

«Чтобы встретить актеров МХАТа, на привокзальную площадь вышли тысячи горьковчан со знаменами и плакатами. Актеров, а в их числе такие светила советской сцены, как О. Л. Книппер-Чехова, В. И. Кача-

лов, И. М. Москвин, М. М. Тарханов, Б. Г. Добронравов, Ф. В. Шевченко, А. П. Зуева, О. Н. Андровская, А. К. Тарасова, К. Н. Еланская, М. М. Яншин, М. И. Прудкин, А. Н. Грибов, В. Л. Ершов, да всех и не перечтешь, и конечно же свой земляк — Н. П. Хмелев, встречали как родных. Ведь МХАТ, область и город носят одно и то же имя — имя А. М. Горького.

Театр привез шесть постановок, в том числе три горьковских пьесы: «На дне», «Враги», «Достигаев и другие». В трех спектаклях, в ролях Николая Скроботова во «Врагах», князя в «Дядюшкином сне» Ф. М. Достоевского и Алексея Турбина в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова, выступает Н. П. Хмелев. Это обещанный им творческий отчет перед земляками... Где бы мы ни были — на заводе, в учреждении, на пристани, в трамвае, в магазине, — везде разговор — о спектаклях МХАТа. Конечно же в театр смогли попасть примерно один из сотни желающих, и тот, кому удалось побывать на спектакле, становился самым желанным собеседником. Больше всего разговоров о Николае Павловиче Хмелеве.

Моя корреспондентская комната находится рядом с областным управлением народнохозяйственного учета. Только что начался обеденный перерыв. Записываю фразы, выхваченные из общего восторженного гула:

— Каков Хмелев в «Дядюшкином сне»! Это же непостижимо! Какой блеск таланта!

— Князь! — это что! Ты бы вот видела его во «Врагах». Вот это перевоплощение! Теперь я могу представить, как он играет Каренина!

— Говорят, Каренин еще не шедевр. Вот царь Федор — это...

О Хмелеве говорят все с какой-то особенной гордостью. Что ни говори, свой, сормовский.

...На Верхне-Волжской набережной можно услышать:

— Посмотрите: Качалов идет. Какое великолепие!

— Видал Тарханова в жизни? Посмотри, вон тот, степенный.

...Николай Павлович Хмелев в эти дни то у сормовичей, то сормовичи у него в гостинице. Один день я провел с Хмелевым на заводе. День сплошного ликования: и в конструкторском бюро, и в машиностроительном, и в других цехах! В машиностроительном Николай Павлович, взволнованный необычностью встречи, произнес страстную речь о торжестве советского искусства. Тут же, в цехе, были исполнены отрывки из спектаклей с участием А. К. Тарасовой и Н. П. Хмелева. Такие же душевные встречи произошли и в других цехах. Крепкие рукопожатия, объятия, гром оваций. Я видел, как Николай Павлович, не стесняясь, то и дело смахивал слезы. А вечером во Дворце культуры уже встреча с представителями всего Сормовского района. Снова выступления, снова отрывки из сцен. Снова овации и слезы радости и гордости. Сормовичи в своих выступлениях говорили о чувствах любви к земляку, к актеру необыкновенного дарования».

Перед отъездом Николая Павловича я зашел к нему в гостиницу. Не скрывая волнения, переживая все, что происходило в дни гастролей, он говорил:

— Помните, в Москве, полтора года назад, мы говорили о замечательном годе в моей жизни? А как мне назвать нынешний, 1939 год, год моего вступления в ряды Коммунистической партии, год творческого отчета перед своими земляками? Самый счастливый, самый великий год в моей жизни!

Великий год Великого актера!

1973

НИЖЕГОРОДСКАЯ ЗАРУБКА

При встречах с Александром Корнейчуком в военные и послевоенные годы, к сожалению редких встречах, я непременно пристально вглядывался в правый висок Корнейчука, а он, заметив мой взгляд, неизменно говорил:

— Да, с той поры держится памятная зарубка.

Зарубка около виска Александра Евдокимовича не овеяна ни боевыми подвигами, ни историческими событиями. И тем не менее она обращала память в прошлое. . .

Тридцатые годы, особенно их первая половина, были, пожалуй, самыми яркими и насыщенными в творческой биографии Горьковского театра драмы. Во главе коллектива стоял подлинный титан провинциальной сцены Николай Иванович Собольщиков-Самарин. А труппа была не кочующей, а постоянной, первой во всей театральной периферии. Под крылышко Собольщикова-Самарина слетались именитые и талантливые актеры со всей России, среди них — представители дореволюционной сцены: прославленные трагики, герои-любовники и мастера комедии — и молодежь, мечтавшая пройти школу у выдающегося режиссера.

В Горьковский театр в те годы несли свои творения такие драматурги, как Николай Погодин и Борис Ромашов, Михаил Светлов и Виктор Гусев. Они проверяли пьесу на восприятие актеров Горьковского театра, надеясь увидеть ее на сцене, «сработанной» под руководством Н. И. Собольщикова-Самарина.

Как раз в те годы на драматургическом небосклоне вспыхнула яркая звезда. «Гибель эскадры» — пьеса украинского драматурга Александра Корнейчука — была отмечена на Всесоюзном конкурсе и вскоре завоевала сцены многих городов страны.

Слава Горьковского театра драмы докатилась и до Киева. После того как пьеса «Платон Кречет» была переведена на русский язык, монопольное право на ее первую постановку Александр Корнейчук передал только двум театрам России — Московскому Художественному и Горьковскому. И когда «Платон Кречет» шел на сцене Горьковского театра уже двенадцатый раз, в зале среди зрителей находился и Александр Корнейчук.

В приезде драматурга, пусть даже издалека, на постановку своей пьесы нет ничего исключительного. И сам по себе такой факт — не мотив для воспоминаний. Все это так. Но у меня сохранилась вырезка из газеты «Горьковская коммуна» за 19 апреля 1935 года с моим отчетом о пребывании Александра Корнейчука в Горьком. Рассказанное в том репортаже подкрепляет память и, как мне думается, представляет литературный и жизненный интерес.

Как зрители принимали спектакль «Платон Кречет»? Придется процитировать заключительный абзац моей рецензии, опубликованной в той же «Горьковской коммуне» за несколько дней до приезда драматурга в город.

«Количество аплодисментов — не всегда правильное и единственное мерило качества спектакля. Но когда «Платон Кречет» идет на беспрерывных аплодисментах, когда зачарованный зритель заставляет 10—15 раз распахнуть занавес сцены после конца спектакля и горячо приветствует актеров, то это уже торжество драматурга и театра».

Можно себе представить, что творилось в зрительном зале Горьковского театра драмы 17 апреля 1935 года, когда после второго акта труппа театра во главе с народным артистом республики Н. И. Собольщиковым-Самариным вышла на сцену и приветствовала присутствующего в зале драматурга — автора пьесы?! Это был шквал оваций, в них — душевность и сердечность приветствий драматургу. Как напечатано в той заметке: «Корнейчук обратился к труппе и зрителям с небольшой речью, в которой указал на особое значение практической связи культуры и искусства всех национальностей Советского Союза, в том числе советской Украины и РСФСР».

Поздно ночью, после спектакля, состоялся сбор труппы театра. Александр Евдокимович охотно рассказал о работе над пьесой «Платон Кречет». Вот что он говорил:

— Когда меня премировали за пьесу «Гибель эскадры», — то в ЦК партии сказали, что партия и правительство ждут от нас, драматургов, новых, еще более художественных и идейных произведений, и я почувствовал ответственность, которая лежит теперь на мне. Я долго думал, о чем же писать, как показать новых людей социалистической действительности. Писать о большом, о новых людях — дело трудное. Но я понимал, что большие люди в нашей стране есть везде, на каждом участке работы, в том числе и среди меди-

цинских работников. Кстати, тогда о врачебном мире мало писали и говорили. Я поехал в один небольшой город, познакомился с работниками здравоохранения и через их среду донес до зрителя в своей пьесе нужные идеи. В моей работе помогали врачи, ученые с мировым именем, рабочие, комсомольцы, коммунисты, которым я зачитывал свою пьесу до сдачи в театр.

Александр Корнейчук за дни пребывания в Горьком встречался не только с актерами театра, но с комсомольским активом города, со студентами пединститута, побывал на автозаводе, в обкоме партии, и, конечно, в «Горьковской коммуне», где состоялся дружеский разговор с журналистами. Драматург подробно охарактеризовал основные персонажи пьесы «Платон Кречет». В частности, об образе Береста он говорил:

— В советской драматургии много образов большевиков. Но эти образы зачастую схематичны и ходульны. Мне хотелось дать такого большевика, который бы был ближе к зрителю, жизненен, которого, как говорили на съезде писателей товарищи Жданов и Ярославский, любил бы читатель и зритель. Я пытался найти в Бересте, кроме общей характеристики, свои индивидуальные черты. Большевик познается не только в руководстве большими вопросами, но и в мелочах. В этом отношении прекрасный пример дает один из руководителей Коммунистической партии Украины тов. П. П. Постышев. Был такой случай. Товарищ Постышев пришел в оперный театр. После второго акта он зашел за кулисы к актерам и там встретил костюмершу, работающую в театре тридцать лет. Эту труженицу руководство театра не замечало. А товарищ Постышев предложил устроить ей юбилей. И юбилей

был отпразднован со всеми почестями так же, как празднуют юбилеи народных и заслуженных артистов. Все мы знаем заботу товарища Постышева о детях. Ведь ежедневно сотни ребят пишут ему письма. Забота о каждой мелочи и чуткость — характерные особенности большевика, и этими чертами я хотел наградить Береста.

Александр Евдокимович говорил об отдельных замечаниях журналистов о пьесе и спектакле, сказав при этом, что «некоторые замечания он учтет при окончательном редактировании пьесы для печати». (Значит, в отличие от некоторых современных драматургов, спешащих опубликовать пьесу раньше, чем она прошла проверку на зрителя, А. Е. Корнейчук не торопился с печатанием своих пьес — не поэтому ли они и стали классическими в советской драматургии.) В частности, подробно обсуждался образ Лиды. Корнейчук сказал, что от женщин-зрителей им получено много писем, в которых женщины оценивают Лиду по-своему, дают заказ написать пьесу о женщине, подобной Платону Кречету. «В следующей моей пьесе я постараюсь выполнить этот заказ. Кстати, свою новую пьесу в русском переводе я привезу для читки в Горький».

Перед отъездом А. Е. Корнейчука из Горького я попросил его написать несколько слов для нашей газеты. Вот что было в записке, которую перед самым отъездом передал мне Александр Евдокимович:

«Я с большим волнением ехал впервые в Горький, чтобы посмотреть на русском языке мою пьесу «Платон Кречет». Я волновался еще потому, что в этом городе, в этом замечательном индустриальном центре когда-то, давно, жил великий украинский поэт Т. Г. Шевченко. Он встречался с гениальным русским

актером Щепкиным и с гениальным трагиком негром Олдриджем, который выступал на Нижегородской ярмарке. Разговаривая на разных языках, эти большие люди понимали друг друга, помогали друг другу.

Спектакль, просмотренный мною в Горьковском драматическом театре, произвел на меня огромное впечатление. Театр прекрасно раскрыл текст, а исполнители дали изумительные сценические образы.

Я успел посмотреть автозавод. Меня поразили, прежде всего, люди этого завода, наша замечательная, жизнерадостная молодежь. Навсегда останется у меня впечатление о заводе как о замечательном храме человеческой мысли и радостной человеческой улыбки, о заводе, где труд превращен в гордость и счастье.

Мне хочется передать свой искренний и горячий привет артистам театра, пролетарскому зрителю — мастеру нашей социалистической жизни — и редакции газеты «Горьковская коммуна», которая так тепло и внимательно отнеслась к моему произведению «Платон Кречет».

...Мне думается, что характер поездки украинского писателя на российскую периферию, его рассказ о пьесе «Платон Кречет» и высказывания на другие темы представляют несомненный интерес.

Ну, а зарубка у виска? При чем здесь она?

Время короткого пребывания Александра Евдокимовича в Горьком было рассчитано на минуты. Вышло так, что утром на второй день, в гостинице, где остановился Александр Евдокимович, не оказалось парикмахера. Мы побежали с ним в ближайшую парикмахерскую. Свободным оказалось только одно кресло. В него-то и сел Корнейчук. Молодой мастер-девушка зарделась, щеки покрылись румянцем, рука с кисточкой, которой она намыливала подбородок клиенту,

явно не подчинялась. То ли вчера она была в театре и узнала, кто у нее в кресле, то ли впервые увидела на лацкане пиджака молодого человека циковский значок — Александру Корнейчуку в ту пору шел всего тридцатый год, — и при первом же прикосновении бритвы к щеке Корнейчука около виска брызнула кровь. Немедленно подбежали мастера, откуда-то появился даже заведующий парикмахерской, готовый накричать на мастера. Но Корнейчук попросил йод. Вскоре кровотечение было остановлено. И та же девушка, по просьбе клиента, закончила несложную процедуру бритья, начавшуюся так волнительно.

Вот откуда появилась у А. Е. Корнейчука «нижегородская зарубка», как он любил называть ее.

1972

ДВА ЧАСА У БОРИСА ЛИВАНОВА

На дворе стоял вьюжный февраль. Мело и завывало, на магистралях Москвы было неуютно, даже сумрачно. Когда мы подошли к дому № 6, размахнувшемуся на целый квартал по улице Горького, было немногим более девяти часов утра.

— Не рано ли? — спросила Ида Вершинина, сотрудница отдела искусства журнала «Огонек», которую я пригласил на эту встречу. — В такие ранние часы актеры, надо думать, еще отдыхают.

— Борис Николаевич сам назначил время: половина десятого. В полдень ему нужно быть в театре.

Давно, еще в довоенные годы, я встречался с Борисом Николаевичем в разных домах, а после войны еще и на разных приемах. У нас были общие знакомые. При встречах мы не только приветливо раскланивались, но иногда и уединялись для недолгой беседы «на отвлеченные философские темы», как однажды заметил Борис Николаевич.

В квартиру Бориса Николаевича я шел впервые и с нескрываемой перед спутницей робостью поднимался по лестнице навстречу рокочущему «Здравствуйте, дорогие!». Манеру обращения Бориса Николаевича я

хорошо знал, а голос его звучал во мне еще со времен неунывающего треневского Шванди и обретал силу шального гоголевского Ноздрева.

Но шли мы не к любимому зрителями театра, кино и телевидения актеру, а до той поры почти неизвестному художнику, с тайной целью познакомить читателей популярного журнала «Огонек» и с этой стороной разносторонней творческой биографии Бориса Николаевича.

В одном домашнем застолье, оказавшись рядом с Борисом Николаевичем, я приметил, что на странице припрятанного им под скатертью блокнота возникает презабавный карандашный силуэт сидящего визави писателя. В тот же вечер я спросил:

— Это ваше хобби?

— Если увлечение с детских лет можно назвать хобби, то тогда...

Вскорости на выставке накануне съезда художников я увидел акварельные и карандашные рисунки нескольких актеров МХАТа, исполненные с добродушной улыбкой к персонажу. В нижнем углу под каждым рисунком автограф: «Б. Ливанов». Все, что я увидел тогда, было не только очаровательно, но и высокопрофессионально по исполнению. Вот тогда-то я и позвонил Борису Николаевичу.

— Прошу принять делегацию «Огонька» на предмет рассмотрения вашей художнической деятельности и представления ее широкому кругу читателей журнала.

— Приму в любой день. Приходите хоть завтра в полдесятого утра. Но не преждевременно ли для «Огонька»? Знаете, мастером, да еще каким, нужно быть...

— Значит, завтра в полдесятого.

— Прошу.

...На столе, что стоит посредине рабочего кабинета артиста и режиссера, несколько специальных папок. В каждой — десятки акварельных и карандашных рисунков. Мы раскрываем папки, вся площадь стола как бы заговорила, демонстрируя нам десятки портретов-характеров. Одни написаны в сдержанно документальной, что ли, манере; другие — с искрящейся дружеской улыбкой, в которой явственно проглядывает отношение художника к персонажу; третьи — с мягкой иронией; в четвертых видится диалог автора с героем своего творения. На дворе — февральская вьюга, а в кабинете на столе — светло и солнечно.

Независимо от авторской трактовки, на каждом картоне мы узнавали прославленных актеров Художественного театра. Более двухсот рисунков! Некоторые персонажи на двух, трех и даже на пяти листах, написанных в разное время и в разных условиях. Вначале мы молча рассматривали дружеские шаржи Бориса Николаевича, скромно выражая свои восторги, даже некоторое удивление.

— И давно вы пишете?

— Пишете... Не громко ли сказано? — вопросом на вопрос ответил Борис Николаевич. — Это, если хотите, моя вторая страсть. Одни ведут дневники, другие в моем возрасте пишут мемуары, третьи, как, например, Ираклий Андроников, выступают с устными рассказами о друзьях. А я все дневники, рассказы и мемуары пишу вот так: рисую. Карандаш с детских лет мой друг и спутник. Вот уже тридцать пять лет моя жизнь проходит в стенах Художественного театра. Тут мои товарищи, друзья, тут мои учителя. Каждого из них я наблюдал и наблюдаю многие годы. О каждом знаю все, как и они всё знают обо мне. Возможно,

кто-то из них словом рисует мой характер в своих памятных книжках, а я выражаю свои дружеские чувства к любому из них, как видите, в рисунке. Я не устраивал рабочих сеансов и не приглашал своих друзей в качестве натурщиков. Рисовал как бы при помощи скрытой камеры, причем не сразу, а в течение многих лет; на репетициях, на совещаниях, даже за кулисами в дни спектаклей. Постепенно создавался образ, в котором наиболее четко выраженные детали передают талант и характер моего героя.

Мы листали картоны и действительно читали мемуары в рисунках, мы видели восторг и любовь художника к своим друзьям и учителям. Даже в тех рисунках, в которых «усугублены» какие-то внешние черты натуры, это усугубление — дружеская улыбка и сердечное расположение автора.

— Друзья не в обиде? — спросила Ида Вершинина.

— Не думаю, — ответил Борис Николаевич. — Я не таюсь от них. Все натуры знакомы с моей трактовкой их образа. Константин Сергеевич Станиславский, например, как-то разглядывая мои рисунки, хохотал так, как он умел хохотать. А свое изображение в моем толковании удостоверил автографом, поставив дату: 9.X.1935 г. Удостоверил автографом мой дружеский рисунок и Василий Иванович Качалов. А Ольга Леонардовна Книппер-Чехова дважды подписала мой рисунок с ее изображением. Как-то, по совету Леонида Мироновича Леонидова, на одном заседании я стал делать наброски с тут же сидевшего Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Конечно же он заметил и в перерыве подошел: «Вы меня рисовали все заседание, покажите». Он долго и сосредоточенно рассматривал рисунки и вернул их, ничего не сказав. Вам не

трудно представить мое волнение. Но после заседания, как я узнал от Леонидова, Владимир Иванович сказал ему: «А Ливанов ко мне серьезно относится, с уважением».

Мы рассматривали дружеские шаржи, слушали неторопливые комментарии к ним хозяина и автора удивительных папок с картонами мемуаров в рисунках. В этих комментариях то какой-то интересный случай из жизни или творческой биографии артиста, то точно подмеченная особенность таланта. Перед нами прошла такая прекрасная галерея светлых имен: А. О. Степанова, Ф. В. Шевченко, И. М. Москвин, М. М. Тарханов, Н. П. Хмелев, А. Н. Грибов, В. О. Топорков, М. М. Яншин и многие другие.

— Эти рисунки — мой «МХАТ без грима». К ним я причисляю и вот этот рисунок Алексея Максимовича Горького — без него нет и нашего театра. — Продолжая комментарии, Борис Николаевич достал картон с изображением А. М. Горького. — В 1931 году Горький смотрел у нас «Страх» Афиногенова. После спектакля, в котором я играл роль Хусаина Кимбаева, мне сказали, что Алексей Максимович передал приглашение приехать к нему на дачу. Я не буду вам говорить о тех чувствах волнения и радости, которыми я жил те дни. Вместе с Алексеем Николаевичем Толстым, который за мной зашел, мы поехали к Горькому. Провели у него целый день. И какой день! Была зима, Алексей Максимович, покуривая, с папиросой в одной руке, ходил по комнате в пимах и рассказывал интересные истории. Лицо его было серьезным, сосредоточенным. Конечно, карандаш и бумага были со мной. И я счастлив, что вот и этот картон теперь — страница моих мемуаров.

Часовая стрелка стремительно двигалась в направлении той минуты, когда Борис Николаевич должен был уходить на репетицию. Мы отобрали несколько акварельных и карандашных рисунков, которые решили репродуцировать в «Огоньке», и попросили Бориса Николаевича все, о чем он нам говорил, написать для журнала. Он застеснялся:

— Удобно ли все это публиковать? Скажут: вот Ливанов славы ищет. А зачем мне слава? Ее у меня предостаточно. Теперь я занят второй серией «МХАТ в гриме» — те же актеры в ролях. Может быть, тогда...

Но мы не отступили. И Борис Николаевич сдался. 6 апреля 1958 года в «Огоньке» была опубликована цветная вкладка дружеских шаржей народного артиста СССР Б. Н. Ливанова и его большая статья «Вместо мемуаров» с четырнадцатью рисунками.

1973

ИОАКИМ МАКСИМОВ-КОШКИНСКИЙ

С кем только не сводит журналиста круговерть профессии: все время в движении, в гуще тех, кто вершит дела большие и малые, кто своим творчеством обогащает культуру, двигает вперед экономику. Жаль, что в давние годы я, как и многие мои коллеги, не понимал значения личного архива, точно прожектором освещающего пройденный путь. Из того, что написано и напечатано в периодике, сохранилось немногое. А ценности уцелевшего несравненны. Иногда маленькая заметка, написанная в двадцатых годах, рождает в памяти картины удивительного времени: «Дирижабль над Вяткой», «Пожар в Котельниче» (за полтора часа сгорел весь город!), «Кто и почему убил Васю Мажеурова» — деревенского комсомольского вожака убили кулаки.

Порой только что опубликованное в газетах сообщение зовет к папкам личного архива. В сентябре 1973 года напечатан Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденом Трудового Красного Знамени в связи с восьмидесятилетием со дня рождения писателя Иоакима Степановича Максимова-Кошкинского? Уверен, не всем читателям газет знакомо это имя. Собрание сочинений писателя не издавалось, отдельные книги, особенно пьесы, больше известны

в его родных краях. Но память зовет к папкам архива. Что-то когда-то и где-то я писал о Максимове-Кошкинском? Так и есть! Вот она, газетная вырезка, — текст ее привожу полностью:

«— Посудите сами — Шекспир брал героя, образ красочный и монолитный, и для него придумывал обстановку, события, действия. Он пренебрегал конкретной историчностью фактов. В своем герое Шекспир, как меч, оттачивал идею. И его герои пережили века, столетия. Я недавно снова перечитал всего Шекспира и убедился — многие наши драматурги не поняли этого основного. Они берут события, факт и к ним, для них придумывают действующих лиц, нежизненных, худосочных, манекенов.

Иоаким Степанович возбужденно ходит по комнате. Он полон волнующей экспрессии, энергии.

— Меня уже несколько лет занимает один образ. Чувашский колхозник Шереметь. Я не знаю такого человека в жизни. Он мною собран, выгравирован из сотен. И я его чувствую, как собеседника, как оппонента и как друга. Шереметь — революционер «от души» — действовал в моих пьесах и сценариях не раз. Он участвовал в Октябрьских событиях в Чувашии, он раскулачивал кулаков в дни массовой коллективизации... В этом представителе возрожденной Чувашии я хочу показать сильного человека.

Любовь Иоакима Степановича к Шереметю понятна. Этот образ во многом автобиографичен. Иоаким Степанович — сам яркая фигура чувашской нации. Он один из крупнейших представителей чувашской интеллигенции, посвятивший всю жизнь созидательному творчеству, революцией рожденному чувашскому искусству.

Еще до революции Максимов-Кошкинский — семи-

нарист симбирской чувашской семинарии — увлекался театром и несколько раз даже выступал статистом. Тогда никто не допускал и мысли, что чувашин может играть на сцене ведущую роль. Потеряв веру в возможности применения своего таланта в качестве актера, молодой, увлекающийся юноша переквалифицировался на художника и в этой роли пристроился в Казанском театре.

В 1918 году создается Чувашский национальный театр. Его организатором, автором, режиссером и первым актером стал Максимов-Кошкинский. Два года творческий коллектив ездил по фронтам, выступал перед красноармейцами чувашами и татарами, давая им здоровый отдых и боевую зарядку. С тех пор имя Максимова-Кошкинского тесно связано со всем чувашским искусством. Это имя всеми признано и любимо, оно является неопровержимым доказательством исключительных творческих запасов в чувашском народе. Максимов-Кошкинский (Кошкинский — по деревне Кошки) первый в Чувашской республике получил звание заслуженного артиста республики. Сейчас он первый и единственный пока народный артист орденоносной Чувашии.

Творчество Максимова-Кошкинского — это горячая борьба за чувашский народ, за искусство, национальное по форме и пролетарское по содержанию. Трудно сказать, что главное в творчестве Максимова-Кошкинского. Он создал десятки сценических образов; он поставил сотни спектаклей на чувашском и русском языках. Он перевел на чувашский язык 40 русских и иностранных классических пьес. Он сам написал двенадцать пьес, многие из них шли на сцене по нескольку лет. Наконец, Максимова-Кошкинского знает кинозритель... Им было организовано «Чувашкино» (оно

существовало 5 лет). Им как режиссером поставлено 8 кинокартин, демонстрировавшихся во всех уголках страны. Он сам написал сценарии к картинам «Сар Пигэ», «Черный столб», «Вихрь на Волге» и «Прачка». Он играл главные роли в пяти кинокартинах. Особенно ярки его работы в картинах «Черный столб» — роль батрака и в «Сар Пигэ» — роль свата.

Иоакиму Степановичу 43 года. Он по-прежнему полон энергии и творческого задора. Даже в дни суточной работы в театре, художественным руководителем которого Иоаким Степанович состоит бессменно, он урывает по нескольку часов в день, чтобы засесть за работу.

— Кончаю сценарий кинокартины «Свадьба весны» — о чувашских колхозниках. На материале сценария думаю написать пьесу для театра. А здесь вот, видите, полная папка материалов к сценарию «Конец мира» — это мой «план» к двадцатилетию Октября.

Иоаким Степанович встает, ходит по комнате. Видно сквозь очки, какой молодостью играют его темные глаза. Он снова загорелся сокровенной идеей. Он, резко жестикулируя, продолжает:

— В кино тянет. Там размах работы больше. В кино, да особенно в звуковом, — вот где жизнь показать можно!

Иоаким Степанович рвется к большим творческим масштабам. Он мечтает о возобновлении работы «Чувашкино».

— Надо работать. Сил много.

Да, сил много. Сотни актеров воспитаны Максимовым-Кошкинским. И они тоже рвутся к большим масштабам. И у них, как у всего чувашского народа, неимоверный, бурный расцвет творческих сил, рожденных Октябрем».

Когда писалось это интервью — установить нетрудно: Иоакиму Степановичу было 43 года. А теперь восемьдесят. Значит, в 1936 году. А где напечатано? Судя по содержанию заметок на обратной стороне газетной вырезки — в «Горьковской коммуне», — в те годы Чувашская республика входила в Горьковский край. в Чебоксарах — столице республики — я бывал часто, знакомых и даже друзей было много. Вот они-то и познакомили меня с пионером многих областей чувашской культуры.

Иоаким Степанович как писатель всю свою жизнь посвятил театру. Последние годы сам не выступал на сцене. Но написанные им пьесы идут в театрах республики; они рассказывают о жизни чувашского народа, об этапах его исторического развития: это пьесы «Волна», «Земля вздымается», «Дар Пугачева», «Буря за бурей» — о первом чувашском поэте Константине Иванове, об одном из наставников Максимова-Кошкинского. Летчик-чуваш, Герой Советского Союза Ф. Н. Орлов, стал основным персонажем пьесы «Голубая двойка». И ныне драматург у письменного стола — работает над пьесой «Близ Пиорламы» — о легендарном сыне своего народа мичмане Павлове.

Студия художественных фильмов «Чувашкино» не существует уже более сорока лет. Но Иоаким Степанович связь с кинематографом не порвал: он снимался в известных зрителю страны кинокартинах «Алитет уходит в горы», «Алмазы», «Романтики».

Чувашская общественность с данью искренней любви и глубокого уважения отметила юбиляра, имя которого связано с развитем театра, кино, литературы, со всей культурой чувашского народа.

1973

НАРОДНЫЙ МАРШАЛ

Говорят, первое впечатление о человеке — самое верное, самое надежное. Добрый, умный или злой и самонадеянный, неукротимый в работе или равнодушный к окружающим, грубый, не терпящий возражений или мягкий в беседе, умеющий слушать, но непреклонный в решениях — эти, да и многие другие качества человеческой натуры, изучать которые надо чуть ли не всю жизнь, порой действительно раскрываются при первой встрече, при недолгом разговоре, а потом при каждом новом свидании проясняются, становятся более отчетливыми, но, как правило, подтверждают первое впечатление.

В годы второй мировой войны корреспондентские фронтовые дороги не раз приводили меня к К. К. Рокоссовскому. Встречались мы с ним и после войны. Многое о Константине Константиновиче я слышал от командармов, армии которых находились под его фронтовым руководством, от офицеров и солдат, бывших свидетелями и участниками многих операций,

вдохновителем которых был К. К. Рокоссовский. Прочитал я много книг военных мемуаров, в которых выдающемуся военному деятелю, талантливому советскому полководцу, дважды Герою Советского Союза К. К. Рокоссовскому отведено немало страниц.

Первые встречи с К. К. Рокоссовским относятся к лету 1941 года, к первым неделям войны.

В начале августа мы, группа журналистов-известинцев, приехали в штаб 101-й танковой дивизии — она держала оборону возле Минского шоссе, под Ярцевом. Дивизия входила в недавно сформированную армейскую группу, командующим которой был назначен генерал-майор К. К. Рокоссовский. В боевых донесениях, да и в наших корреспонденциях, это соединение часто именовалось «группа генерала Рокоссовского».

Перед группой генерала Рокоссовского была поставлена задача: сорвать продвижение немцев в сторону Дорогобужа и Вязьмы. С первых же дней формирования этой группы в ее штаб зачастили военные журналисты и писатели, аккредитованные при Западном фронте, в июле — августе и сентябре 1941 года о войсках, находившихся под командованием К. К. Рокоссовского, писали часто во фронтовой и центральных газетах.

Это и понятно: армейская группа блестяще решала поставленные перед ней задачи активной обороны. Люди, встречавшие в газетах два слова: «активная оборона», особенно те, кто трудился в тылу, не представляли себе, что такое активная оборона во всей ее сущности. Даже многие из нас, журналистов, свободно употреблявших термин «активная оборона», не всегда отчетливо понимали ее смысл и значение. Я, например, подробно и обстоятельно о значении активной

обороны впервые услышал из уст Константина Константиновича Рокоссовского.

Но вначале о первой встрече.

Мы пробирались в боевые подразделения, державшие оборону в левой зоне от Минского шоссе. Петляя по тропинкам, что избороздили фронтовой лес, мы набрели на артиллерийские батареи, расчеты которых вели огонь по противнику, укрывшемуся за лощиной. Враг огрызался: в районе нашей батареи тут и там рвались снаряды. Увидев, как мы мечемся в этой кутерьме, артиллеристы просто втащили нас в блиндаж.

Пока шла горячая артиллерийская перестрелка, мы, естественно, отсиживались в укрытии. А потом вышли к расчетам орудий. Тогда-то и услышали первый рассказ о генерале Рокоссовском. Командир дивизиона, узнав, кто мы такие, спросил:

— Вы нашего генерала еще не видели? Не беседовали с ним?

— Пока не довелось...

— Обязательно побывайте у него. Рокоссовский — это настоящий, боевой генерал! За таким бойцы пойдут в огонь и в воду. Такой будет любим всеми. Я давно в армии и знаю, с чего начинается любовь бойцов к своему командиру.

— Откуда у вас такая уверенность в генерале Рокоссовском? — спросил я командира дивизиона.

В ответ собеседник рассказал об утреннем бое.

— Западнее, километра за полтора отсюда, — большая лощина. Ранним утром за лощину разыгрался ожесточенный танковый бой. С опушек леса навстречу друг другу в лощину вышли и схлестнулись в лобовую сотни две танков, почти поровну с каждой стороны. Это была схватка горячая, молниеносная, с обоюд-

ными большими потерями. Никакой выгоды она не принесла ни нам, ни немцам. Лощина как была, так и осталась ничейной. Передовые подразделения — наши и немецкие — сохранили за собой противоположные опушки леса, а в лощине и по ее склонам догорали десятки танков.

Вскоре после танкового боя на передний край прибыл командующий группой генерал-майор Рокоссовский. Быстро оценив обстановку, он сказал: «Лощина будет за тем, кто сегодня влезет в остовы танков, оставшихся тут. А за кем будет лощина, под контролем того будет и противоположная опушка леса. Нам первым необходимо забраться в остовы танков. И мы это сейчас сделаем!»

Пехотным подразделениям, укрывшимся в окопах, на восточной опушке лощины, был отдан приказ: с боем ворваться в металлические чрева танков.

— Приказ приказом, а дело делом, — продолжал рассказывать командир артиллерийского дивизиона. — Несколько раз пехотные подразделения пытались подняться в атаку, но тщетно. Вся лощина простреливалась противником. Вот тут-то и проявил себя как боевой начальник командующий нашей группой. Генерал Рокоссовский появился на опушке леса во весь рост. Его увидели все: «Генерал с нами!» «Бойцы, за мной, в атаку!» — крикнул генерал. И точно какая-то магическая сила подняла бойцов. Всех, до единого! С криками «ура!» пехота ринулась в лощину. Командиры подразделений как бы приняли эстафету от генерала и повели бойцов вперед. А генерал вскоре был уже на командном пункте, чтобы руководить всей операцией. После такой атаки лощиной прочно завладела наша пехота. А теперь вот мы, артиллеристы, выкуриваем фашистов и с западной опушки.

Рассказ командира артиллерийского дивизиона был как бы иллюстрацией к понятию — активная оборона. Но не только это запало в памяти. После тягостных сообщений Совинформбюро о поражениях и потерях, которые терпели части и соединения Красной Армии в конце июня и в июле, после того, как мирное население, бойцы и младшие командиры с горькой обидой осуждали многих военачальников, не сумевших подчинить своей воле войска и удержать их на оборонительных рубежах, от командира артиллерийского дивизиона мы услышали рассказ о генерале, рассказ, в котором прозвучали не только искренний восторг перед поведением старшего командира, но и глубокое уважение к нему.

И, естественно, мы стали искать встречи с К. К. Рокоссовским. В тот же день, к вечеру, мы оказались в лесу, где прятали от немецких воздушных пиратов танки 101-й дивизии, которой командовал известный по Халхин-Голу бравый офицер, Герой Советского Союза, полковник Г. М. Михайлов. Полковник принял нас радушно, но рассказать о минувших здесь боях ничего не мог, — дивизия только что вышла на рубеж обороны.

На полянке был оборудован своеобразный стол: в центре круговой траншейки, глубиной до полуметра, прямо на земле, покрытой газетами, разложили незатейливые яства для ужина. Опустив ноги в траншейку и присев на ее бровку, мы оказались как бы за столом. Когда полковник Михайлов неторопливо рассказывал об известных боях на Халхин-Голе, подбежал адъютант полковника и доложил:

— Прибыл генерал-майор Рокоссовский.

Вскоре на полянке показался высокий, худощавый, как говорят, ладно скроенный и крепко сшитый гене-

рал. Мы поднялись, представились. Рокоссовский присел за стол и начал беседу. И его выправка, и речь, строй речи, лексикон — все как-то подчеркивало высокую культуру этого человека. Ласковый взгляд. Крупные рабочие руки, мягкий голос. Сдержанная улыбка. Во всем что-то застенчивое и удивительно привлекательное. Слушая Константина Константиновича, мы забывали, что находимся на войне, что перед нами командующий армейской группой.

Вернувшись в штаб фронта, мы с радостью рассказывали товарищам по перу о том, что видели Рокоссовского, что разговаривали с ним, что узнали, как он ведет себя на переднем крае, и конечно же передавали сказанное им за ужином: «Командир любой степени должен обладать большой силой воли и чувством ответственности. Важно уметь преодолеть боязнь смерти, заставить себя находиться там, где твое присутствие необходимо для дела, для поддержания духа войск, даже если по занимаемому положению там тебе не следовало бы появляться». Мы понимали, что этими словами генерал для нас и, в первую очередь, для себя объяснял собственное сегодняшнее поведение на опушке леса у лощины, когда он поднимал пехоту в атаку.

Вскоре К. К. Рокоссовский был назначен командующим 16-й армией, представлявшей в то время значительную силу: в нее входили шесть дивизий, танковая бригада, тяжелый артиллерийский дивизион и другие части. Приезжая потом в 16-ю армию, я встречался с командармом, как со своим старым знакомым. И эти встречи навсегда запечатлелись в памяти. Вот одна из них.

Дождливый сентябрьский день 1941 года. Штаб 16-й армии расположился в лесу. Командующий жил в

палатке. Там он нас и принял. Мы сидели за столом, командарм — на койке. Как раз над его плечом в брезенте палатки была дырка. Через дырку на плечо генеральского кителя одна за другой падали капли. Рокоссовский, разговаривавший с нами, ни разу не шевельнулся, не сдвинулся, он как бы не замечал этих капель. Он излагал перед нами свою точку зрения на причины наших неудач и поражений в первые недели войны. Для нас это была настоящая лекция по военной стратегии и тактике. Загибая один за другим пальцы рук, Константин Константинович говорил при этом: «во-первых», «во-вторых», «в-третьих», подробно мотивируя каждое свое положение. Многое из того, что он говорил, легло в основу статьи генерала, которая позднее появилась в газете «Известия».

Тогда же Рокоссовский говорил нам:

— И вы, журналисты, а с вами и наша печать в какой-то мере тоже повинны в неудачах и поражениях первых недель войны. В чем эта вина? Вы способствовали распространению паники как в армии, так и в народе. Примеры? Пожалуйста, я помню, в дни финской войны в первых корреспонденциях с фронта, напечатанных в газетах, некоторые журналисты нагоняли страх: везде финские «кукушки» — спайперы, они остаются в тылу наших наступающих войск, прячутся на деревьях. Эти «кукушки» неуловимы, бьют наших почем зря; больше того, кое-кто уверял читателей: все финны — снайперы. Потом, видимо, разобрались, что к чему, и печатание подобных «водевилей», нагоняющих тоску и страх, прекратилось. А в эту войну? В первые ее недели? О чем кричали многие журналисты? О немецких парашютистах, высадившихся в тылу наших войск; о немецких мотоциклистах, прорвавшихся в наш тыл. Выбросилось три парашюти-

ста, а нам казалось — уже сотня, а то и целый полк. Об этом шумели, кричали везде. Прорвались пять немецких мотоциклистов в наш тыл, а мы кричали: «Окружены!» И в мнимое окружение «попадали» полк, дивизия, а то и армия.

У страха всегда глаза велики, — продолжал генерал. — Паника в наших рядах — первый помощник противника. Иногда, делая из мухи слона, мы своими баснями помогали сеять панику и в армии, и в тылу. Поэтому возьмите и на себя часть вины в неудачах и поражениях в первые недели войны. Роль печати велика во всех условиях жизни, а во время войны в особенности. Нехорошо приукрашивать победы, но еще хуже сеять панику, раздувать легенды о поражениях.

Позднее мы часто вспоминали эту беседу с К. К. Рокоссовским: она по-своему осветила роль военного журналиста и еще раз утвердила необходимость определенной тенденции при подборе фактов, взятых из окружающей нас действительности, при оценке событий, непременно такой оценке, чтобы она укрепляла боевой моральный дух читателей как в армии, так и в тылу.

Но вернемся еще раз к термину «активная оборона». В той же памятной беседе в сентябре 1941 года генерал К. К. Рокоссовский говорил:

— На рубеже шестнадцатой армии происходит нечто символическое: мы стоим в районе деревни Кровопусково. Деревня, можно сказать, ничейная. Чтобы не давать немцам покоя, мы ведем боевые действия, создаем впечатление, что возможна серьезная и большая операция именно на этом участке. Вольно или невольно немцы вынуждены держать здесь солидные силы и постоянно вводить их в бой. А схватки у нас

происходят как раз в деревне Кровопусково. Вот в этой-то деревне мы и пускаем немцам кровь.

В героические месяцы зимних сражений 1941—1942 года, получивших в военной истории название «Битва под Москвой», 16-я армия, которой командовал К. К. Рокоссовский, была на одном из самых горячих участков. В этой армии действовали и своими подвигами заслужили бессмертную славу третий кавалерийский корпус под командованием Л. М. Доватора, 316-я стрелковая дивизия, которой командовал И. В. Панфилов, прибывшая из Сибири 78-я стрелковая дивизия, в ту пору ею командовал полковник А. П. Белобородов, и многие-многие другие соединения и части.

Этот период в военной биографии К. К. Рокоссовского можно назвать решающим. Здесь, в битве под Москвой, как в дни труднейшей обороны, так и в дни разгрома немцев и наступления наших войск, проявился человеческий и полководческий характер будущего Маршала Советского Союза. Примечательно и то, что на это время судьба свела К. К. Рокоссовского с Г. К. Жуковым, назначенным командующим Западным фронтом. Оба генерала — командующий фронтом и командующий армией — не только хорошо знали друг друга, но и долгие годы дружили, хотя время часто их разлучало. Встретились они еще в 1924 году в Ленинграде, в высшей кавалерийской школе, где учились вместе с такими известными впоследствии военачальниками, как И. Х. Баграмян и А. И. Еременко. В тридцатые годы К. К. Рокоссовский в Минске командовал дивизией в кавалерийском корпусе С. К. Тимошенко, а Г. К. Жуков был командиром полка этой дивизии. Перед войной, уже генерал армии,

Г. К. Жуков командовал округом, а генерал-майор К. К. Рокоссовский — корпусом в том же округе.

Разные по характеру и темпераменту, оба талантливые и мужественные военачальники, они понимали друг друга с полуслова. О 16-й армии и ее кавалеристах и пехотинцах, оборонявших подступы к Москве и наносивших смертельные удары по врагу, сложены поэмы, написаны рассказы, повести и романы. Достаточно сослаться на одну книгу А. Бека «Волоколамское шоссе», обошедшую почти весь мир, чтобы понять, какие свершения питали вдохновение поэтов и прозаиков. Подвиг группы панфиловцев, ценою собственной жизни остановивших лавину немецких танков, был рожден сознанием: «За нами Москва, отступать больше некуда».

В недели битвы под Москвой я находился на Северо-Западном фронте и о подмосковных сражениях, в том числе и на рубежах 16-й армии, как и все, знал по газетным корреспонденциям и очеркам. И понимал, что очень горячо было на участке именно армии Рокоссовского, так как об этой армии писалось больше и чаще всего, а военный писатель или журналист всегда стремился попасть туда, где вершатся главные события дня.

Из многочисленных эпизодов, рассказанных в художественной и мемуарной литературе и относящихся в какой-то мере к характеристике поведения К. К. Рокоссовского в этот период войны, пожалуй, стоит кратко воспроизвести такой. В дни, когда на Клинском и Солнечногорском направлении создалась очень тяжелая обстановка, К. К. Рокоссовский, как правило, находился на самом сложном и опасном для судеб сражения участке. Он вместе с членом Военного совета

армии А. А. Лобачевым был в городе Клин, когда город уже горел, когда бой шел на его улицах, и покинул его только тогда, когда стало ясно, что удержать город невозможно.

Командующий и член Военного совета ехали к штабу армии в двух легковых автомашинах, которые сопровождал грузовик со счетверенной пулеметной установкой. Этот крохотный эскорт не раз попадал под обстрел вражеских танков. При переезде по льду через реку Сестра немцы разбомбили грузовик с пулеметом. Дальше командарм пробирался ночью уже без всякого сопровождения. Все, кто были в двух легковых автомобилях, каждую минуту, если это потребуется, были готовы вступить в бой. У командарма для этого кроме пистолета был еще автомат, подаренный тульскими рабочими, да две гранаты.

«В ночь на 25 ноября приехали наконец в штаб Рокоссовский и Лобачев, — писал после В. И. Казаков, командовавший артиллерией 16-й армии. — Оказывается, им удалось вырваться из Клина, когда по городу уже шли вражеские танки. Мы буквально накинулись на них с расспросами. Но Константин Константинович сразу же отразил нашу «атаку».

— Товарищи, не до сантиментов сейчас. Михаил Сергеевич (начальник штаба 16-й армии М. С. Малинин. — *Л. К.*), доложите обстановку на фронте.

Командующий был полон энергии и решимости. Глядя на него, трудно было догадаться, что последние двое суток он провел в беспрерывном нервном напряжении и передвижении, без сна. Выслушав доклад, Рокоссовский сказал, что обстановка еще сложнее, чем мы представляем. Помимо Клина и Солнечногорска, враг овладел Рогачевом. Его танки рвутся к каналу Москва — Волга.

Около трех часов ночи раздался телефонный звонок. Командарма по ВЧ вызывала Ставка Верховного Главнокомандующего. Спрашивали об обстановке в полосе нашей армии. Рокоссовский доложил обо всем, об отсутствии сплошного фронта и необходимых резервов. Мы узнали еще об одной беде. Гитлеровцы заняли Красную Поляну. Местные жители успели сообщить по телефону в Моссовет, что там устанавливаются дальнобойные орудия для обстрела столицы. Ставка требовала от армии держаться, обещала к утру прислать свежие силы.

У Рокоссовского к этому времени уже созрело решение. Он распорядился задержать на марше два батальона и артиллерийский полк, посланные под Солнечногорск, и направить их в район Черной Грязи, в шести километрах от Красной Поляны. Мне он приказал к рассвету направить в тот же район два пушечных артиллерийских полка резерва Верховного Главнокомандования и два-три дивизиона «катюш», которые должны были в семь часов 25 ноября открыть огонь по Красной Поляне».

Такова одна ночь командарма К. К. Рокоссовского. А сколько их было за годы войны!

В начале марта 1942 года, когда 16-я армия, развивая наступление, освободила город Сухиничи, К. К. Рокоссовский был тяжело ранен осколком снаряда, влетевшим в окно штаб-квартиры армии. Командарма доставили в Москву, в госпиталь. Это было его третье ранение за все годы службы в армии. А служить в армии сын варшавского железнодорожного машиниста начал еще в годы первой мировой войны. Первое пулевое ранение К. К. Рокоссовский получил в ночь на 7 ноября 1919 года, когда командовал отдельным Уральским кавалерийским дивизионом. Ди-

визион зашел в тыл колчаковцев, разгромил штаб омской группы колчаковцев, захватил много пленных. В минуту схватки с колчаковским генералом Воскресенским К. К. Рокоссовский был ранен в плечо. Не поздоровилось и командующему омской группой колчаковцев Воскресенскому. Рокоссовский нанес ему смертельный удар шашкой. Второе ранение — в июне 1921 года на границе с Монголией, когда 35-й кавалерийский полк, которым командовал К. К. Рокоссовский, атаковал унгерновскую конницу. Командир красного полка зарубил несколько вражеских всадников, но и сам был тяжело ранен в ногу. И вот — третий раз — через двадцать с лишним лет...

Первый год войны был годом тяжелых испытаний и невозвратимых потерь. Но этот год был и великой школой мужества. Совершенствовалось мастерство ведения современной войны. В боевых условиях армия воспитывала и выделяла из своей среды такие командные кадры, которые, встав во главе дивизий, корпусов, армий и фронтов, потом не только удержали свои войска перед полчищами гитлеровцев, но и наносили им удар за ударом, повели свои войска на Запад вплоть до победного окончания войны в Берлине.

В числе талантливых, проявивших себя с лучшей стороны военачальников был, конечно, и К. К. Рокоссовский. В июле 1942 года он был назначен командующим Брянским фронтом.

Гитлеровцы уже вышли к Дону, рвались к Волге. Шли упорные бои за Воронеж. Брянский фронт был призван прикрывать оголяющиеся тылы с севера и вести отвлекающие боевые действия, врезаясь во фланги немецких соединений, рвущихся на восток. Пехотинцы и танкисты соединений фронта проводили рейдовые операции в тыл противника. Хотя бои здесь

были и не решающие, но очень упорные и тяжелые. Здесь опять была во всем объеме применена тактика «активной обороны».

Однажды, вернувшись из передовых частей в деревню Нижний Ольшанец, что в пятнадцати километрах восточнее Ельца — там размещался штаб Брянского фронта, — я пришел к недавно принявшему командование фронтом К. К. Рокоссовскому. Часовые и адъютант меня знали, поэтому сразу пропустили в комнату, служившую кабинетом и спальней генерала. Я вошел без предупреждения. За столом генерала не было. Не было его и в постели. Я осмотрелся. Из-под кровати торчали ноги. А вскоре появился и сам генерал. Он, немного смущенный, поздоровался и сказал:

— Лежал, читал книгу. Задремал, и она вывалилась из рук. Между стеной и кроватью провалилась. Вот достал...

Очень хотелось узнать, какая это была книга. Пока шла наша беседа, я несколько раз поглядывал на нее. Это был томик одного из изданий «Academia», выходивших у нас в конце двадцатых и в начале тридцатых годов. Беседа наша, если можно так сказать, носила общий характер. Не помню сейчас, с чего начался разговор, но он касался поведения старшего командира. Константин Константинович, видимо, осмысливал сейчас свое положение в новом качестве, в качестве командующего фронтом, и перед знакомым журналистом излагал свои мысли. Вспоминая всякие события о начальном периоде битвы под Москвой, он говорил:

— Все мы, кто в те недели был на Западном фронте, тяжело переживали происходящее. В какой-то мере объяснимы были нервозность и излишняя горячность некоторых наших непосредственных начальников.

объяснимы, но оправдывать их не следует. Я глубоко убежден, что необходимым достоинством всякого начальника является выдержка, спокойствие и уважение к подчиненным. — Немного подумав, Константин Константинович, усилив голос, как бы этим подчеркнул: — На войне же в особенности! Поверьте старому солдату: человеку в бою нет ничего дороже сознания, что ему доверяют, в его силы верят...

Константин Константинович даже прошелся по комнате. Естественно, что я в это время встал. Командующий жестом усадил меня и продолжал развивать свою мысль:

— Высокая требовательность — важнейшая черта военачальника. Но она должна сочетаться с чуткостью к подчиненным, умением опираться на их ум и инициативу.

Как бы в подтверждение только что высказанным мыслям, Константин Константинович рассказал мне об одном разговоре с И. В. Сталиным. Время было очень тяжелым. Под превосходящими силами противника на одном участке части 16-й армии отступили. Вдруг ночью дежурный доложил, что командарма к ВЧ вызывает Сталин. Нетрудно было представить состояние К. К. Рокоссовского в те первые секунды, когда он, взяв телефонную трубку, стал докладывать Верховному Главнокомандующему обстановку на Истринском рубеже. Он сразу же попытался сказать, какие меры принимаются, но Сталин мягко остановил К. К. Рокоссовского, спросил, тяжело ли тут всем. «Да, конечно, очень тяжело, но...» — командарм замялся. «Нам все понятно. Прошу продержаться еще некоторое время, мы вам поможем», — сказал Сталин.

— Нужно ли вам пояснять, что такое внимание Верховного Главнокомандующего означало очень мно-

гое для тех, кому оно уделялось, — заключая рассказ о телефонном разговоре с И. В. Сталиным, сказал Константин Константинович. — А теплый, отеческий тон подбадривал, укреплял уверенность. Да, доверие — это огромная сила.

Расспросив, где я был и что видел, — а был я в войсках армии генерала Н. Е. Чибисова и наблюдал «активную оборону» в районе деревни Суриково в действии — наши части здорово поколошматили противника, — Рокоссовский посоветовал:

— Съездите в тринадцатую армию к Николаю Павловичу Пухову. Отличный генерал, энергичный, предприимчивый. У него хорошая военная подготовка и богатый практический опыт. Вот в его армию недавно прибыла стрелковая бригада, в ней много осужденных в свое время за разные уголовные преступления. Посмотрите, как воюет эта бригада.

Конечно, я поехал в 13-ю армию и в «беспокойную», как ее называли на фронте, бригаду. И был очень рад рекомендации. С 13-й армией я подружился надолго, а с командиром бригады, тогда полковником, А. А. Казаряном, впоследствии генерал-майором, Героем Советского Союза, фронтовые пути-дороги сводили меня не раз. Поездка в бригаду дала мне многое. Я увидел смелых, отчаянных воинов, которые не давали противнику передышки: то шли в разведку боем, то бесшумно подкапывались под окопы противника, заставляя его уступать позиции, то отправляли наиболее смелых в глубокую разведку и приволакивали с кляпами во рту немцев самых различных воинских званий. За доблесть и храбрость у многих воинов «беспокойной» бригады вскоре была снята судимость, а некоторые были удостоены правительственных наград. Об

увиденном в бригаде мне удалось в нескольких корреспонденциях рассказать в «Известиях». В одну из наших последующих встреч Рокоссовский заметил, словно бы продолжая начатый ранее разговор:

— Как видите, можно и нужно верить и тем, кто по каким-то причинам допустил нарушение закона. Если таким людям предоставить возможность искупить свою вину, то хорошее в них, их любовь к Родине, стремление вернуть доверие народа, прибавляет им и отваги.

Я понял тогда, что Константин Константинович не случайно посоветовал мне побывать в «беспокойной» бригаде: не раз высказанная им мысль о доброжелательности к людям является его жизненным кредо.

К. К. Рокоссовский командовал фронтами на многих решающих рубежах битвы с германским фашизмом.

В сентябре 1942 года, когда обстановка на Сталинградском направлении резко обострилась и противник развивал наступление в междуречье Дона и Волги, кое-где даже прорвался к Волге, К. К. Рокоссовский был вызван в Ставку Верховного Главнокомандования, ему приказали принять командование Сталинградским фронтом, который вскоре был переименован в Донской, а Юго-Западный стал называться Сталинградским.

Как всегда, К. К. Рокоссовский прежде всего побывал во вверенных ему войсках. Первоначальная задача Донского фронта сводилась к активной обороне: задержать врага на тех рубежах, на которых стоит Донской фронт, не дать ему ни на шаг продвинуться на север, а тем более вверх, по правому берегу Волги, контратаками изматывать силы врага, отвлекать их на себя, этим помогая частям, дерущимся в Сталинграде.

Как известно, впоследствии на воинов Донского фронта под командованием К. К. Рокоссовского выпала историческая миссия: принять участие в ноябрьском наступлении под Сталинградом, закончившемся полным окружением 6-й немецкой армии, а потом в разгроме и пленении окруженной армии немецкого фельдмаршала Паулюса. С этой задачей войска фронта справились отлично, а командовавший ими генерал Константин Константинович Рокоссовский снискал любовь и уважение не только в руководимых им войсках, но и во всей Красной Армии, у всего советского народа.

Мне довелось в то время быть и на Донском и Сталинградском фронтах, но встретиться с Константином Константиновичем не пришлось. В мемуарной литературе эта эпопея и роль в ней К. К. Рокоссовского показаны довольно широко и обстоятельно. Хочу напомнить некоторые эпизоды из книги Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова «На службе военной». Н. Н. Воронов был представителем Ставки Верховного Главнокомандования на Сталинградском направлении.

«Рано утром выехали на вновь организованный Донской фронт, — вспоминает Главный маршал артиллерии. — Над сражавшимся городом высоко в небо поднимались дым пожарищ, пыль от разрывов снарядов и бомб. Языки пламени, тучи черного пепла висели над городом, где шел непрерывный бой. Хотя мы и удалялись от города все дальше и дальше, он не терялся из виду. Больно щемило сердце. Еще острее мы, посланные сюда с заданием от Ставки, почувствовали свою ответственность за судьбу этого огромного города.

Донским фронтом командовал генерал К. К. Рокоссовский, которого я знал еще по Ленинградскому

округу, где он в 1936—1937 годах командовал кавалерийским корпусом... Он всегда мне нравился — я ценил его знания, умение руководить войсками, большой опыт, исключительную скромность и тактичность в обращении с людьми. Рокоссовский пользовался какой-то особой любовью у своих подчиненных.

Командующий Донским фронтом нарисовал нам правдивую и точную картину состояния противника...»

Нет нужды восстанавливать весь ход событий под Сталинградом. Важно подчеркнуть одну особенность полководческого подхода К. К. Рокоссовского к рассмотрению обстановки на фронте и принимаемым в связи с этим решениям, основанным на точном расчете. Начало операции «Кольцо», то есть ликвидации окруженной группировки немцев, Ставкой намечалось на 6 января 1943 года. «Утром 3 января ко мне зашли К. К. Рокоссовский и М. С. Малинин (начальник штаба фронта. — *Л. К.*), чтобы определить нашу реальную готовность к наступлению и сроки его начала, — вспоминает Н. Н. Воронов. — Опаздывали железнодорожные эшелоны и транспорты с оружием. Выяснилось, что мы не готовы начать операцию «Кольцо» в назначенный срок, 6 января. Наши подсчеты показывали, что нужно еще шесть-семь суток. Вместе с тем было ясно, что Ставка на это не пойдет. Решили просить перенести начало наступления хотя бы на четверо суток».

Ставка не приняла просьбу фронта, переданную И. В. Сталину при телефонном разговоре с ним. Тогда Н. Н. Воронов пишет донесение Верховному Главнокомандующему, в котором есть такая фраза: «Тов. Рокоссовский просит срок изменить на плюс четыре». Хотя это и противоречило наметкам и требованиям

Ставки, но, уважая мнение К. К. Рокоссовского, Сталин вынужден был утвердить предложение, и операция «Кольцо» началась не шестого, а десятого января 1943 года».

К. К. Рокоссовский был настойчив не только в просьбах, но и в требованиях о выполнении приказов. Опять же сошлюсь на Н. Н. Воронова. Он пишет:

«Утром 17 января собрались на совещание командующие соединениями и командиры частей, участвующих в операции на главном направлении, чтобы уточнить ближайшие и последующие задачи. К. К. Рокоссовский и я несколько запоздали на это совещание. Когда мы прибыли туда, оно было в разгаре.

В ближайшие минуты нам стало ясно, что все разговоры сводятся не к уточнению ближайших и последующих задач, а к тому, чтобы сделать остановку, собраться с силами и только через 2—3 суток вновь продолжать наступление. А ведь были нащупаны реальные бреши в обороне противника, в которые нужно немедленно вклиниться и продолжать наступление.

Мы с Константином Константиновичем удивленно переглянулись. Рокоссовский вскочил и предложил немедленно закончить подобные высказывания.

— Никаких остановок и пауз! Продолжать наступление! — сказал он горячо. — Не давать противнику опомниться, использовать образовавшиеся бреши, с помощью артиллерии, авиации и танков непрерывно громить противника! Вот на эту тему я согласен продолжать совещание.

В ответ мы услышали:

— Все ясно! Разрешите отправиться в войска!

Совещание на этом и закончилось».

Как видим, Константин Константинович Рокоссовский не подыгрывал подчиненным, не был либералом,

а, в нужную минуту и если на это вызывали обстоятельства, проявлял требовательность, а то и суровость.

Вспоминается эпизод, связанный с освобождением Малоархангельска.

Было это уже на Центральном фронте.

Второго февраля 1943 года сдались в плен остатки окруженной в районе Сталинграда немецкой группировки — всего было взято из «котла» свыше девяноста тысяч пленных, в том числе 2500 офицеров, 24 генерала во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Трофеи оказались огромными. Третьего февраля командующий Донским фронтом допрашивал пленных, разъезжал по полям минувших боев. На пятое февраля в Сталинграде готовился городской митинг в ознаменование одержанной победы. Рокоссовскому не довелось не только выступить, но даже присутствовать на этом митинге. Четвертого февраля он был вызван в Ставку. Штаб и управление Донского фронта переименовывались в Центральный. Нужно было спешно передислоцировать огромное штабное хозяйство из-под Сталинграда в район Ельца, куда также перебрасывались 21-я, 65-я общевойсковые и 16-я воздушная армии, входившие до этого в Донской фронт.

Перед командующим новым фронтом была поставлена задача: развернуться между Брянским и Воронежским фронтами, которые в это время развивали наступление, и нанести глубоко охватывающий удар во фланг и тыл орловской группировки врага.

Буквально через несколько дней штаб и управление Центрального фронта были уже в районе Ельца. 12 февраля правый сосед — Брянский фронт — перешел в наступление и кое-где продвинулся на тридцать километров, но вскоре вынужден был остановиться, в частности и на подступах к Малоархангельску.

13-я армия в ходе боев была передана Центральному фронту.

В это время я находился в частях 13-й армии. По глубоким снежным траншеям, проложенным в разных направлениях, мы на «эмке» пробрались в городок Малоархангельск и попали в штаб генерала А. А. Казаряна, командовавшего летом прошлого года «беспокойной» бригадой, недавно получившей значительное пополнение и переформированной в дивизию.

Дивизия накануне закончила бой за городок. Полки закреплялись на занятых рубежах, окапывались. Гостеприимный Андроник Абрамович Казарян угостил обедом. Обычно лаконичный в суждениях, за обедом он разговорился:

— Вы уже знаете, что наша тринадцатая армия с Брянского фронта передана на Центральный? А кто командует Центральным? Тоже знаете. Должен вам сказать, Рокоссовский необыкновенный человек! Человечище! Вот уже третьи сутки я нахожусь под впечатлением встречи с ним. Нашей дивизии и соседним — справа и слева — было приказано с ходу штурмом овладеть Малоархангельском. Городок оказался твердым орешком. Когда мы вышли к нему и начали штурм, немецкий гарнизон получил большие подкрепления, сюда были переброшены егерские батальоны. «Любой ценой удержать Малоархангельский плацдарм», — последовал приказ из Берлина. Почти две недели мы и наши соседи вели здесь тяжелые бои, а городок взять никак не могли. Командарм Николай Павлович Пухов и усовещивал, и ругался, звонил по телефону и сам несколько раз приезжал на наблюдательный пункт дивизии. А мы все топтались на месте. Точно в стену уперлись. Морально были подавлены: везде успехи, а у нас. . .

Вдруг мне позвонил командарм: «Немедленно выезжайте в штаб фронта. Будет вам взбучка по первое число». Созвонился с соседями, оба комдива — генералы. Поехали вместе. По пути в штаб фронта я им и говорю: «Я-то молодой генерал, вчерашний полковник, дадут мне полк, буду им командовать. А вам, заслуженным генералам, неудобно в полки-то идти, а?» День был вьюжный, морозный. В пути мы немного продрогли. Встретил нас член Военного совета и говорит: «Идите к командующему, он вас так согреет, что жарко будет!» Идем, молчим, углубились в тяжкие размышления. Адъютант, доложив, пригласил нас в комнату командующего. Рокоссовский вместе с начальником штаба Малининым работал над картой. Встретив нас взглядом, приказал адъютанту: «Организуйте чаек». Ну, думаю, вначале чайком побалует, а потом... А потом вот что было. Выпили мы чай, сидим, молчим. Командующий фронтом, закончив работу над картой, подходит к нам. Высокий, стройный, ну просто обаятельный. С первого взгляда я в него влюбился. Поздоровался с каждым за руку и спросил: «Догадываетесь, зачем я вас пригласил сюда?» — «Так точно», — отвечаем мы. «Раз знаете, то стоит ли тратить время на разговоры? Быстрее добирайтесь до своих частей. Завтра жду хороших сообщений. Счастливого пути!» Не знаю, как поступили командиры соседних дивизий, а я, не заезжая в штаб дивизии, сразу пошел в полки и батальоны, рассказал все, что мог рассказать, о встрече с К. К. Рокоссовским. Штурм Малоархангельска был назначен на шесть утра. А в полдень я уже находился здесь, подписывал рапорт командующему фронтом. Такой метод руководства войсками смело можно назвать классическим.

На Центральном фронте я провел много месяцев. Ходило немало рассказов о своеобразном характере К. К. Рокоссовского, о том, как он руководит войсками и подчиненными. Все углублялось и крепло уважение к нему в войсках. Но, как известно, полководческий талант проявляется не только в способах руководства войсками — это одна сторона таланта. Не менее важны точность и верность в оценке обстановки и умение быстро принять решения, вытекающие из этой обстановки; знание сил противника, его потенциала, ближайших и дальних намерений; умение предугадать возможный ход событий и подготовиться к ним, опередить врага, сорвать его замысел, а в ходе боевой операции умело распоряжаться резервами, оперативно менять направление ударов, совмещать риск с наименьшей затратой сил и средств, — одним словом, полководческий талант всеобъемлющ.

Все эти и многие другие качества, которые могут входить в понятие «полководческий талант», ярко проявил командовавший Центральным фронтом К. К. Рокоссовский — на Курской, или, как теперь ее зовут, на Огненной, дуге.

Часть войск, перебазированных с берегов Волги, и те соединения, которые были переданы Центральному фронту уже в феврале 1943 года, взаимодействуя с войсками соседних фронтов, перешли в наступление и глубоко вклинились в расположение войск противника, не встречая упорного сопротивления. Казалось бы, надо радоваться успеху, идти на запад, освобождая от фашистского ига города и села. От большого военачальника требуется здравый, во всех отношениях обоснованный расчет. Район расположения войск вновь созданного фронта не имел ни железных, ни шоссейных дорог, способных переместить огромную массу

боеприпасов, продовольствия, всего необходимого. Не подошли еще в этот район автомашины, и солдаты на себе переносили станковые пулеметы, противотанковые ружья и даже минометы, не говоря уже о ящиках с патронами. Артиллерия отстала на многие десятки километров. Все коммуникации неимоверно растянулись, а протяженность фронта перед соединениями росла с каждым днем. Противник стал перебрасывать сюда крупные силы с других фронтов. Назревала опасность окружения наших сил, глубоко вклинившихся в расположение противника.

Оценив обстановку, К. К. Рокоссовский доложил Верховному Главнокомандованию свои соображения: движение на запад приостановить, укрепиться на занятых рубежах. Предложение было принято, и фронт получил указание наносить удар уже на север, в сторону Орла. А во второй половине марта, в связи с тем, что подход войск и тылов фронта затянулся, не удалось наладить и снабжение уже действующих здесь войск. Ставка согласилась с докладом К. К. Рокоссовского о нецелесообразности продолжать наступление на Орел, приказав фронту перейти к обороне на занятых рубежах.

Время подтвердило, что это решение было единственно правильным.

Образовавшийся выступ так называемой Курской дуги достигал 200 километров. Войска Центрального и Воронежского фронтов с севера и юга должны были организовать оборону этой дуги. В апреле и мае 1943 года К. К. Рокоссовского можно было увидеть на различных участках дуги — в штабах армии, в дивизиях и полках. Он не только лично изучал обстановку, но и внимательно выслушивал соображения генералов, офицеров и солдат. В ту пору я не раз был свидетелем

бесед командующего фронтом в соединениях и частях 65-й и особенно 13-й армии, которая стояла на наиболее угрожаемом участке. Генерал выслушивал доклады комдивов, нередко присаживался в солдатский круг. Старый солдат, большевик с 1919 года, Константин Константинович был первоклассным политработником. Он умел вызывать людей на разговоры, умел слушать, охотно и обстоятельно отвечая на любые вопросы. После того как Рокоссовский уезжал из части или соединения, там еще несколько дней вспоминали о нем, из роты в роту передавались рассказы, в которых звучали любовь и восхищение командующим фронтом.

А командующий обдумывал все увиденное и услышанное в частях, изучал разведданные и другие материалы и приходил к выводу: летом 1943 года главный удар противник нанесет именно здесь, на Курской дуге, сюда он перебрасывает большие силы, здесь намеревается взять реванш за тяжелое поражение под Сталинградом. Эти свои выводы, подкрепленные соответствующими данными, К. К. Рокоссовский сообщил Ставке, высказав при этом мысль о настоятельной необходимости усиления войск Центрального фронта, а самое главное — о создании сильных резервов Верховного Главнокомандования восточнее Курска.

Как известно, еще до исторической битвы на Курской дуге был создан резервный фронт, названный потом Степным, который расположился в тылу Воронежского и Центрального фронтов. Центральный же фронт получил значительные подкрепления. Ему, как и Воронежскому фронту, было приказано основательно подготовить рубежи обороны на предполагаемых направлениях главного удара врага. Жизнь еще раз подтвердила правильность именно этого решения и опро-

вергла сторонников «горячих действий», предлагавших не ожидать наступления противника, а самим раньше нанести удар по врагу.

Теперь многое зависело от создания прочной обороны. Все данные говорили за то, что против войск Центрального фронта противник будет наносить удар с основания Орловского выступа, то есть против 48-й, 13-й и 70-й армий. Эти армии были усилены. На участке в 95 километров командование фронта сосредоточило 58 процентов всех стрелковых дивизий, 70 процентов артиллерии, 87 процентов танков и самоходно-артиллерийских орудий. Все остальные силы приходились на другие 211 километров фронта.

Одна концентрация крупных сил на относительно небольшом протяжении фронта еще не решала задачи. Нужно было построить прочные оборонительные рубежи на большую глубину. Константин Константинович на одном из совещаний сказал:

— Оборонительные рубежи мы строили и раньше. Но, как оказалось, или не там, где надо было их строить, или рубежи строили, а оборонительными средствами их не обеспечили. Выходит, зря рыли землю. Надо все рассчитать, выверить, все делать с толком.

Достаточно напомнить, что даже такая предварительная наметка — пять оборонительных полос глубиной в 120—130 километров — была превзойдена на наиболее важных направлениях, где построено шесть полос глубиной в 150—190 километров. За апрель — июнь войска Центрального фронта отрыли до пяти тысяч километров траншей и ходов сообщений, установили до 400 тысяч мин и фугасов. На участках 13-й и 70-й армий было выставлено 112 километров проволочных заграждений, создана мощная противотанковая оборона, глубина которой достигала 30—35 километров!

35 стволов орудий, в том числе десять противотанковых на километр фронта, — такова была здесь средняя плотность артиллерии, а в 13-й армии и того гуще.

Все это сочеталось с постоянными, особенно ночными, боевыми занятиями, большой политико-воспитательной подготовкой. Силы фронта нацеливались на решение двуединой задачи: во-первых, выстоять, во-вторых, немедленно перейти в контрнаступление, освободить Орел и другие города.

А чтобы одновременно готовиться к обороне и контрнаступлению, нужно не только иметь огромные силы, но и правильно их распределить и использовать в ходе боя. Здесь проверялось полководческое мастерство К. К. Рокоссовского. И, как мы знаем, оно полностью восторжествовало.

Сражение на Курской дуге началось утром 5 июля 1943 года. Ночью были захвачены немецкие саперы, которые показали, что немецкие войска заняли исходные позиции, в три часа утра перейдут в наступление.

Здесь уместно напомнить одно место из книги К. К. Рокоссовского «Солдатский долг» — к сожалению, единственной книги его мемуаров. Но и ее он не успел увидеть — подписал корректуру в предпоследний день жизни.

«До этого срока оставалось чуть больше часа, — пишет К. К. Рокоссовский. — Верить или не верить показаниям пленных? Если они говорят правду, надо уже начинать запланированную нами артиллерийскую контрподготовку, на которую выделялось до половины боевого комплекта снарядов и мин.

Времени на запрос Ставки не было, обстановка складывалась так, что промедление могло привести к тяжелым последствиям. Присутствовавший при этом представитель Ставки Г. К. Жуков, который прибыл

к нам накануне вечером, доверил решение этого вопроса мне.

Я считаю, что он сделал правильно. Это позволило мне немедленно дать распоряжение командующему артиллерией фронта об открытии огня.

В два часа двадцать минут 5 июля гром орудий разорвал предрассветную тишину, царившую над степью, над позициями обеих сторон, на обширном участке фронта южнее Орла.

Наша артиллерия открыла огонь в полосе 13-й и частично 48-й армии, где ожидался главный удар противника, как оказалось, всего за десять минут до начала его артподготовки.

На изготовившиеся к наступлению вражеские войска, на их батареи обрушили огонь свыше 500 орудий, 460 минометов и 100 реактивных установок М-13. В результате противник понес большие потери, особенно в артиллерии, нарушилась его система управления войсками.

Немецко-фашистские войска были застигнуты врасплох. Противник решил, что советская сторона сама переходит в наступление. Это, естественно, спутало его планы, внесло растерянность в ряды немецких солдат. Врагу потребовалось около двух часов, чтобы привести в порядок свои войска. Только в 4 часа 30 минут он смог начать артиллерийскую подготовку. Началась она ослабленными силами и неорганизованно».

Так была предупреждена немецкая операция «Цитадель» и предопределен ее полный крах.

Семь суток немцы беспрерывно атаковали наши войска на узком участке в направлении на Поныри. В бой вводились мощные колонны «тигров», на прорыв нашей обороны бросались новые и новые стрелковые части, пушки и минометы изрыгали

смертоносный металл, в воздухе беспрерывно висела вражеская авиация. На месте развернувшегося семидневного сражения, небывалого по плотности и насыщенности огня, пожалуй, не было ни одного квадратного метра земли, куда бы не упала бомба, снаряд или мина. Немцам не только не удалось вырваться на оперативный простор, они не смогли преодолеть многослойную нашу оборону и ценой больших потерь лишь сделали как бы вмятину в районе Понырей. К 12 июля мощность их атак явно стала ослабевать, силы подходили к концу. В сражении на Курской дуге, на ее северном участке, фашистская операция «Цитадель» пришла к своему критическому завершению. 48-я, 13-я и 70-я армии Центрального фронта, принявшие на себя главный удар немцев, контрударом отбросили противника на исходные позиции, а 15 июля все войска фронта, взаимодействуя с правыми соседями, перешли в наступление. 5 августа в Москве прогремел первый салют: войска Центрального, Брянского и Западного фронтов освободили Орел, а Воронежского и Степного — Белгород.

Классическая операция на Курской дуге с начала ее: оборона, сосредоточение сил, отражение мощного удара — до завершения: контрудар с переходом в общее широкое наступление — блестяще проведена командующим Центральным фронтом Константином Константиновичем Рокоссовским. Здесь была продемонстрирована зрелость его полководческого таланта.

В августе 1943 года, когда войска Центрального фронта, развивая наступление, выходили к Днепру, я, возвращаясь из передовых частей к фронтовому узлу связи, на одной из просек леса заметил машину командующего. Остановился. Хотел узнать у адъютанта, почему здесь находится К. К. Рокоссовский, но не успел

это сделать — из леса с двустволкой вышел Константин Константинович. Не дожидаясь моего вопроса, он сказал:

— Дела у нас идут неплохо, решил отдохнуть. А охота — лучший отдых.

Больше месяца, в самые горячие дни боев на Курской дуге, я не встречал К. К. Рокоссовского, хотя бывал в частях нередко, особенно в дивизиях 13-й армии, и теперь, беседуя с командующим, спросил:

— В какой армии вы больше всего находились в горячие дни обороны?

— Ни в какой! — ответил он. — Я не отлучался со своего командного пункта, а он находился на главном направлении — в районе 13-й армии. Фронт — это не армия. Командуя армией, я часто бывал на самом огненном пятачке событий. Командующему фронтом нужно знать и видеть общую картину боя, вовремя маневрировать силами. Но, конечно, не всегда и не во всех случаях командующий фронтом должен быть прикован к своему пункту. В зависимости от обстоятельств он должен быть там, откуда ему удобнее и лучше управлять войсками.

Передав двустволку адъютанту и этим как бы распрощавшись с часовым отдыхом, Константин Константинович продолжал беседу:

— Знаете, что особенно важно? Если в самую ответственную минуту боя командующий спокоен, если он не волнуется, не суетится, значит, в успехе операции он уверен, и эта уверенность передается подчиненным ему войскам.

И тут я вспомнил томик издательства «Academia», который читал К. К. Рокоссовский немногим более года тому назад, когда он только что принял командование Брянским фронтом. Действительно, изменилось

время, накопился опыт, усложнились задачи, иным стало ви́дение. Если под Ярцевом, в лесу возле Минского шоссе, присутствие генерала на переднем крае поднимало бойцов в атаку, то теперь спокойствие генерала Рокоссовского вселяло уверенность в успешном исходе фронтовой операции.

Полководческий талант проявляется не только в разработке операций, больших и малых, и в их боевом претворении, но и в умении прислушиваться к мнению ближайших помощников — опытных и образованных генералов, а порой изменять или совсем отменять их решения. Нередко приходилось так поступать и К. К. Рокоссовскому на длинном и сложном пути Великой Отечественной войны. Об этом, в частности, хорошо рассказано в интересной книге «В походах и в боях» бывшего командующего 65-й армией, генерала армии П. И. Батова, одного из старейших военачальников страны. П. И. Батов скрестил оружие с врагом и в годы гражданской войны, и в первых боях с фашизмом на полях Испании. Не раз отличились его войска и в годы Великой Отечественной войны. Его суждения глубоки и авторитетны.

В июле 1942 года, когда командовать Брянским фронтом прибыл К. К. Рокоссовский, П. И. Батов был помощником командующего по формированиям. Вот что он пишет:

«И солдаты, и генералы вздохнули с облегчением, почувствовав руку опытного организатора войск. С осени 1942 года и до конца войны мне довелось служить под начальством этого выдающегося полководца. Представьте, какая была удача получить возможность несколько месяцев поработать рядом с ним и его боевыми соратниками в самом штабе фронта.

Все работники управления считали службу с Константином Константиновичем Рокоссовским большой школой. Он не любил одиночества, стремился быть ближе к деятельности своего штаба. Чаще всего мы видели его у операторов или в рабочей комнате начальника штаба. Придет, расспросит, над чем товарищи работают, какие встречаются трудности, поможет советом, предложит обдумать то или другое положение. Все это создавало удивительно приятную рабочую атмосферу, когда не чувствовалось ни скованности, ни опасения высказать свое суждение, отличное от суждений старшего. Наоборот, каждому хотелось смелее думать, смелее действовать, смелее говорить. Одной из прекрасных черт командующего было то, что он в самых сложных условиях не только умел оценить полезную инициативу подчиненных, но и вызывал ее своей неутомимой энергией, требовательным и человечным обхождением с людьми. К этому нужно прибавить личное обаяние человека широких военных познаний и большой души. Строгая благородная внешность, подтянутость, выражение лица задумчивое, серьезное, с располагающей улыбкой в голубых, глубоко сидящих глазах. Преждевременные морщины на молодом лице и седина на висках говорили, что он перенес в жизни немало. Речь немногословна, движения сдержанные, но решительные. Предельно четок в формулировках боевых задач для подчиненных. Внимателен, общителен и прост».

Какой правдивый портрет, написанный с любовью и вдохновением!

Развивая наступление, начатое на Курской дуге, 65-я армия вышла на реку Сож. Седьмого октября 1943 года в штаб армии приехал начальник штаба Белорусского фронта М. С. Малинин (Центральный

фронт, выполнивший свою задачу, был переименован в Белорусский). Как правило, корректный и выдержанный, Малинин на этот раз выглядел усталым и раздраженным. Он набросился на командарма с упреками: «Вы завязли в болотах. Растянули тылы». Взволнованно стал доказывать необходимость изменения направления армии и обязательного для этого маневра. Убежденно изложив свой план, он горячо сказал: «На все двое суток». Речь шла о форсировании Днепра. П. И. Батов и его ближайшие помощники удивились неожиданной горячности начальника штаба фронта. Не согласившись с ним, они направили телеграмму командующему фронтом К. К. Рокоссовскому, в которой просили предоставить на подготовку к форсированию Днепра не двое, а шесть суток. Рокоссовский ответил сразу: «Согласен». А через несколько часов при встрече с Батовым сказал: «Противник организовал оборону. Будем действовать только наверняка».

К. К. Рокоссовскому были чужды влияния минутного настроения или горячности. Он шел навстречу наиболее разумным предложениям, если это было даже вразрез с мнением такого человека, как начальник штаба фронта.

Передовые части соединений фронта форсировали Днепр еще 22 сентября. 65-я армия должна была форсировать его на другом участке, и командующий фронтом определил задачи 65-й армии уже после форсирования Днепра, поэтому он и «остудил» несколько разгоряченное решение своего начштаба.

В ночь на 17 октября на участке 65-й армии через Днепр был наведен большегрузный мост, и по нему пошла не только пехота, но и артиллерия. За пять дней (с начала форсирования) вся 65-я армия пере-

шагнула за Днепр. Ночью 20 октября К. К. Рокоссовский прислал командарму 65-й армии шифровку, в которой приказывалось: временно, до получения резервов, прекратить наступление, стойко удерживать плацдарм, ввести все дивизии в первый эшелон, штабы и тылы подтянуть ближе к войскам, очистить на плацдарме районы сосредоточения для четырех-пяти новых корпусов.

Было ясно, что у командующего фронтом созрел план новой большой операции. Но какой? И в чем будет заключаться роль 65-й армии? На следующий день К. К. Рокоссовский приехал на КП 65-й армии и изложил задачу: после прорыва наддвинских позиций наступать вдоль западного берега Днепра, овладеть Речицей; вторым ударом на юго-запад, во взаимодействии с армией генерала Белова, занять города Василевичи и Калинковичи.

Павел Иванович Батов вспоминает, что, объяснив задачу, командующий фронтом сказал:

— Выполнив этот замысел, ваши войска выйдут в Полесье, лишат гомельскую группировку противника основных коммуникаций и поставят ее под угрозу окружения. Трех корпусов для решения такой задачи вам не хватит. Поэтому я передаю вам основные фронтовые резервы. Получите кавалерийские корпуса Крюкова и Константинова, девятый танковый корпус Бахарева, первый Донской танковый корпус Панова и артиллерийский корпус прорыва Игнатова. Все эти силы предназначены для развития успеха после прорыва наддвинских позиций и выхода на оперативный простор. Корпуса до начала наступления должны быть сосредоточены на плацдарме во втором эшелоне армии. На перегруппировку, по нашим подсчетам, потребуется около двадцати дней.

Рассказывая об этом эпизоде, П. И. Батов заключает: «Все резервы фронта — в действие, да еще в одну армию! Оригинальное решение. Рискнуть на такой шаг можно, когда способен предвидеть ход и исход событий и все рассчитать. К. К. Рокоссовский не придерживал резервы для страховки, если в том не было явной надобности. Искусство смелого маневра силами и средствами — несомненный признак полководческого таланта».

Можно привести еще немало примеров зрелости полководческого таланта К. К. Рокоссовского, когда он командовал Белорусским, а затем Вторым Белорусским фронтом, руководил мощными наступательными операциями, завершавшимися разгромом вражеских сил, — на белорусской и польской землях, в Восточной Пруссии и Померании, на Одере, вплоть до победного выхода на Эльбу. Каждая из этих операций вплетала еще одну ветвь в лавровый венок славы, которым наш народ венчал героев Великой Отечественной войны.

Заключительный, победный этап войны, войска, нацеленные непосредственно на Германию, вели командующие тремя фронтами: в центре — Первый Белорусский под командованием Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, справа — Второй Белорусский под командованием Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского и слева — Первый Украинский под командованием Маршала Советского Союза И. С. Конева. Три наиболее отличившихся и прославленных подвигами своих войск полководца шли во главе войск, наносивших немецкому фашизму последний смертельный удар. И это было символично. Как символичным был и приказ Верховного Главнокомандующего:

«В ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 года

в Москве, на Красной площади, парад войск действующей армии, Военно-Морского Флота и московского гарнизона — парад Победы. . .

Парад Победы принять моему заместителю Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову, командовать парадом Маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому».

После окончания войны К. К. Рокоссовский был главнокомандующим войсками группы войск, командующим войсками округа, заместителем министра обороны СССР. В 1949 году по просьбе польского правительства К. К. Рокоссовский уехал в Польшу, где был назначен министром национальной обороны и заместителем Председателя Совета Министров Польской республики. Ему было присвоено звание Маршала Польши.

В марте 1956 года я был в Польше. Был в частях Войска Польского, где от солдат, офицеров и генералов слышал слова любви и большого уважения, адресованные К. К. Рокоссовскому, под командованием которого советские войска освободили значительную часть территории Польши, лежащую между Бугом и Вислой, страну детства и юности Константина Константиновича, и способствовали воссоединению с Польшей ее прибалтийских земель; который ныне принес в польскую армию опыт и традиции Советской Армии.

Возвратившись из Польши, К. К. Рокоссовский был заместителем министра обороны СССР. Выдающийся военный деятель, талантливый полководец, К. К. Рокоссовский вел большую партийную и государственную работу. Он избирался делегатом нескольких партийных съездов, входил в состав ЦК КПСС, был депутатом Верховного Совета СССР многих созывов.

Последние годы жизни К. К. Рокоссовский тяжело болел. В начале шестидесятых годов я встретился с ним в подмосковном санатории «Барвиха», куда он приехал на кратковременный отдых после больницы. Вместе с отдыхающими он гулял по аллеям парка, оживленно беседовал, вспоминая боевые эпизоды времен гражданской и Великой Отечественной войн, рассказывал веселые истории.

Упорный труд, огромная работоспособность, большие знания, высокая общая культура, мужество и храбрость, помноженные на опыт и талант, снискали в нашем народе большое уважение и сердечную любовь к Константину Константиновичу. Кто-то из отдыхающих спросил, как он достиг этого, и Константин Константинович смущенно ответил:

— Я с двенадцати лет занимаюсь трудом, в армии с 1914 года, с самого начала первой мировой войны. В октябре 1917 года вступил в Красную гвардию. Прошел весь путь от солдата до маршала. Все, что есть у меня, все это дал мне упорный, повседневный труд. Я — сын славной Коммунистической партии и самый рядовой среди других.

В декабре 1966 года страна отметила семидесятилетие любимого полководца. Он прожил после этого около двух лет. 3 августа 1968 года К. К. Рокоссовский скончался после тяжелой продолжительной болезни. Коммунистическая партия, Советская Армия, весь советский народ с большой печалью переживали тяжелую утрату.

К Краснознаменному залу Центрального Дома Советской Армии имени М. В. Фрунзе на прощание с К. К. Рокоссовским, прославленным героем Великой Отечественной войны, шли солдаты, офицеры, генералы, рабочие, колхозники, ученые, артисты, писатели,

пионеры. На бархатных подушечках горели награды Родины, которыми был удостоен ее верный и талантливый сын: две Золотые Звезды Героя Советского Союза, орден Победы, семь орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, шесть орденов Красного Знамени, ордена Суворова I степени, Кутузова I степени и многие медали. К. К. Рокоссовский был удостоен медалями и орденами ряда социалистических стран и других государств.

Рядом со мной в траурном молчании перед гробом К. К. Рокоссовского шел седеющий, крепко сложенный мужчина со Звездой Героя Советского Союза на лацкане пиджака. Я не знал, кто он: пехотинец, летчик, артиллерист, танкист. Когда мы вышли из зала, он, не стесняясь, вытер повлажневшие глаза и сказал:

— Я всю войну был на фронте, но ни одного дня не был в войсках К. К. Рокоссовского. И все же для меня он, пожалуй, самый дорогой человек. Вы знаете, кто он? — народный маршал. Его любили все люди нашей страны.

В этих словах — глубокая правда. В них признательность К. К. Рокоссовскому, посвятившему жизнь и талант торжеству великого дела, которому он служил с первых дней Октябрьской революции.

1971

АДМИРАЛ ПИШЕТ МЕМУАРЫ...

По асфальтовой дорожке парка молодцеватой походкой шел мужчина. Высокий, стройный, с развернутыми плечами. Он шел навстречу нам. Мы уже знали всех обитателей небольшого санатория, а этого человека с гордо посаженной головой видели впервые. И когда он, поравнявшись с нами, поздоровался, почти у всех одновременно сорвался шепот:

— Кузнецов. . .

Впервые увидев человека, мы признали его, так как заочно были знакомы давно — со второй половины тридцатых годов. По фотографиям, которые изредка появлялись в ту пору в газетах. Тридцатисемилетний нарком Военно-Морского Флота СССР Николай Герасимович Кузнецов выглядел на них элегантным, отмеченным своеобразной флотской красотой.

Вернувшись с прогулки, я узнал, что Николай Герасимович разместился в соседней комнате. Вскорости я услыхал знакомую дробь мягких ударов пишущей машинки. Не трудно было предположить, что адмирал в отставке, бывший нарком, пишет мемуары.

— Пока нет, — ответил Николай Герасимович, когда я высказал ему свою догадку. — Заканчиваю перевод с английского сборника «Война на море». Прежде

чем засесть за мемуары, мне нужно поднатореть в литературном ремесле. Уж если писать мемуары, то самому от первого до последнего слова. Если человек не в состоянии грамотно и интересно выразить свою мысль, пусть не издает мемуаров. За это его никто не осудит. Скорее осудят того, кто в нашем социалистическом обществе выпускает книги, в которых автор, обозначенный на обложке, не написал ни одной строчки, за него трудились или люди, ему подчиненные, или «спецы», набившие руку в литературной записи.

Мне импонировала горячность и прямота суждений Николая Герасимовича по этому, давно наболевшему в издательском деле вопросу. И я не переставал любопытствовать:

— Почему вы думаете, что путь к написанию мемуаров лежит через довольно ухабистые тропинки переводчика?

— Конечно, не только через переводы, — ответил Кузнецов и, показав мне только что сверстанную книгу Джейнса Кольверта «Подо льдом к полюсу», продолжал: — Когда я переводил вот эту книгу, то, естественно, старался не только в точности передать ее содержание, но и проследить за тем, как она строится, как в ней развертывается мысль автора, как выписываются образы людей, действующих в походе, — иначе говоря, переводя книгу, я стремился получить необходимый литературный навык.

Я не знал биографии Николая Герасимовича и поэтому задал ему и такой вопрос:

— Английский вы изучали в военно-морской академии?

— В академии я изучал французский и немецкий, — улыбнулся Николай Герасимович. — Английским занялся, уже будучи в отставке, в 1956 году,

когда мне стукнуло почти пятьдесят пять лет. Три года ушло, пока одолел. Теперь, вот видите, не только читаю, но и перевожу с английского.

— Немецкий в годы войны пришелся, видимо, как раз кстати, — заметил я. — А французский, он тоже пригодился?

— Еще как! — с горячностью отозвался собеседник. — Я был в Испании в качестве советника правительства Народного фронта по военно-морским делам. Конечно же на первых порах, пока я осваивал испанский, меня выручал французский.

И опять же я не преминул поинтересоваться:

— И даже о своей интереснейшей миссии в Испании вы пока тоже ничего не написали?

— Конечно же нет! Об участии наших товарищей в гражданской войне в Испании не было принято говорить вообще, а тем более писать, да еще в подробностях, — с горечью заметил Николай Герасимович. — Но первые шаги на поприще мемуариста будут сделаны именно об этом периоде моей жизни. Уже собрал необходимые документы. Возможно, что в конце нынешнего отдыха и начну писать.

Как-то случалось так, что в следующие два года мы с Николаем Герасимовичем попадали в один и тот же санаторий в одно и то же время и почему-то в соседние комнаты. Я уже не только слышал перестук пишущей машинки в комнате соседа, но и, по любезному разрешению автора, знакомился со многими страницами написанного им.

Да, первый большой мемуарный очерк Н. Г. Кузнецова был посвящен историческим событиям в Испании. В конце июля 1936 года командира крейсера «Червона Украина», базировавшегося в Севастополе, вызвали в Москву. А 23 августа, облачившись в граж-

данский костюм, Николай Герасимович покинул нашу столицу и держал путь в Испанию, события в которой были в центре внимания всего мира и глубоко волновали советских людей. В Испании давался первый открытый бой фашизму. Почти целый год провел Н. Г. Кузнецов у республиканцев. Его рассказ об этом увлекал читателя не только новизной материала, но и выразительным письмом, умением зримо показать гордость духа республиканцев, силу революционного долга и интернациональной дружбы.

Уже по рукописи мемуаров об Испании, впоследствии в сокращенном виде ставшей главой «Кампанеро Русо» книги «Накануне», нетрудно было заметить, что работа над переводами для Николая Герасимовича не пропала даром. Он не только «поднаторел» в литературном слоге, но двумя-тремя штрихами лепил внешний портрет персонажей, с которыми встречался автор, будь то испанец, русский или кто-то из интернационалистов, приехавших на Пиренеи по зову сердца бороться с фашизмом. (Замечу в скобках: события в Испании, в которых участвовал Н. Г. Кузнецов, были настолько значительны, память и документы, которыми располагал Николай Герасимович, — уникальны, что он решил первоначальный очерк об Испании обогатить новыми данными. «Обогащение» превратилось в книгу «На далеком меридиане», которая вышла в издательстве «Наука» в 1971 году и, как все книги Н. Г. Кузнецова, немедленно исчезла с книжных прилавков.)

В 1965 году Николай Герасимович заканчивал работу над книгой «Накануне», печатавшейся в журнале «Октябрь». Эта книга обратила на себя внимание многими качествами. Написана она хорошим, точным языком, населена интереснейшими людьми, в окружении

которых прошла жизнь и работа автора во флоте начиная с осени 1919 года до первых дней второй мировой войны.

Автор «Накануне» весьма скромен. В отличие от некоторых мемуаристов, пытающихся в первую очередь подчеркнуть влияние и значение собственной персоны в тех или иных событиях, Н. Г. Кузнецов пишет не о себе, а об обстановке, о людях, окружавших его, о том, как у одних он учился, как другие помогали ему.

Но, пожалуй, самая главная особенность книги «Накануне» — откровенность и принципиальность оценки исторических событий и роли некоторых политических и государственных деятелей и военных руководителей в этих событиях.

На последних страницах «Накануне» Н. Г. Кузнецов убедительно высмеивает легковесную легенду о том, что Верховный Главнокомандующий якобы руководил военными событиями по глобусу. Хотя Военно-Морской Флот нашей страны в первый день войны и оказался в состоянии полной боевой готовности и не понес никаких потерь, автор книги «Накануне» указывает на некоторые существенные ошибки, стоившие впоследствии флоту и стране дорого. Но тут же он пишет: «В ту пору у нас обнаружилось немало и других ошибок, так что не станем списывать все за счет «неправильной оценки положения Сталиным. Ему свое, нам — свое».

Выражая стремление глубоко проанализировать причины ошибок и неудач в первые дни войны, Н. Г. Кузнецов в «Накануне» пишет: «Эти ошибки лежат отнюдь не на совести людей, переживших войну и сохранивших в душе священную память о тех, кто

не вернулся домой. Эти ошибки в значительной степени на нашей совести, на совести руководителей всех степеней. И чтобы они не повторились, их следует не замалчивать, не перекладывать на души умерших, а мужественно, честно признаться в них. Ибо повторение прошлого будет называться уже преступлением».

Эти слова, стоящие почти в самом конце книги «Накануне», вышедшей в свет в Воениздате в конце 1966 года, не простая декларация ради красного словца. Через два года, в 8, 9 и 12-м номерах журнала «Октябрь», мы прочитали новую книгу мемуаров Н. Г. Кузнецова — «Годы войны». В ней дан широкий обзор и разбор роли и места Военно-Морского Флота на всех этапах минувшей войны, показаны ошибки и вскрыты их причины.

«Годы войны» — взволнованный рассказ об орлином племени моряков, дравшихся с озверелым врагом на морях, омывающих нашу Родину, о моряках, прославивших себя в тяжелые дни обороны Ленинграда, Севастополя, Одессы, ставших грозой для немецких оккупантов на сухопутных полях сражений на всех фронтах от Баренцева до Черного моря. Новая книга, как и «Накануне», написана с подкупающей откровенностью, в ней немало страниц с размышлениями автора, с его думами о тех или других событиях, о людях, с которыми ему приходилось встречаться и работать в годы войны, в том числе и о И. В. Сталине.

Мемуары Н. Г. Кузнецова, как я уже заметил, не залеживаются на прилавках книжных магазинов и на полках библиотек. Номера журнала «Октябрь», в которых печатались «Годы войны», исчезали из киосков Союзпечати за один день. Такой же оказалась и судьба книги о годах войны, которая в несколько переработанном виде вышла в 1971 году в Воениздате под

названием «На флотах боевая тревога» тиражом в 200 000 экземпляров.

В чем секрет успеха мемуаров Николая Герасимовича? Дать на этот вопрос односложный ответ нельзя. В самом деле: в мемуарах бывшего наркома нет никаких сенсаций, нет ошеломляющего читателя раскрытия тайн или впервые обнародованных секретных документов.

Прежде всего, привлекает внимание читателя в мемуарах Н. Г. Кузнецова судьба самого автора, судьба, выражающая характерные черты советского общества. Двенадцатилетний крестьянский мальчишка из деревни Медведки, что на берегу речушки Ухтомки, впадающей в Северную Двину, попал на рыбачью шхуну и вышел в Белое море. «Может быть, именно тогда во мне зародилось желание стать моряком?» — как бы спрашивая себя, пишет Николай Герасимович в «Накануне» и через несколько строк отвечает: «Моя мечта навсегда связать свою судьбу с флотом — обрела реальность».

Но прежде чем мечта стала явью, Николаю Кузнецову пришлось пройти долгий и сложный путь. Оставшись без отца, двенадцатилетний паренек из Медведок подался в Архангельск.

Кем мог стать паренек с трехклассным образованием церковноприходской школы? Рассыльным, или, как теперь говорят, курьером. И только через пять годков уже семнадцатилетний Николай Кузнецов добровольцем идет в Северо-Двинскую флотилию. Но прежде чем мечте стать ощутимой, жизненной явью, комсомольцу Кузнецову нужно было окончить подготовительную школу, а потом, в 1922 году, стать курсантом военно-морского училища в Петрограде. Так опреде-

лялся жизненный путь будущего наркома Военно-Морского Флота.

Когда в санатории Николай Герасимович писал «Накануне» и в редкие часы выходил на прогулку, я пытался как можно больше узнать о нем и докучал ему своими расспросами. Но удивительное дело: отвечая на мои вопросы, Н. Г. Кузнецов говорил о сослуживцах по флоту, о тех, кто помогал строить новые корабли, оснащать флот передовой техникой. Я услышал много важного о роли А. А. Жданова в создании Военно-Морского Флота — на него было возложено шефство над переоснащением флота. Николай Герасимович охотно вспоминал о всяких исторических встречах и событиях, рассказывал об этом образно, увлекательно. О себе же он или совсем умалчивал, или говорил в шутливом, даже ироническом плане. Лишь бы избежать разговора о себе, он часами мог рассказывать о штурмане Дмитриеве, о командире соединения флота Рале, которых считает своими наставниками. И, только прочитав книгу «Накануне», я получил ответы на некоторые вопросы, которыми донимал Николая Герасимовича. На некоторые, но далеко не на все.

Не трудно было заметить и еще одно качество характера Николая Герасимовича. Герой Советского Союза, адмирал в отставке, бывший нарком, человек, не раз избиравшийся депутатом Верховного Совета СССР и в члены ЦК КПСС, был удивительно одинаков со всеми окружавшими его, внимателен, приветлив, прост. Люди, молодые по возрасту, не раз гулявшие с Н. Г. Кузнецовым по парку санатория или игравшие с ним в домино, даже и не представляли себе, что их собеседник или партнер по домино, так увлекательно рассказывавший всякие морские истории, и есть тот

самый человек, который стоял во главе нашего Военно-Морского Флота все годы войны, что это тот самый человек, на жизненный путь которого можно смотреть с восхищением.

Позднее я понял: для Н. Г. Кузнецова руководящим началом во всем и во все времена жизни было и остается одно правило — не положение, не время, не окружающая обстановка определяют характер и привычки человека, его симпатии или антипатии. Его оценки того или иного жизненного процесса, места и роли той или иной личности в этом процессе есть результат долгих наблюдений и изучений, прочно осевших в сознании, и они, эти оценки, остаются неизменными, независимо от нынешнего должностного положения той или иной личности. Это-то, как мне показалось, и составляет цельность характера и натуры автора мемуаров «Накануне» и «На флотах боевая тревога».

Одним из выражений этих черт характера Н. Г. Кузнецова были и его острые полемические споры с авторами некоторых мемуаров о Великой Отечественной войне, поспешивших рассматривать события, ставшие переломными в жизни нашей страны и всего человечества, не через призму исторических фактов и свершений, а под влиянием некоторых волевых оценок, опирающихся не на научную, а лишь на субъективную оценку событий и личностей. Многие мысли, которые высказывал Николай Герасимович и тогда, в первой половине шестидесятых годов, были результатом объективной оценки всего того, что он знал, видел и пережил. Важно заметить и то, что в его оценках совершенно отсутствует личный элемент, в частности и такой: от высокой должности наркома Н. Г. Кузнецов был освобожден при жизни И. В. Сталина.

Позиция Николая Герасимовича, не раз высказанная им в спорах еще тогда, ясно и отчетливо выражена особенно на заключительных страницах мемуаров «Годы войны», публиковавшихся в журнале «Октябрь». Позволю себе процитировать два отрывка:

«То, что во главе ГКО и Ставки находился И. В. Сталин, его авторитет, железная воля во многом определили систему работы этих органов. Сосредоточение огромной власти в одних руках, авторитет руководителя и его воля — необходимое условие для успешного ведения войны. Но когда я говорю о роли И. В. Сталина, его авторитете и сильной воле, то, конечно, далек от мысли приписывать только ему одному решающую роль в преодолении всех трудностей и в достижении окончательной победы.

Патриотизм и духовное превосходство над противником, воспитанные нашей партией в каждом коммунисте, в каждом советском человеке, принесли свои плоды, когда Родина подверглась суровому испытанию. Нельзя забывать о роли партии, когда мы отдаем должное любому крупному политическому деятелю или военачальнику, не исключая и И. В. Сталина».

И еще:

«В письмах, полученных мною, я заметил: одни читатели обращают внимание лишь на положительные оценки И. В. Сталина и, как мне кажется, готовы забыть все остальное. Другие, по-моему с удовольствием, прочитали места, где речь идет, главным образом, о недостатках, которые проявились при подготовке к войне, и как бы не заметили всего, что сделано Верховным Главнокомандующим для нашей победы. Это — крайности. Истина лежит где-то посредине».

Неизменность позиции, выраженная в мемуарах Н. Г. Кузнецова, вызывает уважение к автору при лю-

бых обсуждениях, когда речь заходит об уроках минувшей войны, будь то противник или сторонник этой позиции.

В марте 1967 года мне довелось присутствовать на конференции читателей, обсуждавших книгу Николая Герасимовича Кузнецова «Накануне». Конференцию проводил Совет военно-научного общества при Центральном Доме Советской Армии. Устроители полагали обсудить книгу в помещении лекционного зала. Но выяснилось, что этот довольно большой зал не сможет вместить всех читателей, пришедших на конференцию. Пришлось подняться в главный Краснознаменный зал. Среди людей, заполнивших его, я видел генералов и адмиралов, у половины сидевших в зале кителя и пиджаки украшали многие ряды орденских планок. Когда Николай Герасимович появился на сцене, в зале раздались долгие рукоплескания. И я понял: слова и мысли автора мемуаров дошли до сердца каждого, кто пришел сюда, в этот зал. Они, эти слова и мысли, вызвали реакцию глубокого уважения к их автору.

Такая реакция — самая высокая награда пишущему. И мне приятно, что две книги мемуаров о войне Н. Г. Кузнецов прислал мне с дарственными надписями на память о наших встречах.

1971

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЮНОСТЬ

Эту повесть о юности своей и моего поколения, о людях далекого села, затерявшегося в лесах за северными увалами необъятной России, я писал много лет. Каждый ее отрывок создавался самостоятельно и даже публиковался то в журнале, то в газете, начиная от районной, кончая «Известиями» и «Правдой». Все написанное я собрал «под одну крышу», внес небольшие добавления и кое-что сократил, сохранив основу и дату первонаписания.

Удивительное время юности нашего поколения, призванного вместо разрушенного мира: человек человеку — враг — строить новый мир: человек человеку — друг! Все, что тут написано, конечно, индивидуализировано и по месту действия и по персонажам. Но все документально. В небольшом жизненном островке, как мне думается, видна страна и жизнь тех далеких революционных, полных романтики лет.

СЕЛО ЛЕСНОЙ ОКРУГИ

Село Вознесенье-Вохма (так оно называлось до 1924 года) упряталось за северными увалами Среднерусской возвышенности, в лесах, вдали от железной

дороги. Заселение здешних мест относят к XVI веку, когда в сплошных лесах по берегам реки Вохма возникли Тихон Монастырь, села Спасское и Троица. Трудно понять и объяснить, что двигало теми, кто заложил первые дома села Вознесенье-Вохма. Основатели упрятали его в яме между тремя горами: Бельковской, Жаровской и Тарасовской. В яме укрывались от внешнего мира не только дома и каменные торговые ряды, но и две церкви.

Во второй половине XIX века село В.-Вохма стало экономическим и торговым центром большой лесной округи. Земли здесь хватало: крестьяне расчищали лес, селились, как умели, жили без помещиков, вели почти натуральное хозяйство. В село понаехали купцы и торговцы из Ветлуги, Великого Устюга, Вятки и Вологды и, что называется, стали управлять округой, «опекать» крестьянство: за бесценок скупать лен, рожь, овес и втридорога продавать мануфактуру, железо-скобяные товары, соль, селедку. Появились в селе и свои купчишки, по богатству и умению обирать мужика они становились вровень с приезжими торговцами.

Каменные торговые ряды, что возвышались в центре села, перед революцией стали уже тесны, строились новые лавки и магазины. Купец Таракановский, имевший в Вохме несколько мануфактурных магазинов, как спрут, раскинул сеть своих лавок и палаток в десятках окрестных сел. Плотников ежегодно расширял пекарню, возы с плотниковскими ситным и баранками расходились по всей лесной округе. Купец Агеев, чей каменный дом в центре села, так разбогател, что в начале первой мировой войны открыл в селе «Банк Агеева» с капиталом в миллион рублей. Это был один

из немногих банков, возникших в селах России. Год от года «развивали» свои дела и богатели Гречухины, Казаковы, Бессудновы, Бояриновы и другие.

Село Вохма стало центром больших базаров и ярмарок. Торговцы и покупатели приезжали за многие десятки и сотни верст. Особенно славились две ярмарки: Алексеевская — весной и Семеновская — осенью. Дощатые и брезентовые балаганы растягивались во всю длину главной улицы, а тянулась она на три версты. На конскую ярмарку приезжали скупщики лошадей из многих городов. Сотни, тысячи лошадей покупали барышники на этих ярмарках. Перекупщики угоняли длинные вереницы лошадей, привязанных к хвосту впереди идущей.

Славились в ту пору вохомские льны, их закупали местные и приезжие прасолы, имевшие контракты с английскими фирмами, ценившими льны лесной округи.

Раз село торговое, то приволье и для священников. В центре села большая церковь с пятисотпудовым главным колоколом, басовитый голос которого разносился на утренних и вечерних зорях на десятки верст. На кладбище — вторая, тоже каменная, церковь. Село — центр благочиния. Был заложен собор, первая мировая война задержала сооружение, а революция поставила крест на его строительстве.

Двухэтажные деревянные и каменные особняки заправил села и покосившиеся лачуги сельской голытьбы. Приказчики и половые трактиров, рабочие мельниц, пекарни и маслобойни, сторожа лабазов, прачки, возчики, грузчики, кухарки, горничные, маляры — сотни людей работали на богатевших хозяев, питались крохами с их стола. Голытьба трудилась, не зная отдыха. Единственный отец и судья — хозяин. Становой

пристав, урядник и стражники — все они охраняли покой и права хозяина на грабеж.

Запомнились не только шумные и пьяные базары и ярмарки, но и похмелье после них. Похмелье это страшное. Десятки бесчувственных тел, валявшихся под торговыми рядами и в зловонных канавах, обрамлявших немощеные, в рытвинах и ухабах улицы села. И дикие крики «Караул!», «Убили!», звучавшие как неистовый вопль из царства темноты: смертельные драки были непременным спутником базаров и ярмарок.

Сельский рабочий люд, неграмотный и угрюмый из-за безысходности своего существования, работал до упаду и пил до бесчувствия. Жил в селе маляр, большой мастер своего дела. Он золотил купола церквей и отделывал внутренние покои домов купцов. Зарабатывал маляр огромные деньги. Черноволосый, с густой бородой, в престольные дни он выходил к торговым рядам в сюртуке, шляпе-цилиндре, лайковых перчатках, помахивая тростью со слоновым набалдашником. И вдруг наступало время, маляр, в селе почему-то его звали не иначе как Петруша Косенок, начинал пить. Да как пить! День, два, неделю. Пил до тех пор, пока не спускал все заработанное и накопленное, пока не оказывался в канаве в одних подштанниках, без сознания и всеми забытый.

В конце шестнадцатого года, в трескучий декабрьский мороз, Петрушу Косенка нашли замерзшим недалеко от трактира.

Сколько было таких страшных судеб в нашем селе!

Село Вохма оказалось на перекрестке больших гужевых дорог: Великий Устюг — через Вохму и Ветлугу — на Нижний Новгород; Кинешма — Вохма, а отсюда на В. Устюг и Вятку. Тракт Галич — Кологрив —

Вохма — Орлов (ныне Халтурин) — Вятка стал одним из ответвлений знаменитого сибирского каторжного тракта. По этим путям-дорогам в село шли не только товары, но и люди, приносившие с собой луч света, новые идеи, растекавшиеся по Руси.

В начале нынешнего века село Вохма стало не только пересыльным пунктом осужденных за противосамодержавные мысли и действия, но и местом ссылки. Естественно, что нет моих личных впечатлений о политических ссыльных в родном селе, но по рассказам матери, стиравшей кое у кого из них, знаю, что это были «люди обходительные, до книг и газет охочие». Чтобы составить представление о нашем селе в годы 1905—1906—1907, приведу отрывки из книги старого большевика К. Гандурина «Эпизоды подполья», вышедшей вторым изданием в Государственном издательстве Ивановской области в 1937 году; автор точно живописует жизнь села и крестьянства того времени:

«Пришли мы в село Вознесенье-Вохму накануне Нового года, поздно вечером. Село залегло в котловине. Мы увидели двухэтажные дома, магазины...

Возле села на холмах расположились деревеньки. Светила луна, черные избенки кособочились на холмах. Казалось, что на снегу закоченело стадо.

Конвойные привели нас в «стан»: канцелярию станового пристава... Но пристава на квартире не было.

На улице нас дожидались товарищи, прибывшие сюда на несколько дней раньше, чем мы. Они приготовили для нас ночлеги...

Пристав явился под утро. Это был лысый, грузный чернобородый человек; мундир сидел на нем нескладно, мешком, был покрыт сальными пятнами. Он был похож на торговца-лабазника, неуклюже переставлял

ноги, чесал жирной красной лапой то лысину, то багровую шею. От него сильно пахло винным перегаром.

Пристав, должно быть, хотел, чтобы мы думали о нем как о человеке любезном и образованном. Он начал с извинения:

— Извините, господа, задержал. Новый год, знаете. . . глушь. . . скука. Был в обществе. Общество здесь, конечно, неинтересное. Но скука, скука.

. . .Взвалив на плечи багаж, уходим из канцелярии. Первые два-три дня мы искали квартиры. Кулаки-торговцы, владельцы вместительных, прочно построенных домов, держались по отношению к нам недоверчиво, высокомерно и не желали сдавать нам комнат, но их приказчики, мелкие торговцы, сдавали нам комнаты очень охотно и вообще встретили нас довольно радушно. Мы были первой партией политических, водворенной на жительство в с. Вознесенье-Вохма. Некулацкая часть населения проявила к нам самый живой интерес и отнеслась очень сочувственно. В особенности хорошо отнеслись к нам крестьяне деревни Бельково, которая находилась недалеко от села. В этой деревне поселились товарищи, прибывшие из Орлова раньше нас; человек пять из нашей партии поселились там же.

Все население, с которым мы соприкасались, — домохозяева, приказчики в лавках, служащие на почте, точно сговорясь, называли нас не «ссыльными», а «посланными». Сначала это казалось нам странным и непонятным. Потом мы поняли, что нас не хотят смешивать с административно-ссыльными уголовными, не хотят оскорблять одинаковым наименованием. Ссыльные уголовные в селе имелись; было их немного — человек пять—семь, но неприятности населению они коекакие причиняли.

В селе мы нашли квартиру — нижний этаж дома, принадлежащего солидному приказчику, доверенному богатого купца-торговца. . . Поселились мы компанией человек в десять. . . Мы оргнизовали общежитие-коммуну; женщины по очереди готовили обед, мы кололи дрова, мыли посуду.

. . .Вскоре у нас сформировалась крепкая большевистская группа, в которую вошли почти все ссыльные рабочие и несколько человек крестьян. Начались систематические занятия по изучению истории революционного движения и программы партии. Эти занятия посещались крестьянами; посещались собрания нашей группы и учителями и учительницами сельской школы.

Однажды на собрание явились стражники и переписали всех присутствующих на нем местных жителей. Становой пристав стал таскать их на допрос, повел следствие. Следствие он прекратил, но крестьян напугал: собрания они перестали посещать. Однако связи с крестьянами не порвались. У нас появились книги, мы стали получать нелегальную литературу. Постепенно завязались связи с революционно настроенными крестьянами почти всех окрестных деревень, организовались небольшие крестьянские кружки, — наладилась подпольная большевистская организация, позже связавшаяся с Вологодской партийной организацией. . . (Тогда село Вознесенье-Вохма и Вознесенская волость входили в Никольский уезд, Вологодской губернии. — *Л. К.*)

Месяца через два в Вознесенье-Вохме и соседних деревнях жило уже больше сотни политических ссыльных. Большевистская группа пополнилась опытными, политически подготовленными товарищами, связи с крестьянами упрочились. . .

Наступила весна. Первые слабые дыхания весны замораживали свирепые северные ветры, но солнце грело, обнажало землю, хлынули потоки воды, в полях повисли голубые туманы, стала пробиваться зелень, прилетели скворцы, из лесов потянуло смолистым запахом хвои. В небе ярко рдели вечерние зори, кричали перелетные птицы. Весна казалась мне каким-то пышным праздником, полным радостного ликования.

Но ликование расцветающей природы для крестьян было призывом к суровому труду. В полях пахали; рослые жилистые мужики и бабы, босые, перепачканные навозом и землей, сгибались над прадедовской сохой, стараясь поглубже втиснуть сошник в землю. Они понукали лошадей, ругались, кричали, и, хотя жары еще не было, их лица обильно орошал пахучий и едкий трудовой пот. И не замечали они красоты вечерних зорь. Измученные трудом, крестьяне, поздно вернувшись с работы и наскоро поужинав, ложились спать.

Первого мая на берегу реки Вохмы мы устроили массовку. Был вечер. На берегу торжественно и строго стояли неподвижные сосны и ели. Солнце, медленно опустившееся за резные темные верхушки леса, залило небо потоками алого огня. Рдели и цвели багровые облака; они отражались в реке, — вода излучала красный свет.

Толпа ссыльных собралась на поляне. Пришли крестьяне — сплавщики леса — бородатые, в синих холщовых кафтанах, подпоясанные веревками, в лаптях; приплыли на лодках рыбаки — седые лохматые старички в зимних заячьих шапках. Открылся митинг».

Большинство жителей села и волости были неграмотными. Политические ссыльные заронили в их умы стремление к познанию истины и жизни. Нельзя ска-

зать, что хозяева села не заботились о культуре, о воспитании молодежи. В селе была начальная школа, высшее начальное училище, а в 1915 году открылась и смешанная гимназия. Но кто учился в ту пору? Дети торговцев, купцов, попов и кулачества. Сын трудового жителя села или крестьянина о гимназии мог только мечтать. Хотя в высшее начальное училище дети простолюдинов и пробивались, но с превеликим трудом.

Грозой учеников высшего начального училища был инспектор Русинов-Пуцато. Огромный, белесый, мясистый драчун. Его увесистый кулак заменял все науки. Он бил учеников наотмашь, главным образом по голове. Бил в классе, в коридоре, на лестнице, на улице. Бил по любому поводу: за растерянность, за непочтение, просто по причине собственного дурного нрава.

Люди моего поколения, знавшие Русинова-Пуцато, запомнили его на всю жизнь, боялись его увидеть даже во сне. Конечно, запомнили и сельского пристава, фамилию которого, будь он проклят, я запамятовал. Пристав и инспектор ростом были одинаковые — огромные. Толстомордые, с покрасневшими от пьянства носами. Приставу, видимо, казались недостаточными его физические упражнения над взрослыми, он, как разъяренный вепрь, врывался в компанию ребят, игравших в лапту или в городки, и стегал любого, кто подвернется под руку, нагайкой по голове, по спине. Ребята боялись пристава, как чумы. Бывало, стоит крикнуть ребятам, о чем-то весело разговаривающим между собой: «Пристав на улицу вышел!» — как тут же все разбегались по домам, а потом боязливо выглядывали из окон.

Известие о свержении царя Николая Романова гимназисты нашего села встретили многодневной попойкой, они ходили по селу пьяные, вечерами по задвор-

кам гонялись за молодыми прислугами, вышедшими посудачить. Старшеклассники высшего начального училища заманили инспектора Русинова-Пуцато в коровник, исполосовали всю спину бляхами, а лицо вымазали навозом.

Купцы и духовенство сообщение о Февральской революции отметили шествием с хоругвями.

Рабочие пекарни Плотникова взломали двери в доме пристава, нашли толстомордого в чулане, вывели его на улицу без шапки, в распахнутой шинели. Впереди пристава бежал маленький, с редкой рыженькой бородкой латышевский мужичок, по прозванию Таракан. Он время от времени подпрыгивал, бил своим крохотным кулачком по оплывшим щекам пристава и приговаривал:

— Вот тебе за царя Николашку! А вот тебе за его Сашку! И еще тебе за Гришку Распутина!

Крестный ход и толпа, сопровождавшая пристава, встретились у белокаменного дома волостного правления. Пристав сорвал с шапки кокарду и ничтоже сумняшеся присоединился к шествию с хоругвями, которое возглавляли уже новые правители села. А через несколько дней пристава-нагаечника купечество переправило на станцию Шабалино, и куда потом смылся он — осталось тайной.

Советская власть пришла в наше село бесшумно в конце семнадцатого года. В Бельково, Тарасовку, в Иваньково и Жаровское вернулись те, кто работал в Вологде и Вятке, в Питере и Москве. Среди них был и Родион Останин. Он-то и сплотил бедноту, организовал ячейку коммунистов и создал Совет, к которому и перешла власть.

Власть-то стала советская, а жизнь текла по-своему. Купцы, трактирщики и попы жили вольготно. Они

по-прежнему торговали, ездили по селу на тройках. И сколачивали силы для восстания. В мае 1918 года владелец пекарни Плотников даже организовал жиденькую демонстрацию: десятка полтора пьяных приказчиков и чистильщиков сортиров шли по главной улице и несли плакат, на котором было написано: «Мы за Советы, без коммунистов!»

Эта демонстрация не встретила никакого сочувствия и скоро забылась. Но была она не случайной. В конце лета 1918 года в село приехала группа офицеров, сынков местного купечества, во главе со штабс-капитаном Шестаковым. В лесу около деревни Политовка они устраивали кулацкие сборища. Политовский маслобойщик — эсер Михаил Кузнецов, за черную бороду и густую длинную шевелюру прозванный Монахом, стал правой рукой Шестакова. Вскоре к ним присоединились и приехавшие в село деклассированные элементы, метавшиеся в эти грозные годы от одного берега к другому. Они-то и привезли прямой приказ: поддержать восстание в Ярославле — в Вохме и Ветлуге свергнуть Советы.

В один из августовских вечеров Монах и Шестаков повели толпу кулацкого воронья на село. Не желая тратить силы в неравной борьбе, коммунисты во главе с председателем волисполкома Родионом Останиным ушли в ближайшие деревни и послали гонцов в Великий Устюг и в Вологду.

Кулацкая власть, во главе которой был поставлен уже знакомый нам латышевский пьянчужка по прозвищу Таракан, оказалась недолгой. Соседние села крепко держались за Советы. Через неделю в Вохму вошел отряд краснофлотцев, прибывший из Вологды. Часть главарей и участников восстания были пойманы

и понесли заслуженное возмездие. Кое-кому, в том числе и политовскому Монаху, удалось скрыться.

Собственно, по-настоящему советская власть в Вохме закрепилась при помощи краснофлотцев. У многих богатеев имущество, награбленное беспощадной эксплуатацией крестьян, ремесленников и сельской безземельной бедноты, было конфисковано. Кулаки и подкулачники выгнаны были из органов государственной власти.

Любопытна одна историйка тех лет, прочно запавшая в памяти. Купечество изворотливо не только в коммерческих, но и в политических делах и способно принимать самую различную окраску. Некоторые купцы и торговцы, почуяв, что их песня спета, немедленно перелицевались и превратились не только в защитников революции, но даже пробрались в партию коммунистов. Не знаю, как и каким образом один из самых главных купцов села, мануфактурщик Таракановский, был принят в местную партячейку. Ему, как «авторитетной личности», поручали выступать на митингах с речами перед крестьянами. Холеный, с широкой окладистой бородой, Таракановский не спеша поднимался на трибуну и елейным голосом начинал читать написанный за него текст то о борьбе с интервентами, то о вреде религии, то даже о всесторонней поддержке бедноты. До сих пор в моих ушах звучит крик, раздавшийся на одном митинге в момент, когда на трибуну поднялся Таракановский. Кто-то крикнул:

— Постыдился бы, кровопийца...

Конечно, вскоре «коммуниста» Таракановского исключили из партии, а потом по суду приговорили к расстрелу, имущество конфисковали, а в двухэтажном доме расселили несколько семей, до этого ютившихся на постое в тесных каморках.

Из небольшого экскурса в историю можно представить, как трудно было создать в нашем селе комсомольскую ячейку. По социальному и возрастному составу молодежь села очень разношерстна. К тому же беднейшую часть молодежи хотели всячески разъединить. Дмитрий Балакирев — сын купчихи — создал организацию бойскаутов, а сын благочинного — гимназист Ильинский — союз молодых анархистов.

Мы, кухаркины дети, или, как звали нас купеческие сынки, желая принизить, незаконнорожденные (многие из нас не имели законных отцов), побаивались Балакиревых и Ильинских, а своих вожаков еще не имели. Мы больше дружили с кавалеристами и поварами продовольственного полка, стоявшего в селе. Кавалеристам мы помогали чистить и купать лошадей. Тут все было интересно: верхом промчаться к пруду через все село! Мой дружок, тоже кухаркин сын, Яшка Останин, или, как мы его звали, Якут, оказался лихим наездником: стоя босыми ногами на гладкой спине лошади, он лихо, аллюром в три креста проносился на ней через все село. А повара отряда за все это кормили нас щами и вкусной гречневой кашей.

Коммунисты села старались организовать комсомольскую ячейку. Но успеха добились не сразу.

Летом 1919 года партийная ячейка провела конференцию беспартийной молодежи. На конференцию пришли дети торговцев, бывшие гимназисты. Когда оратор, объяснив задачи Коммунистического союза молодежи, призвал собравшихся создать комсомольскую ячейку и в нашем селе, раздался свист. Участники конференции, предводительствуемые Балакиревым, покинули зал.

Ничего не получилось и ранней осенью 1919 года. В школу второй ступени пришли два коммуниста. Они

собрали всех учащихся в зале и держали перед ними речь. Обнаглевшие старшеклассники отвечали коммунистам грубо и цинично:

— Нам с вами, голодранцами, не по пути!

Не увенчалось успехом и второе собрание, проведенное в школе.

И только 2 ноября 1919 года, когда в школу пришел Родион Иванович Останин, дело приняло иной оборот. В зал были приглашены не все учащиеся, а по выбору. И говорил Родион, как всегда, доходчиво и конкретно:

— Всех мы не зовем в Коммунистический союз молодежи. Да многих и не пустим туда. В Союз молодежи должны идти дети бедноты, вы — нищие (он назвал по имени нескольких ребят), Коммунистический союз молодежи — это ваш союз. А крикуны, такие, как Балакиревы, Поповы, Галкины, Бояриновы, они боятся Союза молодежи, как их родители боятся советской власти. Не слушайте этих крикунов!

И чтобы не дать слова кулацким крикунам, как это было на первых двух собраниях, Останин поставил вопрос так:

— Давайте сразу выясним, кто хочет вступить в Коммунистический союз молодежи. Желающие — поднимите руки.

В школьном зале, несмотря на подбор участников собрания, было полно, более двухсот ребят. После слов Останина наступила гробовая тишина. В разных концах зала, над морем голов, поднялось всего шесть рук, в том числе и моя.

— Ну, вот и хватит, — улыбнулся Родион Иванович. — Ребята, которые подняли руки, подойдите, пожалуйста, ко мне. Собрание на этом закрываем.

Шестерым, подошедшим к столу, вместе не было и

75 лет. Мне, к примеру, в то время было всего тринадцать с половиной лет.

— Молокососы! — улюлюкали над нами старшеклассники.

Но мы уже приняли решение.

Когда школьный зал опустел и мы, шестеро, остались с Останиным, Родион Иванович сказал:

— Пойдемте сейчас в клуб коммунистов. Там есть еще ребята-коммунисты комсомольского возраста, мы оформим ячейку.

Клуб коммунистов села Вохма помещался на втором этаже дома вдовы-купчихи, скупавшей лен. Помещение это только называлось клубом: несколько неотапливаемых комнат да кухня с огромной русской печкой. В одной из комнат размещалась партийная ячейка. Одну — отвели нам, комсомольцам.

«Каморка, столик, стулик, лист бумаги, чернильница с пером и замочек для запора» — в этих словах обстановка тех дней воспроизведена с предельной точностью.

Первого сентября 1922 года вохомские комсомольцы получили разнарядку в школу артиллеристов — нами был рекомендован один из самых боевых товарищей, первый наш комсомолец, кухаркин сын Яков Останин. Учился он хорошо. Мы виделись с ним один раз, когда он приезжал в отпуск. В мундире, шитом золотом, ходил по улицам села, вызывая восторг и восхищение сверстников. Слышал я, что в годы второй мировой войны Яков Николаевич был генералом-артиллеристом и сражался храбро. Но встретиться на фронтовых дорогах нам не довелось.

Яков Останин ушел на военные курсы, когда уже замолкали бои на фронтах гражданской войны. Но до него вохомская комсомолия не раз посылала своих сы-

нов в армию защищать молодую Советскую республику как от врагов внутренней контрреволюции, так и от интервентов, пытавшихся задушить Страну Советов.

28 октября 1922 года губернская газета «Советская мысль» напечатала мою статью. Название статьи звучит необычно: «Мое впечатление. О работе Вознесенско-Вохомской организации РКСМ в рядах Красной Армии и на фронтах по борьбе с мировым империализмом». В заголовке выражен аромат, стиль и душа того времени! К статье от редакции примечание: «Помещаются в простом безыскусственном пересказе воспоминания старого члена Вознесенской организации РКСМ».

В статье рассказывается, как мы еще в начале 1920 года получили из губкомола телеграмму: «На помощь Советской республике для борьбы на южном фронте» послать «пять процентов юных коммунистов». Когда прочитали телеграмму и спросили комсомольцев, кто желает пойти на фронт добровольцем, то оказалось, что все до одного, в том числе и мы, малолетки, сказали: «Обязательно хотим на фронт». Но приняли от нас только троих.

Прошло несколько месяцев. Наша ячейка бурно росла. Вообще работа оживала в зимнее время. Тогда средняя школа (вторая ступень) на большую округу была только в нашем селе, учащиеся съезжались из многих волостей. Зимой молодежи в селе было густо, а летом — пусто. В зимние месяцы ячейка насчитывала до 180 человек. Уже в двадцатом году появились созданные вохомскими комсомольцами ячейки в Лапшинской, Соловецкой, Павинской волостях, даже в некоторых деревнях. 10 января 1921 года состоялась пер-

вая районная конференция комсомола. Она и избрала первый райком.

Накануне районной комсомольской конференции произошла самоочистка организации. Снова пришло боевое требование: послать на фронт пять человек. Тут-то и выявилось, что не все, кто носит комсомольский билет, являются настоящими патриотами. В ту пору в ячейку нахлынули чуждые элементы: при поступлении в высшие учебные заведения комсомольское звание имело большое значение. Старшеклассники — сыновья и дочери из богатых семей гуртом пошли в комсомол. А когда объявили мобилизацию, их всех как волной смыло. Более смелые и честные решили идти на фронт, а всяческая дрянь, прилипшая к комсомолу, смылась из его рядов. Но среди желающих идти на фронт опять было много малолеток. Решили: пойдут на фронт ребята рождения 1903 года и старше. И таких оказалось не пять, а двадцать пять человек, в их числе пять комсомолок.

Процитирую некоторые места из воспоминаний «Мое впечатление»: они передают время, настроение и стиль.

«В день, объявленный для отправки, было устроено собрание членов РКП(б) и РКСМ, на котором присутствовало большое количество беспартийных. На собрании были объяснены задачи Красной Армии и сказаны напутственные речи. По окончании собрания присутствующие с плакатами и революционными песнями пошли провожать наших героев, которые шли бодро и смело и вместе с нами пели революционные песни».

«Как хорошо было смотреть на идущих юных героев, которые шли без страха и боязни на борьбу с капиталом всего мира. На их лицах была видна

только черта радости и надежды на то, что и они помогут для освобождения пролетариата».

«После этой отправки почти единственно нашей организацией была произведена ликвидация кулацкого восстания в Соловецкой волости».

...Мы, молодые комсомольцы, не дравшиеся на фронтах гражданской войны, были тоже вооруженным отрядом. Мы не раз участвовали в операциях по поимке дезертиров, в облавах на самогонщиков, выполняли отдельные поручения. О характере этих поручений красноречиво говорят два сохранившихся документа.

Один из них датирован 23 июля 1921 года.

«Удостоверение

Предъявитель сего тов. Кудреватых Леонид Александрович командируется в Петрецовский райисполком (так в ту пору назывались сельсоветы. — *Л. К.*) Вознесенской волости по учету скота. Всем должностным лицам предлагается тов. Кудреватых оказывать всяческое содействие, как-то: в подаче подвод бесплатно на расстоянии не свыше 10 верст. Тов. Кудреватых поручается на виновных лиц, замеченных в укрывательстве скота, составлять акты для привлечения виновных к ответственности».

Другой документ, датированный 15 июля 1922 года, уже более грозный, и называется он:

«Мандат

Выдан настоящий мандат Вознесенским волисполкомом уполномоченному оного в том, что он, Кудреватых Л. А., командируется в Сосновский район по выполнению общегражданского денежного налога и сбора продналога, а потому ему предоставляется право:

1. Контролировать деятельность райисполкомов об

успешности в проведении в жизнь вышеуказанных налогов.

2. Тов. Кудреватых предоставляется право мобилизации членов районных исполкомов по выполнению вышеуказанных налогов, а в случае отказа последних составлять акты, а также и на граждан, не выполняющих налоговые нормы, и препровождать волисполкому.

3. Тов. Кудреватых предоставляется право проверки документов у всех граждан, проживающих в местностях района, и в случае обнаружения дезертиров направлять последних в Вознесенский военкомат».

Такое поручение выполняли комсомольцы в годы военного коммунизма. Мы, мальчишки 15—16 лет, отправлялись на такие задания вооруженные пистолетом системы «смит-вессон», торчавшим из-за пояса.

И не только для устрашения. Мы учились военному делу и умели пользоваться оружием. В нашем селе из коммунистов и комсомольцев была создана рота ЧОН (частей особого назначения). В роте регулярно проводились занятия и стрельбы, разыгрывались боевые игры. Сеня Скрябин, Сережа Зайцев и я в уездном городе Никольске прошли специальное трехмесячное обучение, позднее командовали взводами роты ЧОН.

Командовал ротой ЧОН двадцатидвухлетний коммунист Михаил Иосифович Родионов, приехавший в село Вохма от Вологды. Уже после второй мировой войны с бывшим командиром роты ЧОН у нас завязалась переписка.

Живет Михаил Иосифович Родионов в Киеве. Он Герой Советского Союза, генерал-майор танковых войск в отставке. Во время войны командовал танковым полком, бригадой и корпусом. О Вохме вспоминает с уважением, свидетельство тому — выдержка из его письма:

«Природу Вохмы или ее чарующие окрестности описывать не буду, ты это знаешь лучше меня. Два года работы в Вохомском ЧОНе были напряженными годами. Кого я отлично помню по совместной работе в Вохомской организации? Прежде всего, Сергея Николаевича Караваева. Отличный был секретарь райкома и замечательный человек — в прошлом учитель. Останин Родион Иванович — председатель исполкома, коммунист с 1912 года, по происхождению из крестьян, но кадровый рабочий, путиловец. Кокоулин Ваня, моторный человек, активист с огоньком, одно время секретарь райкома комсомола. Человек дела — Кощеев Ив. Ив., член КПСС с 1918 года, матрос. Вохомским хлебопродуктом заведовал активный участник и инвалид гражданской войны Кулаков. Вначале директорствовал в школе второй ступени, а позднее заведовал отделом народного образования Дм. Лаптев — большевик с высшим образованием. Дисциплинированным и авторитетным коммунистом мне запомнился Михаил Семенович Герасимов — начальник почты. Вохма и ее люди в моей памяти останутся до конца моей жизни».

Я помню почти всех коммунистов, о которых пишет М. И. Родионов, и полностью присоединяюсь к его характеристикам.

Не уйдет из памяти неукротимый Иван Кокоулин, секретарь райкома комсомола, которого я сменил на этом посту. Волевой, решительный и неутомимый. Его внешний облик сохранился у меня на одной групповой фотографии. Мы с ним представляли вохомскую комсомолию на очередном уездном съезде в Никольске. И на фотографии мы почти рядом в самом первом ряду. Нетрудно заметить, что многие делегаты уездной

конференции участвовали в гражданской войне — на фотографии они в солдатских шинелях.

Сергей Николаевич Караваев в истории села Вохмы тех лет наисветлейшая личность. Он приехал из Москвы и своим стилем работы как бы знаменовал переход от военного коммунизма к кропотливой и трудной работе периода восстановления. Сергей Николаевич был глубокообразованным человеком, а марксистски — особенно. Его лекции и доклады всегда собирали полные залы. Многие из нас обязаны ему знакомством с трудами Владимира Ильича Ленина, первыми навыками самостоятельной работы над серьезными книгами по теории марксизма.

Сергей Николаевич был друг и наставник комсомольцев. Он радовался нашим успехам на мирном поприще труда и поправлял, если кто ошибался. Под его руководством мы широким фронтом вели антирелигиозную пропаганду, в противовес религиозным устраивали комсомольские «пасхи».

Культурно-массовую работу среди населения в основном вела школьная комсомольская ячейка, под ее началом работали драматические, хоровые и музыкальные кружки. 22 апреля 1923 года в газете «Советская мысль» напечатана моя заметка «В Вохомском клубе». Несколько строк из нее:

«Вознесенье-Вохма — село большое, оживленное. В культурном отношении, как и большинство наших захолустных сел и местечек, было отсталое и темное...

Культурный центр нашего села — клуб...

...А в праздничные дни — работает театр. Члены драматического и хорового кружков выступают на сцене, ставят пьесы, иногда дают концерты. Вохом-

ские жители, в которых пробудилось стремление к просвещению, охотно посещают эти постановки».

Так жило наше село в ту пору, и такими делами были заняты комсомольцы, особенно комсомольцы-школьники. Я иногда с удовольствием рассматриваю фотографию, на которой запечатлены мои друзья по школе, по комсомолу, по клубной работе. Картины тех далеких и милых лет встают перед мысленным взором. Фотография через десятилетия доносит до нас не только выражение лица, но и детали одежды, быта, нравов. Я смотрю на одну из фотографий 1923 года — группа учеников восьмого класса второй ступени. Тоня Цапышева — удивительной теплоты голос декламатора, даровитая актриса. Она превосходно играла Коробочку в инсценировке «Мертвых душ». Вера Гущина — самая голосистая, с отлично поставленным голосом, исполнительница сложных классических произведений. Анюта Скрябина — как она играла Ларису в «Бесприданнице»! Непосредственно и впечатляюще. Стоят: Коля Попов — отличный художник-портретист, обладатель шаляпинского баса, кумир вохомской публики. Я и Федя Герасимов исполняли больше не сценические, а организующие роли. Анатолий Усков — выразительный декламатор современной поэзии.

Где вы, мои дорогие друзья? Куда вас разнесла жизнь на своих могучих крыльях? Одних уж нет. А кто жив, наверное, имеет внуков-комсомольцев. Убежден, все сохранили в своей памяти небольшого ростом, русоголового, с палочкой и всегда немного наклоненной вправо головой, шагающего в райком партии или из райкома Сергея Николаевича Караваева, олицетворявшего собой в нашем сознании ленинскую партию. Сергей Николаевич был жив еще после Великой Отечественной войны. Я получил от него открыточку, напи-

санную уже неуверенной, дрожащей рукой. Он был на пенсии и вспоминал нашу юность.

Сколько их, чистых и душевных наставников наших! Они, старые большевики, воспитали поколение строителей новой жизни. Память о них — вечна.

Октябрь 1968 г.

РОДИОН ОСТАНИН

Высокий, немного сутулый, в очках, всегда жизнерадостный, он был незаменимым советчиком, справочником по всем интересовавшим нас вопросам, нашим другом.

Он положил начало комсомолу в нашем селе. И когда шесть юношей и девушек пошли против всех учащихся школы и заявили, что они пойдут в Союз молодежи, то это было победой обаятельности его, Роди Останина, и убедительности его речи на школьном собрании. Первые шесть еще и не понимали, что такое Коммунистический союз молодежи и чем он лучше или хуже союза анархистов. Их решение — пойти в комсомол — было продиктовано уважением к Роде Останину.

Родиона Ивановича, или Родю Останина, как его звали в те годы, мы знали еще до школьного собрания, после которого организовали ячейку комсомола. На каждом сельском митинге он произносил пламенные речи, в которых говорил о рабочих Питера, о матросах «Авроры», испепеляюще зло говорил о сельских знаменитостях — купцах Таракановском, братьях Бояриновых, неудавшемся банкире Агееве. Просто и убедительно он выступал на диспутах о религии. Не цитируя мудрых книг, не изрекая особо ученых слов,

он вел речь о попе Гапоне, о нашем сельском попе — отце Павле, не раз заявлявшем на таких диспутах, что «хотя я и с пеленок коммунист, но я христианин»; о благочинном Алексее, умудрившемся после неоднократных поражений на диспутах предавать Родю Останина анафеме с церковного амвона.

Комсомольской ячейке отвели комнату. Надо было начинать работу. Но с чего начинать? Не было ни одной политической книжки. Первой прочитанной, вернее, прослушанной книгой были устные рассказы Роди Останина.

Он приходил к нам в маленькую комнату, спрашивал, что мы сегодня делали, как настроена молодежь, а потом, без всяких вступлений, заводил речь о каком-нибудь важном историческом событии, о 1905 годе, о ленском расстреле, об «Искре», о Ленине, о Плеханове. Поудобнее разместившись на кушетке, мы слушали его увлекательные рассказы; слушая их, познавали жизнь.

В тяжелый двадцатый год в большом ходу была картошка. Вечерами, когда приходил к нам Родя Останин, мы пекли ее в большой кухонной печке и вместе с ним ели ее, горячую, ароматную.

Перед первомайским праздником двадцатого года Родя несколько вечеров посвятил рассказам о маевках, в которых он сам участвовал. Раз принес какую-то книжку, дал ее Коле Шабалину:

— Прочти, а потом на ячейке сделай доклад об истории Первого мая.

Коля Шабалин заучил эту книжонку чуть не наизусть, а доклада сделать так и не смог — стушевался. Начал речь заумными книжными словами, сбился и, раскрасневшись, сел:

— Дальше забыл. . .

Ребята стали трунить:

— Ора́тель.

— Смешного тут мало. Надо не только знать, что такое Первое мая, но и уметь рассказать об этом, — устыдил нас Родя.

Он дополнил рассказ Коли Шабалина, а потом стал учить, как делать доклады, как читать книги, как составлять конспект. Все это Родя подкреплял примерами из практики подполья, когда ему приходилось быть пропагандистом и агитатором.

— Если мы сами не научимся, за нас никто не будет агитировать, — говорил он.

Агитировать мы научились. И вскоре на школьных собраниях, на митингах, в клубе молодежи, в борьбе за единство комсомола против мелкобуржуазных элементов, наводнивших потом нашу ячейку, произносили речи, полные силы и убеждения.

Ни одного сколько-нибудь значительного собрания в ячейке, а потом в райкоме комсомола не проходило без участия Роди Останина. Придет, сядет и слушает.

— Как, Родион Иванович, твое мнение?

— А вы сами, сами обсудите. Если потребуется, я скажу в конце.

Бывало, за все заседание Родя не проронит ни слова.

— Что ты сегодня не выступал?

— Зачем выступать, раз линия ваша правильная, — улыбнется Родя в свои усы, поправит очки и довольный за нас уходит.

В те годы перед собранием или конференцией возникали «группировки». Каждая из них считала долгом завоевать на свою сторону Родю Останина. Он до поры до времени выслушивал всех, все взвешивал и, если требовалось, вмешивался, пока групповщина

не начинала мешать работе. Вмешивался с присущим ему хладнокровием. Одних немного пожурит, других поправит. Но уж если кто зарвался — пеняй на себя. Ваня Усков повел ячейку на путь культурничества, стал устраивать балы-маскарады, танцульки, концерты, подводя под это свою «идеологию»:

— С политикой мы успеем, а пока молоды, веселиться надо. К нам, веселым, молодежь-то и пойдет.

Тут уж Родя Останин не выдержал:

— К нам молодежь пойдет и без танцулек. А пока мы занимаемся балом-маскарадом, многие отшатнутся от нас.

Яшка Останин, сын прачки, «втюрился» в школе в Надю Плотникову — дочку владельца большой пекарни. А та — девка не дура.

— Как же я, некомсомолка, любить-то тебя буду? Раз ты комсомолец, то и меня бери с собой.

Трудную задачу Яшка разрешил не сразу. Он пошел к Роде (ходили к нему и с такими вопросами):

— Как бы ты, Родион Иванович, поступил на моем месте?

— А ты как думаешь? — спросил Родя.

— Я думаю, раз девка хочет быть в комсомоле — пусть идет. К тому же я не могу любить некомсомолку.

— Эх ты, голова удалая! Так-то и революцию можно проиграть.

Дав совет Яше Останину, Родя этот случай не скрыл от ячейки. В один вечер «за картошкой» он поведал нам, как в подобных обстоятельствах поступают настоящие революционеры. И кстати рассказал, как ему в 1914 году по поручению партийного комитета пришлось ликвидировать одного провокатора, с которым до этого он был хорошо знаком, даже дружил.

Нередко Родю Останина можно было встретить в нашей школе. Он заходил в учительскую, просматривал журнал с отметками «уд» и «неуд», потом, на очередном комсомольском собрании, стыдил:

— В седьмом классе из двадцати двух учеников девять комсомольцев, у тринадцати беспартийных по пяти главным предметам — девятнадцать «неудов», а у девяти комсомольцев — двадцать один. Безобразие! Разве вы передовая молодежь! С малограмотными-то мы далеко не уйдем...

Мы нажимали, догоняли и обгоняли беспартийных.

В третью годовщину нашей ячейки — в 1922 году — мы торжественно избрали Родю Останина «почетным комсомольцем». Он несколько смутился и, как бы оправдываясь, заявил:

— Я ведь и до этого был комсомольцем.

Молодое сердце, свежесть ума, обаятельность этого старого большевика всегда как бы подчеркивали: «Буду сед, но комсомольцем юным останусь навсегда».

В двадцать третьем году первый набор комсомольцев Роди Останина разъехался из села в учебные заведения различных городов — за аттестатами на самостоятельную активную жизнь. Родя не терял из виду своих воспитанников, напоминая записочками о себе и спрашивая:

«Как дела? Пока молод — набирайся знаний! Нам нужны грамотные, ученые люди. Теперь на одних рассказах «за картошкой» далеко не уедешь».

Таким был наш верный друг и наставник, мой поручитель при вступлении кандидатом в члены Коммунистической партии в январе 1925 года.

1933

ДРАГОЦЕННЫЙ СУВЕНИР

Коллекционирование, как увлечение и страсть человека, поддержано публицистами и возвышено поэтами. У меня есть друг, который хранит театральные программы. Разбирая и рассматривая их, он часами может рассказывать о спектакле или цирковом представлении, о концертах симфонической музыки или эстрадном дивертисменте.

Себя я не считаю коллекционером, не выработал системы, не проявлял необходимой настойчивости, если хотите, педантичности. И все же в папках моего архива есть кое-что занимательное. Больше того — важное, ценное. Я не рвал и не выбрасывал на ветер служебные удостоверения, мандаты, поручения. Не кидал в мусоропровод билеты и пропуска на всевозможные «открытия», «съезды», «сессии», «юбилейные вечера». Не все из того, что мне удалось сохранить (переезды, огни пожаров, фронтовые годы и дороги — все это унесло определенное количество свидетельств), приобрело значение исторического. Но многое может служить источником воспоминаний, не лишенных интереса.

Вот, к примеру, «Входной билет № 8174 на торжественное открытие выставки 15 августа 1923 года в 12 часов дня». Первая сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка СССР с иностранным отделом! Уверен — большинство москвичей, которым нет пятидесяти лет, а тем более приезжающие в столицу гости, посещая Парк культуры и отдыха имени А. М. Горького, и понятия не имеют, что на территории веселья и отдыха молодая Советская страна, только что расправившаяся с врагами внутренними и внешними, начавшая восстанавливать разрушенное, разби-

тое войной и голодом хозяйство, демонстрировала всему миру свои первые достижения. «Придаю очень большое значение выставке; уверен, что все организации окажут ей полное содействие. От души желаю наилучшего успеха», — писал Владимир Ильич Ленин 14 ноября 1922 года.

Я попал на выставку из села Вохма. Как и большинство экскурсантов, приехавших на выставку из разных концов страны, я впервые видел Москву, любовался Кремлем и до «щемления в сердце» затихал в зрительных залах, когда открывался занавес в Художественном, Малом и Большом театрах. Мужик или парень в сапогах, смазанных дегтем, а то и в лаптях, в домотканой рубахе-косоворотке, перехваченной плетеным поясом с кистями, были почетными гостями театров.

Мне было семнадцать лет. Я приехал на выставку как секретарь райкома комсомола, меня, как и многих моих сверстников, составлявших чуть ли не половину экскурсантов, интересовало все. Открытие выставки с 15-го почему-то было перенесено на 19 августа. За четыре дня мы исходили Москву, что называется, вдоль и поперек. Троллейбусов, автобусов, а тем более метро и в помине не было. Ходили одни трамваи да пролетки с бородатыми извозчиками. «Это не про нас», — говорил мой сосед по пятому общежитию, разместившемуся в одной из московских школ. И мы пешочком меряли улицы столицы.

Смотрю на билет и вижу павильоны выставки разной конфигурации, построенные, как правило, из дерева, всего их было более двухсот пятидесяти. Были павильоны — натуральная крестьянская изба с ее убранством, с домашним ткацким станком, с печью, занимающей чуть ли не треть избы, и с хозяевами:

стариком, старухой, молодкой. В таком же натуральном виде были представлены своеобразные жилища народов Севера с их обитателями. В большинстве павильонов сельскохозяйственные машины: плуги, молотилки, иностранные трактора — все это было пока мечтой советского крестьянина-единоличника, видевшего на выставке лишь первые ростки социалистического земледелия. Видели мы породистых коров, лошадей, свиней, индюшек. Любопытно: надои коров-рекордисток тогда измерялись не литрами, а ведрами: 400—500 ведер в год!

Смотрю на входной билет и вижу Москву тех лет с толчеями на Сухаревке, в Охотном ряду, у Иверских ворот, что вели на Красную площадь, узенькую, крытую булыжником Тверскую, ныне широченную улицу Горького. На Воздвиженке (ныне проспект Калинина) размещался Центральный комитет комсомола. Разве можно его миновать, тем более если там верховодит недавно воспетый Александром Безыменским Петр Смородин? И смело поднимаюсь по лестнице.

Вот он:
по паспорту токарь.
А по анкете — цекист.

Усаживает. Расспрашивает. Его интересует все: и наш район, и работа райкома комсомола; мои рассказы о ребятах он слушает внимательно, чуть-чуть прищуриваясь. А потом неожиданно для меня спрашивает:

— Хочешь учиться в Москве?

Я ушел из Цекомола с путевкой в институт.

Смотрю на входной билет на выставку и думаю: минувшие полвека — это целая эпоха, равной которой история еще не знала.

1973

КТО ПЕРВЫЙ УСЛЫХАЛ СИГНАЛЫ «ИТАЛИИ»[1]

Утопающее в зелени старое село. До революции Вохма была волостным центром, теперь это районное село со всеми учреждениями, потребсоюзом, театром, но без электричества. Совсем недавно в село проведен телефон. Кое-где торчат радиомачты.

В конце цветущего села приютился старый флигель. Он отсечен от «главных улиц», и его жизнь никому не заметна. Наверное, и по сей день никто бы не вспомнил об этом домике, если бы в нем не жил Шмидт. А теперь сюда идут целые экскурсии.

У угла флигеля торчит жердь, а от нее через лог протянута к вершине елки проволока, это — антенна любительского радиоприемника Шмидта. Молодой парень в синей блузе, в валенках ходит по логу, задрав голову, смотрит вверх.

— Смотрю антенну, все ли в порядке, плоховато что-то слышно, большие атмосферные шумы, да от бессонницы и в голове шумит.

Шмидту Николаю Рейнгольдовичу двадцать два года. Служит он киномехаником при местном, работающем два раза в неделю кино. Родители Шмидта —

---

[1] Когда дирижабль «Италия» терпел бедствие, советский радиолюбитель Шмидт из села Вохма перехватил 2 июля 1928 года первое радио с «Италии». Среди спасенной ледоколом «Красин» группы Вильери находился радист с «Италии» Биаджи. Он подтвердил радиосвязь, которую имел с радиолюбителем Шмидтом. Заслуга Шмидта заключается в том, что он первым узнал об аварии дирижабля и сообщил об этом всему миру. А мне, приехавшему в родное село на несколько дней, посчастливилось не только встретиться с Николаем Шмидтом, но и рассказать об этом: моя заметка, опубликованная в «Бедноте», была перепечатана многими газетами.

учителя, отец умер, а мать и сейчас еще учительствует.

Шмидт — техник-самоучка.

Комната паренька — две квадратные сажени — не прибрана, завалена разными приборами. На столе стоят уже использованные сухие элементы, самодельный радиоприемник, который вызывает определенное недоверие у нового человека:

— Разве это дает вам возможность слушать?

— А вот убедитесь!

И верно — слышимость прекрасная. Виртуозно работая с одноламповым приемником, до мелочей сделанным своими руками, Шмидт достигает наивысшей слышимости.

— Конечно, я бы сделал его более приглядным, но нет средств, и так от зарплаты половину расходую на это дело, — поясняет собеседник.

Тут же на столе лежит только что распечатанная посылка с разными принадлежностями к приемнику, полученными от Центрального совета общества друзей радио. В углу стоит киноаппарат «системы Шмидта». Из простого фонаря для демонстрации туманных картин Шмидт сделал проекционный аппарат, при помощи которого и показывает фильмы.

Так вот, в ночь со второго на третье июня Шмидт занимался разными опытами. Вначале ловил поздравления коротковолновиков — «как вы живете», переключался на разные волны и вдруг совершенно неожиданно — сигналы по азбуке Морзе:

«СОС. . . СОС. . .»

— Я свой аппарат знаю хорошо, и мне понятно, что сигналы СОС — сигналы о гибели. Прекратил блуждание, остановился на этой волне, а потом через некоторое время довелось услышать очень медленно, но

понятно: «Италия», «Нобиле» и т. д. Все это записал знаками. Из газет же знал, что с Нобиле что-то неладное. Я решил пойти на почту и дать телеграмму. Денег не было, но мне доверили в долг. И я коротко сообщил о слышанном в Москву. У меня запросили подробный текст, послал его, а теперь установлена прямая связь по телеграфу с Москвой.

В доказательство Шмидт показал кучу полученных им телеграмм. Вот, например, одна из них, от 10 июля:

«Необходимо получение схемы устройства вашего аппарата, сообщите. Сегодня двадцать часов плавучая база «Чита ди Милано» должна иметь двустороннюю связь с Нобиле. Слушайте внимательно в присутствии свидетелей. Телеграфируйте результаты».

После первого приема Шмидту удалось на второй день поймать слово «Петерман». Так до дня нашей беседы Шмидт прекратил всякие опыты с аппаратом, а продолжал круглые сутки дежурить у приемника, держась одной волны. Ведь не кто иной, как Шмидт, еще 8 июня своим аппаратом принял:

«Шторм. Норд-вест. СОС. СОС. Петерман» [1].

Вначале Шмидта в селе считали за человека «не совсем с умом».

— Возится с проволокой да разной ерундой — делать ему нечего.

Только некоторые крестьяне, которым Шмидт сделал сам радиоприемники, иногда захаживали к нему и советовались. Только они и признавали, что этот молодой парень — «не лодырь» и не «сумасшедший».

1928

---

[1] Как выяснилось, на дирижабле «Италия» остров Фойн возле Шпицбергена был ошибочно принят за остров Петерман, что и отразилось в радиограммах с «Италии».

В нашей просторной комнате было больше десяти рабочих столов. И как-то случилось так, что в комнате я остался один. В дверь легонько постучались. Такая предупредительность удивила меня: у нас не было принято, чтоб кто-нибудь, прежде чем войти в комнату, стучал в дверь. Решив, что меня разыгрывают друзья из редакции, я не ответил на стук. Тогда постучали снова. Я опять промолчал. И уже на третий, более решительный стук крикнул:

— Ну кто там дурака валяет? Входите!

Дверь тихонько открылась. У массивной двери остановился человек выше среднего роста, с низко спадающими на лоб русыми волосами. На бледном лице щетина редкой рыжеватой бороды. Потом человек робко пошел к моему столу. Пальто свисало с плеч. Из-под пальто торчали короткие брюки и большие ботинки, перевязанные бечевкой.

Осмотрев комнату, человек тихо спросил:

— Можно к вам?

— Пожалуйста. Садитесь, — ответил я.

Мелкими шажками человек подошел к столу, но не сел. Он положил изрядно поношенную кепку на стул и продолжал стоять в нерешительности.

— Что вам нужно? В чем дело? — спросил я.

Посетитель взял со стула кепку, помял ее в руках и положил снова на стул. Его волнение передалось мне. Я еще раз обратился к нему:

— Не волнуйтесь. Садитесь. Рассказывайте. . .

Не поднимая головы, чуть слышно посетитель проговорил:

— Неужели не узнаете? Я Борис Таракановский. . .

Встретившись со мной взглядом, он продолжал:

— Я давно узнал, что вы здесь, в Вятке. Знал, что работаете в редакции, но зайти не решался. А сегодня долго ходил тут по улице, вот и зашел.

С быстротой молнии в моей голове проносились картины детства. Я пытался узнать сразу как можно больше.

— Как ты очутился в Вятке? Что делаешь?

— Я второй год учусь на курсах десятников-строителей.

— Мать? Жива? С тобой?

— Нет, я один. Совсем один... Вчера меня в общежитии обокрали: две рубашки, штаны и деньги — стипендию.

Глаза Бориса Таракановского затуманились. Погрубел голос. И, не дождавшись, о чем я еще могу спросить его, он сказал:

— Одолжите мне три рубля. Есть хочу, а взаймы взять не у кого. Деньги верну через неделю. Всего три рубля...

Неожиданность встречи, характер разговора несколько обескуражили меня. Я не знал, что и как ответить Борису Таракановскому. У меня были основания грубо, резко отказать ему, заявить, что лучше бы он не искал этой встречи. «Но надо все узнать, расспросить, зачем торопиться», — подумал я и ответил:

— У меня при себе нет денег. Зайди через час на квартиру. Вот адрес. Тогда и поговорим...

Таракановский медленно уходил к двери. Я посмотрел ему вслед и еще раз сказал:

— Ко мне зайди сегодня же.

Дверь закрылась.

Больше я не мог работать. Мне хотелось кому-нибудь сейчас же рассказать об этой встрече. С Таракановским мы воспитывались вместе, на одном дворе,

с четырех лет. Моя мать была кухаркой у купца первой гильдии Таракановского.

Борис резвился в гостиных и детских комнатах своего дома. Я же с матерью жил в бане. Баня стояла в огороде. Белая баня с холодными и теплыми предбанниками, широкими скамьями и двухъярусным полком.

Шесть дней в неделю баня была наша. И мы радовались этому праву. В субботу же приходили хозяева и парились на жарком полке. Весь наш незавидный скарб мать убирала в холодный предбанник, чем-нибудь прикрывая, а меня вела на кухню, к тетке Анфисе. В полночь на воскресенье мы возвращались под свой кров и спали в жаре, дышали паром, нередко угорая. Чтобы угар скорее проходил, мать Бориса, Елизавета Михайловна, подарила нам большую бутыль нашатыря.

С Борисом мы виделись чуть ли не каждый день: на дворе, в огороде, иногда даже на террасе. Я любовался бесчисленным количеством его разнообразных игрушек, но не дотрагивался до них: руки не мыты! Помню, что один раз, попав на террасу, я как бы невзначай сбросил на землю черный резиновый мяч. Подобрав мяч, я играл им лет пять, но только наедине, дома.

Жизнь в бане становилась невмоготу. Года через три моя мать на накопленные деньги купила ветхую, покосившуюся избушку. Встречи с Борисом прекратились. Не только на террасу, а даже во двор меня не пускали. И только в школе мы виделись ежедневно. Я ходил в школу в лаптях, в домотканой рубахе и приносил с собой кусок черного хлеба, посыпанный солью. Борис, одетый в бархатный костюмчик, приезжал в школу и уезжал домой на линейке. В большую пере-

мену ему приносили свертки изысканных закусок: бутерброды с паюсной икрой, балыком, ветчиной, плитки шоколада.

Мы с Васькой, моим приятелем по парте, бывало, приставали:

— Борька, дай нам. При драках будем тебя защищать.

Но Борька жадничал, никогда и никого не угощал. Остатки от завтрака он свертывал и посылал с няней домой. За это ему от нас не раз попадало. Он был хилый: учение ему давалось с трудом.

В двадцатом году, когда я уже был в комсомоле, купца Таракановского, примазавшегося к партии, с позором выгнали из ее рядов, потом судили и расстреляли, а мать и Бориса выселили в деревню.

И вот Борис Таракановский пришел ко мне за трешницей. По пути домой я обдумывал: как быть? Я прошел школу комсомола, уже не первый год в партии. А он? Может, как отец, остался врагом? А может, переменился, работает, стал полезным обществу человеком?

Борис не заставил долго ждать себя. С нескрываемым любопытством я наблюдал его встречу с моей матерью. Не скрою — она была теплой. Мать даже немного всплакнула. И конечно, сразу бросилась разогревать чайник, выставила на стол все припасы.

За чаем завязался разговор. Я молчал. Расспрашивала мать. Борис стеснялся намазывать хлеб маслом. Его движения были робки и неуклюжи. Отвечая на расспросы моей мамы, он не выражал ни грусти, ни горечи, а отвечал как-то равнодушно.

Шестнадцатилетним парнем Борис пошел к дальним родственникам (мать умерла) и жил их милостью. Работать он не умел, да и не приучали его к этому.

Из села в село, из города в город он кочевал по родственникам до тех пор, пока не получил отказа.

— Можешь сам деньги зарабатывать. Жениться уже пора.

Но где работать? Нет специальности. Да и примут ли? Полуголодный, оборванный, ничему не научившийся, двадцатидвухлетний парень как-то пристал к группе молодых ребят, направлявшихся в Вятку на строительство новой гостиницы. На этой стройке Борис носил кирпичи, известку, гравий. Со стройки он попал на курсы десятников-строителей.

Передо мной был уже другой человек. Не имея основания не доверять Борису, я дал ему не три, а десять рублей.

— Если туго у тебя, — можешь не отдавать. Работай только.

До тех пор пока я не уехал из Вятки, не раз встречался с Борисом, помогая ему советом и деньгами.

И совсем недавно я опять был в Вятке. Что стало с Борисом через пять лет? Нашел ли он свое место в жизни? Я разыскал его на строительстве комбината искусственных кож. Он работал техником.

Встретились мы у стропил. Борис давал указания группе рабочих. В голосе чувствовались уверенность, твердость. В движениях и фигуре появилась непосредственность, простота. Увидев меня, он заметно стушевался, но, крепко пожав мне руку, спросил:

— Какими судьбами?

Мы шли по строительной площадке. Борис важно объяснял мне масштабы стройки, говорил о перевыполнении плана, о себе. Я заметил седину на его висках.

— Это пустяки. Седина может быть и в молодости. Лишь бы силы были. А они есть. Здесь, на этой стройке, я нашел жизнь. Вернее, родился. Снова, второй раз,

но по-настоящему! Мне здесь доверяют и даже уважают. Я работаю, можно сказать, с увлечением. В работе, в труде нахожу настоящую радость.

Мы ходили по площадке часа два. Говорили о многом, не как чужие, а как близкие друг другу. Прощаясь, техник Таракановский еще раз напомнил:

— Не забудь зайти ко мне домой. Жена рада будет. Я ей о тебе многое рассказывал.

1934

МАРУСЯ КАРПОВА И ДРУГИЕ

На станции стоял сибирский поезд. Пассажиры гурьбой ходили по перрону. Тут и одесские, и тамбовские, и рязанские, и вологодские. Тут и летчики, и шахтеры, и инженеры, и служащие, и люди, «едущие по своим делам». Среди массы прогуливающихся одно знакомое лицо. Да, это она, Анюта Останина!

— Нюра?

— Здорово! Ты откуда взялся?

— А ты куда едешь?

Оба, довольные, смеемся и не знаем, с чего начать разговор. Не встречались пятнадцать лет. Когда расстались, были еще совсем юны, учились в одном классе.

О ком, как не о Марусе Карповой, о белокурой подруге юности, о первой нашей комсомолке, спросишь при такой неожиданной встрече.

— А где Маруся? Вы ведь вместе ушли.

И сразу широкая и радостная улыбка исчезла с лица Анюты Останиной. С дрожью в голосе и какой-то внутренней болью Анюта поведала мне о последней встрече с Марусей.

Маруся и Анюта — подруги чуть ли не с пеленок. Обе — вдовьи дочки. Жили рядом, играли в прятки, ходили по ягоды и грибы, бегали на речку купаться. В школу пришли вместе и с первого дня сидели за одной партой. Нюрка росла, как стройная березка, в высоту, была бойкой девушкой и училась хорошо. Маруся была застенчивой, ее прозвали «кукшей». Училась она неважно.

Мы были слишком молоды, чтобы сразу почувствовать и понять весну революции. В наше заброшенное за сотню километров от железной дороги село Вохма революционный шквал, охвативший всю страну, пришел поздно. А в школе, где мы учились, этот шквал прежде всего обрушился на инспектора Русинова-Пуцато.

В общем школьном зале, на стихийно собравшемся митинге, произносились горячие речи. И на этом митинге, к удивлению всех, заговорила Маруся Карпова — первоклассница городского училища. Она поднялась на кафедру. Щеки загорелись румянцем. Голос вздрагивал.

— Михаил Иванович достоин того, чтобы его из школы выгнать. Он мать мою обидел. Мать у него все лето работала, чтобы он меня в городское принял.

После этой речи мы прозвали Марусю революционеркой. Она почему-то обиделась и стала еще застенчивее. А Марусю мы любили и восхищались ее удивительно чистым и приятным голосом, когда она пела вместе с Анютой Останиной на наших школьных вечеринках.

В ноябре девятнадцатого года, когда к нам в школу пришли сельские коммунисты во главе с Родей Останиным и спросили: «Кто за организацию Союза молодежи в нашем селе?» — поднялось шесть рук. Это были

ребята младших классов. И среди нас была одна девушка — Маруся Карпова.

Старшеклассники, встречаясь с Марусей в коридоре, вызывающе обращались к ней:

— Пойдем в курилку! Ты же теперь коммунистка, курить должна!

Мать Маруси, хотя и прачка и перенесла немало тяжелых лишений, не одобрила поступок дочери:

— Если не уйдешь из комсомола — уходи из дома.

Маруся выбрала второе. Она ушла из дома. Стала работать в ячейке; спала в комнате, которую отвели для нас в клубе коммунистов.

Почти два месяца к нам никто не присоединялся. На школьных собраниях нас освистывали. Одноклассники при нас ни о чем не говорили, мы стали «не своими». Учителя косились и явно не одобряли наш выбор.

Родя Останин растил нас, как заботливая наседка своих цыплят. Он многие вечера проводил в комнате нашей ячейки. В один из таких вечеров Останин посоветовал:

— А вы поговорите со своими друзьями, приятелями. Может, ребята и пойдут; так-то лучше...

На следующий день Маруся Карпова пришла в нашу комнату не одна. Она привела Анюту Останину. Анюта поздоровалась:

— Да, и я с вами!

Через месяц мы праздновали победу — нас было сорок один человек. Мы крепли. Но к нашей естественно растущей силе примазывались и чужие люди. Не наученные опытом, мы принимали в союз без разбора. К марту 1920 года в ячейке было уже более ста шестидесяти человек. Это разбухание приостановила телеграмма из губкомола. Она была кратка и ясна:

«Интервенты с Запада теснят наши красные части. Молодой республике угрожает опасность. Предлагаем в пятидневный срок мобилизовать пять процентов ячейки и отправить на фронт».

В ответ на эту телеграмму в бюро ячейки посыпались заявления. Они были разного содержания.

«Прошу послать меня на фронт», — написали пятьдесят три человека.

«С сегодняшнего дня не считайте меня членом союза. Членскую карточку при сем прилагаю», — написали многие.

Из пятидесяти трех врачебная комиссия признала годными только двадцать одного человека. Тридцать два не были удостоены такой чести из-за чересчур юного возраста — им было четырнадцать — шестнадцать лет. Многие из этих малолеток-комсомольцев выходили с медицинской комиссии раздосадованными.

Отряд «21» мы провожали как умели, но с искренней надеждой на их преданность молодой республике. С ним ушла и Маруся Карпова. На прощанье она говорила:

— До свиданья! Нас не забывайте, пишите нам. Остерегайтесь тех, которые ушли из союза: они ваши внутренние враги. С ними тоже придется бороться.

Отряды из нашей ячейки сразу попадали на фронт. Из писем ребят мы узнали о подвигах Буденного, о его коннице. На горячие письма ребят мы отвечали коллективно, подробно рассказывая о своей работе; сообщили, что организовали отряд по борьбе с дезертирами.

Особенно радовали нас письма Маруси Карповой. Какая-то бодрость и сила были вложены в каждую строчку этих писем. Маруся сообщала, что она отказалась работать в санитарной части и пошла в разведку и что ее подруга Анюта Останина осталась рабо-

тать сестрой. В одном письме мы сообщили Марусе печальную весть — мать ее, заболев тифом, умерла. Маруся писала нам:

«Жаль ее — мать она мне. Но теперь я не одна, теперь нас много. Вот кончим с белополяками: приеду — и заживем, что небу жарко будет».

Получили от Маруси еще два-три письма. И вдруг — молчание. Запрашивали ребят. Отвечали:

«Не знаем, где она, переведена в другую часть, теперь не с нами».

Запрашивали часть — ответа не получали.

И ясно, что о Марусе я в первую очередь спросил, случайно встретив через пятнадцать лет ее подругу, Анюту Останину.

Анюта торопилась. Ей хотелось в несколько минут, пока стоит поезд, сказать как можно больше о себе и о Марусе.

— Вначале мы были в одной части и виделись чуть не каждый день. А потом ее перебросили в другую часть, которая пошла в тыл врага. Я как сейчас помню наше горячее прощание. И вот ушла Маруся — как в воду канула. Где только я не наводила о ней справки — безуспешно. Меня же через несколько месяцев послали на учебу. Скоро меня приняли и в партию. Кончила рабфак, поступила в высшее техническое училище. Теперь вот еду из Магнитогорска. Там на домнах работаю — химичка я. Со всеми, кого я видела из бывших на польском фронте, я заводила разговор о Марусе, — не знает ли он, где она, не видал ли ее? Нет, не знают! И вот на Магнитке встретила парня, парторга цеха. Он был с Марусей до последней минуты. Рассказывает, что он, Маруся и еще один товарищ пошли в разведку, вышли на заставу пилсудчиков. Началась перестрелка: Маруся стреляла отчаянно.

«Мы было начали одолевать, как вдруг Маруся вскрикнула, приподнялась и упала. Двое мы не могли отбиваться. Мы отступили».

Свисток паровоза. Анюта Останина, крепко пожав мне руку, прыгнула на подножку вагона. Поезд пошел на Москву, увозя с собой подругу Маруси Карповой.

1935

ТОСТ

Друзья! Налейте бокалы. Я буду говорить о друзьях моей и вашей юности, о славных боевых товарищах.

Был суровый двадцатый год. Белые банды протягивали свои кровавые когти к горлу молодой республики. На страну шли полчища интервентов. Поляки заняли Киев. Каждый, умевший носить винтовку, был в боевом строю, грудью отстаивал родину.

В эти тяжелые дни в нашу комсомольскую ячейку, уже дважды посылавшую старших товарищей на фронт, пришел горячий призыв.

— Комсомольцы! Верные сыны Коммунистической партии, отберите лучших, пошлите их в боевые части крепнущей армии республики на последнюю и решительную борьбу с белополяками.

В знойный летний вечер собрались мы на дворе барановского дома. Безусые, с горящими глазами, молчаливые. Первым начал говорить Коля Шабалин. Его нежный альт звучал, как родник.

— Почему только лучших! И кто из нас лучшие? Почему не всех? Я умею стрелять и чистить винтовку. Я тоже пойду со всеми.

Огромный красный блик солнца скрывался за опушкой леса. Косые лучи освещали румяное лицо Коли. Его глаза блестели и спрашивали:

— Прав я?

Коля выражал сокровенные чувства каждого из нас. Ребята переглянулись и одобрили его мысль. Только Вася Бельковский, заикаясь, выкрикнул:

— А девчата?

— Что девчата? — поднялась Маруся Карпова. — Мы и старше тебя и не отстанем. Вон Зойка Смирнова, давно ли она ушла на фронт, а уже, как пишет, назначили командиром санитарного отряда. Почему я не могу быть санитаркой? Верно, Леля? Верно, Нюра? Правильно, Нина?

Помните: забраковали троих — меня, по малолетству, я был самый молодой в ячейке, Колю Шабалина, у него с легкими было неладно, да и ростом он мал, да Нину Ясникову, ту болезненную, худенькую девушку.

Грустные, провожали уходивших. Это были не первые, а уже третьи проводы. Шли по тракту, молчали. Сколько хотелось переговорить в эти минуты, высказать на прощанье самое сокровенное, получить советы: как нам быть дальше. А слова не шли на язык. Только Коля Шабалин, обняв Марусю Карпову, говорил о чем-то с ней, улыбаясь. Не успели они по-настоящему полюбить друг друга и вот теперь расставались.

В лесу, присев на край канавки, мы прощались. Вася Бельковский достал из кармана тетрадь и написал:

«По призыву партии мы уходим на фронт. Мы друзья детства и юности. Мы вместе выросли, учились в одной школе, были в одной ячейке. Расставаясь, мы обещаем друг другу, что каждый оставшийся в живых не забудет друзей, будет держать с ними связь.

А через десять лет, списавшись, соберемся где-нибудь вместе и посмотрим, что с нами стало».

Скрепив подписями этот договор незыблемой дружбы, мы распрощались. Ребята уходили по тракту. Мы махали им, пока они не скрылись за поворотом. Помнишь, Степан, вы все вместе махнули нам еловыми веточками, повернулись и пошли. Вы уносили свою молодость и бодрость без слез. А плакали мы. Обидно было оставаться одним, сознавать, что мы еще не пригодны для открытой борьбы.

Наш договор выполнялся точно. Часто приходили письма от ребят. Ребята писали о своих новых товарищах по армии, рассказывали о боях и походах. Мы собирали махорку, носовые платки, сухари и посылали друзьям посылки, писали им, как растет наша ячейка, чем мы занимаемся.

Друзья! Это были чистые, пламенные письма. Многие из них я храню и перечитываю с наслаждением. Вот, Вася, пачка твоих писем. Тогда ты писал проще и яснее. Больше было молодого задора, юношеской прямоты. А вот, Настя, и твои два письма. До тифа ты их написала. А потом мы затерялись друг для друга. Мы не могли разыскать тебя, а ты нас. А вот еще письмо, Анюты Скрябиной. Я получил его недавно, после встречи с Анютой Останиной.

«Шальная пуля попала ей в голову. Не успев крикнуть, она свалилась мертвой. Мы хоронили ее и клялись отомстить. На ее могилке я положила осенние цветы в знак нашей большой дружбы».

Так, друзья, пала Маруся Карпова.

Несколько лет тому назад я узнал, что от тяжелой болезни туберкулеза ушла из жизни скромная подруга нашей юности Нина Ясникова.

А где же остальные? Что с ними? Нас здесь пятеро.

Мы встретились через семнадцать лет, встретились тогда, когда за плечами каждого огромный багаж жизненного опыта, когда наши дети ходят в школу, изображают из себя бойцов испанской народной армии и мечтают быть Чкаловым. Я не хочу говорить о вас, здесь присутствующих. Вы сами можете рассказать о себе, например ты, Степан, о том, как ты стал техником-лесоводом, или как ты, Василий, застрял на кооперативной работе, или ты, наш Петро, любитель докладов о международном положении, как ты несешь вахту партийного работника. Но о нашей Насте, как о ней не скажешь? Через семнадцать лет мы встретились с ней впервые. И смотрите, она так же молода, весела и задорна. Рассказала бы ты нам, как после фронта ты попала в Сибирь, как работала на маленькой текстильной фабрике, как пошла учиться на рабфак, а потом в институт. Поведала бы ты нам о своем прекрасном сподвижнике, имя которого записано золотом на почетной доске нашей страны. Поведала бы ты нам, как своей нежной любовью и товарищеской поддержкой помогала своему другу в его большом, героическом полете. Настя, прости, что тебя, жену Героя Советского Союза, мать двоих детей, я называю так. Но ты подруга нашей юности, не обижайся, а передай наши искренние чувства своему другу.

Четверо из присутствующих здесь коммунисты, и уже с большим стажем. А где же остальные? Я звал их на сегодняшний тост, но они не приехали — у каждого свое дело. Миша Воронов может приехать не раньше осени. Его, видите ли, задерживают тяжелые льды Арктики. Он, как вы знаете, не первый год проводит летнее время в Арктике, а теперь зимует на острове Врангеля. А Федя Герасимов — кость от кости русский, крестьянин! Он ведет колхозное сельское хозяй-

ство в Кичменском городке — заведует райзо. Ему далеко и трудно добираться до нас.

Мне осталось сказать об Анюте Останиной, которую я видел года два тому назад. Она химик, работает на Магнитогорском комбинате. Вот ее телеграмма:

«Приветствую друзей, приехать не могу — занята производстве. Целую всех, искренне скучаю. Ваша Анюта».

Вася Бельковский живет со мной в одном городе. Он окончил Ломоносовский институт и сейчас работает инженером автозавода. Я часто встречаюсь с ним, люблю ходить по волжскому откосу, вспоминая нашу юность, наших друзей. Месяца три назад мы с ним расстались на полгода. Он уехал в Америку с группой инженеров и не мог присутствовать на нашей радостной встрече.

Остался один Коля Шабалин. Больше восьми лет, после отправки товарищей на фронт, мы учились и работали вместе. Мы вместе вступили и в партию. И женились в один год. Он работает в Москве, в Академии наук, подготовляет большой труд, имеющий огромное научное и экономическое значение для нашей страны. Он подал мне мысль о сегодняшней встрече. И он не смог приехать. Читаю только что полученную от него телеграмму:

«Дорогие друзья по ячейке. Я с вами, меня отделяет от вас четыреста километров прекрасного железнодорожного пути. Но я не могу приехать по очень радостной причине. В майские дни я жду второго сына. Ваш Коля».

Друзья! Выпьемте за Колю, за его сына, выпьемте за нашу молодость, за большую сокровенную дружбу.

1 мая 1937 г.

КОНЕЦ ГЛУХОМАНИ

Транссибирский экспресс на станции Шабалино не останавливался. Громыхая на стыках рельсов, с задорным ревом поезд промчался перед низеньким деревянным вокзальчиком, даже не замедлив хода, пронесся гордо, ухарски, оставив за собой широкий шлейф пыли. Я стоял у окна вагона, впивался взором в знакомые перелески, отмечал памятные дорожные будки, маленькие мостики и думал уже о том, как я буду добираться до этой станции, за двадцать лет не завоевавшей права на уважение скорого поезда. В Москве, в билетной кассе, мне сказали:

— На сибирский экспресс билеты продаем не ближе чем до города Кирова.

— Мне нужно на станцию Шабалино. Я могу купить билет и до Кирова, если нужно — и дальше. А на станции Шабалино этот поезд останавливается?

Кассирша подняла голову, презрительно посмотрела на меня, посмотрела так, что я даже поежился и выругал себя за глупый вопрос.

— Останавливается! — отрезала кассирша. — Вам мягкий?

Как только билет был положен в карман, я уже весь жил воспоминаниями детства и юности, уже видел свое село, точно на экране, кадрами из разных фильмов, в торопливости перемешанных монтажером, кусками вставали картины и события, отдаленные на четверть века и больше. Желание побывать в родных краях родилось в годы войны. Много в те длинные дни мы говорили друг другу о юности, о комсомольских делах и друзьях своих. В неторопливых рассказах, поведанных друг другу, мы видели истоки нашей силы, узнавали святую правду о поколении, на плечи кото-

рого лег тяжелый груз истории, энергией которого совершено все, что так беззаветно защищается сейчас народом. Нам было уже под сорок, а то и за сорок. В разных местах народили нас матери на свет, свои судьбы были у каждого, но дыхание нового времени, первые понятия о капитализме и свободе мы воспринимали вместе со стихами Пушкина и «Мцыри» Лермонтова. Не первый поцелуй, стыдливо сорванный в темном коридоре школы, постучался в наше сердце как признак наступившего возмужания, а красненький билет с отмеченной датой вступления в комсомол — был первой любовью, самой возвышенной, самой чистой и нежной.

Поэты, вспоминая о Родине, воспевают березки и луга, речки и рощи. Поэты — лирики, говорили мы, им все простительно. Но о березках и рощах писали и в дни Державина, упоминали о них Фет и Надсон. И в те далекие времена березки были так же кудрявы, и чудесная россыпь их зелени обрамлялась голубым небосклоном. Березки были милы и Борьке Таракановскому, и Митьке Балакину, и мне. Мы выросли в одном селе, видели одни и те же березки. А жизнь у нас была разная. Березки — декорация на сцене, в них разыгрываются разные драмы. Вспоминая в военные годы о детстве и юности, мы говорили не о декорациях-березках. Воображение каждого рисует картины сообразно его характеру и таланту. Мы вспоминали драмы первых лет революции, развернувшиеся на фоне березок и рощ. Мать меня родила и выкормила. Комсомол воспитал, поставил на ноги, дал энергию, веру, вдохнул силу и сказал:

— Иди вперед, иди твердо, не сворачивая с избранного пути!

Одни, начав этот путь в весенние годы революции,

стали учеными, генералами, писателями. Многие руководят районами, областями, заводами, совхозами, редактируют газеты, врачуют, учительствуют. Кое-кто оступился, его засосала болотная жижа, и он, точно кулик, сидит на своей кочке. Были и такие, кого громкая фраза, риторика краснобаев вначале завели в тупик, а потом история отбросила их в пропасть. Они мусор. Таких оказались единицы. Те, кто шел уверенно и прямо, почувствовали себя легче и чище.

Почти каждый раз, когда мы вспоминали прошлое, кто-нибудь говорил:

— Кончится война, буду жив, поеду на родину. Давно я там не был.

Об этом думал и я. В селе, где я родился, вырос, вступил в комсомол, у меня не было ни дома, ни родственников. А влекло в село. И не простое любопытство, и не березки. Нет. Меня занимала судьба села, его людей. Я хотел узнать о тех, с кем в ноябрьский вечер девятнадцатого года пришел в двухэтажный, деревянный, обшитый тесом дом, пришел к Родиону Останину, а он повел нас к двери одной комнатки, открыл ее и сказал:

— Вот ваша комната. Начинайте.

...Транссибирский экспресс на станции Шабалино не остановился. Со скоростью пятьдесят километров в час он промчался мимо Шабалина и затормозил лишь на станции Свеча. Пришлось возвращаться обратно с товарным составом.

А от Шабалина до села, куда нужно было ехать, — почти сто километров. Раньше тут был проселок без мостов через речки — ездили бродом. Конечно, не было и автомашин. А теперь недалеко от вокзала станции Шабалино к столбу прибита дощечка с лаконичной надписью:

«Посадка на автобусы».

Перед войной проложили тракт. Покрыли деревянным торцом. Сто километров машины легко пробегали за четыре, а то и за три часа.

Усевшись в автобус, вернее, в фанерный домик, воздвигнутый на платформе грузовика, пассажиры тронулись в путь.

На сей раз путь оказался не из легких: торцовая дорога давно не ремонтируется. Но так или иначе к месту мы добрались не за трое суток, как бывало раньше, а за один день.

Мы проезжали по местам малоизвестным, лесным. На больших географических картах подобные места помечены сплошными зелеными пятнами, без обозначения населенных пунктов.

Природа здесь девственно красива, просторы бескрайни и чисты. Точно океанские волны, над огромной зеленой гладью лесов и полей поднимаются увалы. Заберешься на верхушку такого увала, или угора, как говорят местные жители, и видишь рощи, сосны, ели, пихты. А между рощами, подобно озерам, — бархат светло-зеленых колхозных нив. Тут и там изгибаются реки и речушки. Деревеньки редкие и маленькие — десять, двадцать, тридцать дворов. Пошли они от починков, многие и до сих пор называются починками. Народ здесь ядреный, кряжистый, светловолосый и круглолицый, с голубыми, как небо, глазами, неслово-охотливый, но гостеприимный и трудолюбивый.

В этих местах из одного болотца начинают свой далекий путь две реки — Юг и Вохма. Вначале они бегут рядышком, а потом расстаются навечно. Река Юг, повернув на север, соединившись с Сухоной, образует Северную Двину и несет свои воды в Белое море.

Река Вохма течет на запад, в Ветлугу, поит матушку-Волгу и Каспийское море.

Вот здесь и лежит старинное русское село Вохма, давнишний торговый пункт большой округи, место, где была в давние годы развилка каторжных дорог: одни шли в Сибирь, другие — на Крайний Север. Ныне Вохма— районный центр Костромской области.

Купцы и прасолы прозвали Вохму золотым дном. Народ звал ее ямой, глухоманью, краем света. Золото лежало на текущих счетах двух десятков семей, а народ жил в бедности, темноте и невежестве, был неграмотен, забит. Купцы обирали народ: за фунт соли они брали пуд муки, за иголку — фунт масла, за роговой гребешок — двадцать яиц; лен и скот, ивовую кору и масло, шерсть и хлеб скупали у крестьян и вовсе за бесценок.

В крестьянах воспитывались замкнутость, отчужденность. Сосед соседу был враг. Люди ссорились насмерть, если соседская курица заходила в чужой огород; весной и осенью дрались на межах; годами судились из-за потравы лугов. Дворы обносились тыном, частоколом, поля разделялись высоченными изгородями из жердей с тяжелыми скрипучими воротами на полевых дорогах.

Здесь и ныне еще не дымят трубы заводов. Не проложены и железнодорожные пути. Нет даже гудронных и асфальтовых магистралей. Нет электростанций. И все же пейзаж другой. Новый колорит ему придают не только черные струйки дыма, выбрасываемые редкими еще льно- и маслозаводами. На огромном пространстве вы уже не встретите изгородей, точно сети опутывавших всю окрестность. В двадцать седьмом году со станции Шабалино в эту глухомань шел первый «фордзон». За трактором от деревни до деревни,

точно завороженные, бежали ребятишки и взрослые крестьяне. Трактор крушил на своем пути изгороди и тяжелые ворота, стоявшие на каждой версте, как бы возвещая своим приходом начало новой жизни.

И действительно, бесконечно далеким кажется пейзаж, изображенный на картине, — узенькие полоски с широкими межами, старик за деревянной сохой и жердяная изгородь, окаймляющая поле. Теперь нет ни межей, ни изгороди. Трактор, пришедший на помощь крестьянам, объединившимся в колхозы, как бы на столетия отодвинул в прошлое пейзаж, нарисованный еще два десятилетия назад. Из обихода исчезли не только кулак и прасол — эти безраздельные хозяева глухомани, — ненужными, мешающими делу стали сооружения, отделявшие человека от человека, двор от двора, деревню от деревни.

И конечно, пейзаж изменился не по доброй воле природы. Новые краски, индустриальные мотивы в него внесли люди, воспитанные советской властью, выпестованные в годы нашей великой эпохи. Они, эти люди, положили конец глухомани и вывели свои далекие и малоизвестные места на широкую дорогу новой жизни.

Исполнилось всего тридцать лет советской власти, и в такой глухомани осуществлено поголовное обучение детей. В районе тридцать шесть начальных, шесть семилетних и одна средняя школа. До революции здесь были и школа и больница. Но учительствовали приезжие люди или дети купцов. Врачи все иногородние. А теперь, как правило, все учителя, врачи и другие специалисты — дети местных крестьян. Одна средняя школа за годы советской власти из своих выпускников дала более тысячи ста представителей новой, советской интеллигенции; из них около четырехсот

учителей, тридцать врачей, около двухсот агрономов, землеустроителей, тринадцать преподавателей высших учебных заведений. Большинство нынешних преподавателей средней школы сами учились в ней. Десять лет назад школу окончил Иван Петрович Зайцев, а ныне он директор ее.

Раньше крестьянский сын, житель здешних мест, попав в армию, служил солдатом или денщиком, а чаще всего плелся в обозе. В годы Отечественной войны в рядах Советской Армии было более пятисот офицеров — уроженцев Вохомского района, бывшей русской глухомани. Около двух тысяч воинов из Вохмы отмечены высокими правительственными наградами, а трое удостоены почетного звания Героя Советского Союза.

Много и других разительных примеров можно привести о том, как изменились люди, выросла культура, иным стал быт в столь далеких районах, каким является Вохма. Но дело не в количестве примеров. Укажем лишь, что до революции на огромную округу здесь было одно почтовое отделение, а сейчас — двенадцать, что раньше в Вохме только представители местного купечества выписывали газеты, а крестьяне не получали ни одной. Здесь не имели понятия ни о телефоне, ни о телеграфе. А теперь в районе пятнадцать библиотек и изб-читален, выходит своя районная газета, выписывается более двух тысяч экземпляров областных и центральных газет.

И все же местная интеллигенция жалуется. На что? На то, что в район мало дают газет, что толстые журналы присылаются единицами. Мы часто сами не отдаем себе отчета в том, что подобные жалобы — свидетельство огромного роста людей. Их запросы изменились, они не могут довольствоваться тем, что было

не только раньше, до революции, а в прошлом году, вчера. Они, местные люди, ставшие культурными и грамотными, требуют больше газет и журналов, настаивают на том, чтобы к ним чаще приезжали лекторы и театральные бригады, чтобы радиотрансляции проводились не семь часов в сутки, а так же, как и в больших городах, — все восемнадцать часов.

— Пусть областные организации знают, что мы не желаем, не хотим чувствовать себя хуже других, — говорят местные работники. — Да, мы далеко от областного центра — пятьсот километров, но мы такие же, как и те районы, что рядом с Костромой. Мы — не глухомань!

Знакомые тропинки и бугорки, до последнего дерева изученные перелески. Все тут исхожено в детстве и юности, отсюда унесены в жизнь первые песни и любовь к природе, голос птиц и запах трав, навсегда оставшиеся в памяти беседы друзей о комсомоле, о будущем. Здесь, на Исадах, в широких водах реки Вохмы Яша Останин руками ловил налимов, а заика Вася пел песни широко и вольно и ловко нырял под проходившие плоты. О неповторимые годы детства и юности!

Опять те же тропинки и перелески, но уже через четверть века! И рядом идут старые школьные товарищи, друзья юности, люди с посеребренными прядями волос, с бороздками морщин на лице, идут учителя, врачи, бухгалтеры, руководящие районные работники. И точно в песне перекликается юность, как на экране, в дорожной беседе проходит гордая жизнь замечательного поколения, своей кровью окропившего поля битв гражданской войны, боровшегося с голодом и разрухой, начинавшего коллективизацию, воздвигав-

шего фабрики и заводы первых пятилеток, командовавшего полками и дивизиями в минувшую войну.

И, как четверть века назад, на берегу Вохмы костер, уха из стерляди, пахнущая дымом костра, старинная хороводная песня, игра в чехарду. Встреча друзей сблизила время, и ни седины, ни морщины не помешали ни резвости, ни широте песни. Но как бы предметным, осязаемым напоминанием о прожитом, великом и большом, тут же над рекой, где раньше шумела девственная березовая роща, поднималась к небу высоченная черная труба, раскинулись корпуса и постройки, растянулись бунты прессованного льноволокна — здесь ныне работал льнозавод.

Прошлое было в песнях и в игре. А беседа за ухой шла о настоящем и будущем. Прошлое отчетливее окрашивало настоящее, через прошлое явственнее выступало величие будущего. Вокруг меня сидели люди дела; всматриваясь вперед, они искали в мечтаниях реальные зерна, стараясь превратить их в явь. Этому их научили тридцать лет новой эры человечества.

Что было бы с этими крестьянскими детьми, если бы не было революции, не было бы советской власти? Разве нетрецовская крестьянская девушка Вера Попова могла бы мечтать о высшем образовании, а тем более о заведовании районным отделом народного образования? Аня Лебедева лучшим своим уделом, как и ее родители, считала работу по домашнему хозяйству, а ныне она преподаватель политэкономии в среднем учебном заведении, руководящий работник района. С Федей Герасимовым под тусклый мигающий свет лучины, наполнявшей избу едучим дымом, мы, учась в школе, решали алгебраические задачи, а теперь Федор Афанасьевич, растянувшись на пушистой траве, вглядываясь в синие воды Вохмы, повествует мне о

том дне, когда все здесь изменится. Он говорит медленно, увесисто:

— Через реку нужно перебросить железобетонную насыпь, а в ней — щиты, регулирующие уровень реки. Воды лесной Вохмы с силой ударят в лопасти, завертятся турбины, в белом здании, что будет стоять вон там, на берегу, человек включит рубильник, в деревеньки, в деревянные избушки побежит электрический свет. Вохма шагнет вперед на столетия!

Людмила Ивкова, по профессии врач, а по должности заведующая райздравом, думает о тех днях, когда река Вохма будет судоходной, и она в месяцы летнего отдыха вместе с детьми усядется на белогрудый пароход и проплывет на нем до самой Волги. Те, кто за обе щеки уплетают уху, рассказывают мне о том, как через еловые, сосновые и пихтовые волоки уже прорубаются широкие просеки, воздвигаются насыпи, укладываются рельсы, что просека пройдет и через эти места, и вохомские края огласят свистки паровозов, и чугунка вдохнет в бывшую глухомань настоящую бурную жизнь.

Крепкая вера у советских людей в будущее. Она подкреплена всем прошедшим на их глазах. Они сами творцы новой жизни, они видят будущее.

Советский строй, колхозная система перечеркнули понятие о глухомани. За тридцать лет так называемые медвежьи уголки сделали прыжок, каких при любых других условиях они не совершили бы и за столетия! И каждый из таких уголков сумел уже прославить себя и своих людей на всю страну, на весь мир. Знакома такая слава и Вохме.

1947

МОЙ ЗЕМЛЯК ПЕТР КОЗЛОВ

Нужен какой-то толчок, чтобы на волнах встревоженной памяти зримо всплыло событие давно минувших лет или образ человека, затерявшегося в толпе людей, повстречавшихся на жизненном пути. В данном случае таким толчком был горячий разговор об Иванах, не помнящих родства. Происходил этот разговор в год окончания второй мировой войны в одной из комнат редакции большой московской газеты. Искусствовед, кандидат наук, наступал на сидевшего в глубоком, обитом кожей кресле литературоведа.

— У вас, литераторов, все проще: имя писателя живет с его книгой, — говорил он. — А в театре? Тут вся история похожа на какую-то схему, нарисованную пунктиром, черточками, разделенными между собой просветами. Сошлюсь хотя бы на такой пример. В театральных учебных заведениях мы говорим: первого мая 1919 года Ленинградским пролеткультом поставлена «Легенда о коммунаре» Петра Козлова. Пунктир есть — названа пьеса. А дальше — пустота. Кто такой Петр Козлов, автор пьесы, удостоенной быть первой в репертуаре советского театра? «Легенда о коммунаре» — единственная пьеса Петра Козлова или у него есть еще драматургические произведения? Где он жил, чем был занят до постановки «Легенды о коммунаре» и после этого? Никто не знает? Даже Александр Авельевич Мгебров, автор двухтомных мемуаров «Жизнь в театре», пересказав содержание «Легенды о коммунаре», весьма лаконичен, когда речь зашла об авторе пьесы. Петр Козлов — весьма любопытная фигура. По происхождению он крестьянин, образования не имеет, но одарен от природы — вот все, что мы узнаем из мемуаров Мгеброва о первом советском

драматурге. А кроме как у Мгеброва, о Петре Козлове вы нигде ничего не прочитаете и не узнаете.

Искусствовед говорил еще долго. Стоило литературоведу раскрыть рот, чтобы что-то сказать, искусствовед жестом останавливал его и переходил ко второму, третьему, четвертому примерам, утверждавшим его мысль о пунктирности схемы истории советского театра. Тогда я пришел на помощь литературоведу и тихо проговорил:

— В юности своей я знавал Петра Козлова...

— Петра Козлова? Автора «Легенды о коммунаре»? — точно соскочившая с крепления пружина, взвился искусствовед и от литературоведа переметнулся ко мне. — И молчите? И не пишете о нем? Что же вы знаете? Рассказывайте немедленно! Сейчас же! Со всеми подробностями, не пропуская ни одной детали!

К сожалению, рассказать я смог немногое — отдельные эпизоды, возникавшие в памяти.

В конце 1919 года в наше большое, базарное, торговое село Вознесение-Вохма, что в ста верстах от железной дороги, в ста двадцати верстах от уездного городка Никольска и в трехстах верстах от древнего Великого Устюга — центра новой Северо-Двинской губернии, пришел и расквартировался продовольственный отряд. Затерявшиеся в глухих лесах деревеньки нашей и соседних волостей были настоящим российским захолустьем. Земли привольные, богатые. Хлеб в ту пору в наших местах был. Взять его не стоило особого труда. Вывезти хлеб к железной дороге было труднее, сто верст малопроезжих лесных дорог с паромами и шатающимися мостами через реки и речушки. Продовольственный отряд и должен был решить проблему транспортировки хлеба.

Я жил на окраине села. Неподалеку от нас стояла

деревня Белькова с ее длинными улицами. Жители Белькова по пути в село проходили перед окнами нашей избы. Я знал почти каждого из них, их лица, походку, одежду. И вдруг перед окном промелькнули новые, незнакомые люди. Один высокий, даже длинный. Другой низенький, приземистый. И оба в форме военных моряков. Кто они? Откуда? Зачем пожаловали в наше село? Эти, да и многие другие вопросы захватили меня и моих сверстников. Но вскоре все разъяснилось. В конюшке продотряда, где мы помогали бойцам чистить лошадей, кто-то из кавалеристов сказал:

— Сегодня вечером в начальной школе для нашего отряда будет дан концерт. Выступают поэты, приехавшие из Питера. Приходите.

Так мы и сделали.

На сцене, за небольшим круглым столиком, те самые загадочные морячки, что занимали умы мальчишек уже несколько дней. Они были не в бушлатах, а в матросках с огромными откидными воротниками. Низенький крепыш матрос встал и объявил:

— Перед вами революционные писатели Питера. Моряк Красного Балтийского флота, поэт Эдуард Андринг. — Высокий матрос встал во весь свой огромный рост и поклонился. Крепыш продолжал: — Его перу принадлежит известная поэма «Как белогвардейцы кормили красноармейцев». А я — Петр Козлов, ваш земляк. Родился и детские годы провел в вашем селе. Пишу рассказы, повести, пьесы. Иногда балуюсь и стихами. Сегодня мы прочтем произведения, написанные нами и другими революционными писателями. В заключение будет дан небольшой дивертисмент.

С этого концерта все и началось. В солдатских казармах и в зале начальной школы Петр Козлов репе-

тировал одноактные пьесы и театрализованные концертные номера. Десятки командиров и бойцов отряда приобщались к сцене, к театральной культуре. Нас, мальчишек, теперь больше толкавшихся не в конюшнях, а на репетициях, Петр Козлов быстро вовлек в круговорот своих начинаний. Одни участвовали в массовках, другие переписывали роли для бойцов, помогали готовить и устанавливать несложные декорации. На меня Петр Сидорович возложил обязанности, носившие в ту пору замысловатое название — сценариус, что в переводе на современную практику значит — помощник режиссера.

Теперь концерты давались каждую субботу. Количество желающих попасть на представления в несколько раз превышало возможности школьного зала. Тут-то и проявилась кипучая энергия Петра Сидоровича. Он организовал около себя комсомольцев, учащуюся молодежь, добился поддержки командования продотряда и при их участии на деньги, вырученные от концертов, стал переоборудовать здание бывших магазина и чайной под театр. Дом этот стоял в центре села, на развилке двух улиц. Низ — кирпичный, верх — деревянный. Внизу ломали перегородки, строили сцену, фойе, актерские уборные. На втором этаже оборудовали библиотеку, комнату отдыха, костюмерную.

Работа шла всю зиму. Весной двадцатого года распахнулись двери театра, названного по предложению Козлова «Вохомский крестьянско-рабочий театр имени А. В. Луначарского».

В северной глухомани на третьем году революции открылся подлинно народный театр. И первый спектакль в нем — «На дне» А. М. Горького. Все мужские роли исполняли командиры и бойцы продотряда. Только Луку играл постановщик спектакля Петр Козлов.

Спектакли давались раз, потом два и, наконец, три раза в неделю. Козлов поставил многие пьесы Островского, Чехова, Горького, «Ревизор» Гоголя, «Дни нашей жизни» Андреева. Сбор со спектаклей шел на нужды театра: закупали и шили костюмы, создавался запас париков и декораций. В спектаклях участвовали не только продотрядцы, но и служащие, и учителя, и врачи, и учащиеся старших классов школы второй ступени.

Петр Сидорович, как говорят, и дневал и ночевал в театре. Приходил он рано утром и, как рабочий человек, облачался в синий комбинезон. Невысокий, коренастый, на короткой шее крупная голова с длинными, зачесанными назад волосами, с высоким открытым лбом, по которому жизнь уже успела проложить ряды борозд, — было ему тогда всего лет тридцать пять. Он включался в любую работу. Пишутся декорации — Козлов тут, он не только советует, если нужно — и сам берет кисть, то фон рисует, то подправляет аляповатые мазки молодого декоратора. Всех актеров-любителей попервоначалу он гримировал сам, пока каждый не овладевал этим своеобразным тонким искусством. На репетициях Петр Сидорович сидел около прохода, в первом ряду. В пустом зале гремели его режиссерские реплики:

— Браво, браво, Елена Ивановна! Еще энергичнее произнесите эту фразу!

— Вы что, голоса лишились? — обращался он к другому исполнителю. — Громче. Голосом власть покажите. Вот так... — И он вскакивал, именно вскакивал, на сцену в своем комбинезоне и «голосом показывал власть», «входил» в роль и исполнял шедший на репетиции эпизод, уча актера-любителя таинству мастерства.

А сам играл — ну, как об этом сказать, — ни я, мальчишка-комсомолец, ни мои сверстники, ни люди постарше, до той поры не видевшие не только театра или кино, а даже паровоза, железной дороги, автомобиля, впервые смотрели на человека, который на наших глазах перевоплощался в разных людей, населявших пьесы Островского, Чехова, Горького. Первое впечатление, как и первая любовь, — самое сильное, самое памятное. Позднее я понял, что, например, Луку в «На дне» Козлов играл «под Москвина». Играл превосходно.

Петр Козлов сумел внести творческую атмосферу во многие ячейки общественной жизни нашего села. В школе второй ступени образовался свой драматический кружок, а хоровой кружок давал в театре свои концерты, на которых с успехом солировали способные вокалисты-школьники. Ученики, увлекавшиеся живописью, писали декорации и афиши для театра. Продовольственный отряд ушел из села, но в самодеятельной труппе у Козлова были подготовлены силы для любой пьесы. Петр Сидорович создал даже детскую театральную студию. Вначале сам репетировал спектакли для детской аудитории, такие, к примеру, как «Кот в сапогах», а потом группу ребят, в число которых попал и я, стал учить режиссерскому мастерству.

Как-то незаметно вокруг Петра Козлова образовался и кружок любителей литературы, людей, писавших стихи и рассказы. Участники литкружка собирались в библиотеке над театром. Читали и обсуждали свои опусы. Петр Сидорович слушал, разбирал, даже правил некоторые творения членов кружка. Не без его влияния у нас в школе стал выходить рукописный литературно-художественный журнал. В конце 1920 года был издан машинописный сборник «Коллективным

трудом», в который попали и мои робкие попытки в стихосложении.

Петр Козлов был не только судьей, но и слушателем внимательным и благодарным. В 1920 году, в Вохме, он написал пьесу «Коршуны», в основу ее легли местные события. У кулака-спекулянта Карпа два сына: Кирилл и Владимир. Владимир, старший, давно работает в городе на фабрике. Он убежденный коммунист, Кирилл — правая рука отца. Все события в пьесе развертываются в дни приезда Владимира на короткую побывку в родные места. От местного учителя, коммуниста, Владимир узнает всю правду об отце и брате. Учитель говорит Владимиру: «Мы живем в глухом углу, сюда газеты приходят через две недели, но и здесь жизнь шла не всегда спокойно. Прошлым летом было восстание. Вот такие же спекулянты, как твой отец, работали среди темного, несознательного крестьянства, шипели, шептали, уговаривали. . .» Владимир, выслушав учителя, решил разоблачить отца и брата. Но брат опередил Владимира. Подкупленный Кириллом местный хулиган и бандит Гришка убивает Владимира.

До постановки пьесы в Вохомском театре Козлов читал ее на литературном кружке и на драмкружке, внимательно выслушивал и записывал все замечания. Многое оттачивал на репетициях. А когда поставил пьесу — спектакли шли с неизменным успехом два месяца подряд, — он все еще шлифовал ее, учитывая реакцию зрителей на отдельные эпизоды. И только потом отвез пьесу в Вологду, где она в конце 1920 года вышла отдельным изданием и широко разошлась по стране. Пьеса «Коршуны», по сути дела, была первой пьесой, показывающей послереволюционные классовые схватки в деревне.

В конце 1921 года Петр Сидорович уехал из села Вохмы. Примерно через год в губернской газете «Советская мысль» стали появляться его стихотворные фельетоны и басни за подписью «Петр из Вознесения». Вохомцы, по разным делам ездившие в Великий Устюг, рассказывали:

— Наш-то земляк не только басни для газеты пишет, а, как и у нас в селе, в Великом Устюге театр Пролеткульта организовал. Сам режиссирует, да нередко и играет в спектаклях.

После отъезда Козлова из Вохмы больше я с ним не встречался и ничего о его жизни не знал. Но дело его в нашем селе жило. Приняв от Петра Козлова эстафету, театр в селе вели мы, комсомольцы, ставили спектакли, давали концерты, сбор с которых шел то в помощь Красному Флоту, то в уплату за учение бедных учащихся, то на усиление борьбы с туберкулезом.

Вот, пожалуй, и все, что я смог сообщить темпераментному искусствоведу о Петре Козлове.

Искусствовед поблагодарил за скромную информацию и взял с меня слово разыскать книгу А. А. Мгеброва и прочитать ее.

— Вы узнаете из этой книги, что в юности встретили действительно незаурядного человека, — наставлял меня искусствовед.

Прошло немало времени, пока в букинистических магазинах Москвы я разыскал оба тома мемуаров А. А. Мгеброва «Жизнь в театре», изданные «Academia».

Кто такой Александр Авельевич Мгебров? «Его путь, — пишет в предисловии к мемуарам А. А. Мгеброва Евг. Кузнецов, — прошел почти сквозь все театральные течения последнего двадцатилетия — от Орленева до Станиславского, от Комиссаржевской до

«Легенды о коммунаре», от Евреинова до Мейерхольда...» В данном контексте «Легенде о коммунаре» отведено место целого театрального течения, и оно включено в столь знаменитое созвездие. Мемуары А. А. Мгеброва заканчиваются главой «Легенда о коммунаре».

Что же пишет о «Легенде о коммунаре» ее постановщик и автор мемуаров А. А. Мгебров? Мы узнаем, что автор мемуаров и его друг и сподвижник В. Чекан в 1919 году жили в квартире Павла Бессалько, одного из теоретиков и энтузиастов Пролеткульта...

«...Я великолепно помню, как в этой самой квартире разгорелась наша последняя работа первого нашего пребывания в Пролеткульте, — пишет Мгебров, — полная совершенно исключительного подъема, над пьесой Петра Козлова «Легенда о коммунаре».

«Легенда о коммунаре» сыграла, пожалуй, самую значительную роль в смысле агитационно-политического значения для того времени, и она надолго составила для нас центр всех наших выступлений, побед и завоеваний».

Однажды Мгебров зашел в штаб военного округа. Его остановил «очень маленький красноармеец с несколько странным лицом» и робко попросил прочитать его пьесу. Мгеброву пьеса не понравилась и была отвергнута. За две недели до 1 мая 1919 года театр, собиравшийся отметить этот день «чем-нибудь действительно ярким», оказался без подходящей пьесы.

«И вот, вдруг, в какой-то один весьма, по-видимому, счастливый день В. Чекан принесла мне пьесу Петра Козлова «Легенда о коммунаре», ту самую, что была мною почти заброшена, и предложила внимательно ее прочитать, — пишет А. А. Мгебров. — Я стал читать и вдруг понял сразу, в одно мгновение, что луч-

шей пьесы для 1 Мая нам не найти... Во всех без исключения пьеса нашла отклик и пробудила среди нас огромный энтузиазм и жажду ее осуществления... мы не ошиблись: пьеса прошла с небывалым успехом...»

«После первого же представления «Легенды о коммунаре» в Пролеткульте, на улице, к следующим представлениям, тянулись длиннейшие очереди. Рабочие валом повалили на легенду», — утверждает далее А. А. Мгебров.

Есть в мемуарах Мгеброва и такие строки:

«Часто бывало, что во время спектакля, особенно на фронтах, где больше всего она шла, из зрительного зала неслись крики, причем очень страстные и волнующие: «Вот это пьеса!.. Вот это нашенская!» Я не помню буквально ни одного спектакля (а их прошло не менее двухсот), чтобы «Легенда о коммунаре» имела в массовой аудитории хотя бы даже только средний успех, — нет, она всегда проходила с успехом совершенно исключительным и, повторяю, таким, какой я почти нигде и никогда не наблюдал».

Мемуарист приводит и другие примеры глубокого воздействия спектакля на аудиторию. В июне 1919 года театр выступил в прифронтовом Красном Селе в огромном помещении на полторы тысячи мест. Несколько дней «Легенда о коммунаре» шла для дезертиров, сидевших в оцепленном охраной здании. Когда начинался спектакль, дезертиры сидели в зале сумрачные, предубежденные к любой агитации. «И что же происходило потом?» — спрашивает А. А. Мгебров и тут же отвечает: «Эти же самые дезертиры, взволнованные спектаклем, без всякого принуждения, вставали, как один человек, и по окончании пьесы пели с огромным воодушевлением «Интернационал» и тут же

клялись, что они сами сейчас же отправятся на фронт и в бой».

Представление о том, какой успех имела «Легенда о коммунаре», мы получили. А что нового узнали об авторе пьесы? Мгебров скуп на сведения о драматурге. «Петр Козлов фигура весьма любопытная, — пишет мемуарист. — Крестьянин по происхождению, очевидно, одаренный от природы. . .»

Так же мимоходом Мгебров роняет еще несколько фраз о драматурге: «Петра Козлова отнюдь нельзя до конца считать таким пролетарским поэтом, писателем или драматургом. И, однако, в нем все же что-то такое было, что заставляет на нем останавливать внимание. Этот маленький человек не совсем высокой культуры сумел хотя бы в одной только своей пьесе, какой была «Легенда о коммунаре», так ярко проявить себя, так образно и красочно о чем-то рассказать, о чем-то самом главном, быть может, для тех дней, что я не знаю ни одной пьесы, которая бы так волновала массовую аудиторию, как волновала тогда «Легенда о коммунаре», не только рабочую аудиторию здесь, в Петрограде, но и тысячи, десятки тысяч красноармейцев, зрителями прошедших через нее».

Видимо, поставив спектакль, Мгебров уже не интересовался автором пьесы, тем более, как мы теперь знаем, глубокой осенью 1919 года Петр Козлов уехал из Петрограда на родину, в село Вохма.

Когда я перевернул последние страницы книги А. А. Мгеброва «Жизнь в театре», Петр Козлов напрочно утвердился в моих планах, и я, повстречавшийся с ним в годы юности, решил узнать о нем все, что можно узнать.

Для меня также было ясно, что «Легенда о коммунаре» не единственная пьеса, написанная Петром Коз-

ловым. А «Коршуны», которую он ставил в Вохме и которая издана в 1920 году в Вологде?

Где же искать следы Петра Козлова? Я окончательно уехал из Вохмы в конце 1924 года, и с той поры мои пути не переплетались с жизненными дорогами Петра Сидоровича. Я не видел ни постановок его пьес, не встречал и книг, написанных им.

Куда пойти, кому поклониться?

В Ленинграде в Государственной публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина давно работает мой старый друг, бывший журналист Серафим Матвеевич Бабинцев. Я — к нему:

«Дружище! Посмотри, нет ли в вашей библиотеке следов творчества Петра Сидоровича Козлова?»

Бабинцев ответил скоро, но с хитрецой:

«Найдены не следы, а целая тропа творчества П. С. Козлова. Но книги его у нас в одном экземпляре, и, чтобы познакомиться с ними, тебе придется приехать ко мне, в Ленинград».

Ничего не поделаешь, пришлось ехать в Ленинград.

И вот передо мной небольшая стопочка книг. Я долго перебираю их, как бы прикасаясь к дорогим для меня душе и совести Петра Сидоровича Козлова. Разложил их в хронологическом порядке и стал читать.

У меня в руках тоненькая книжечка в обложке цвета стального отлива. В ней всего восемнадцать страниц. Называется «Экзерсисы». Издана в 1907 году в Вологде, в типографии И. И. Соколова. Тираж не указан. В книге пять этюдов-рассказов. Многое объясняет первая страница «От автора»:

«Не оправдываться хочу предисловием, но делаю его только потому, чтобы не навлечь на себя напрасной критики со стороны прочитавших меня. Издавая «Экзерсисы», не самолюбие руководит мной или матери-

альные выгоды... нет, я только жду мнений по отношению к книжке, которая послужит мне уроком... Заброшенному жизнью в глухой угол родины, без связей и без всякого образования, мне трудно найти товарища, который бы литературно воспитал меня, и в этих слабых опытах я рискую пробовать силы, отдавая свои упражнения на суд общества... Вологда 1907 г., 9 марта».

Несколько строк, а говорят они о многом. «Без всякого образования». Как Максим Горький. Как Всеволод Иванов. Все самоуком. Неукротимая воля и трудолюбие руководят такими людьми. Выходец из народа, он пишет о доле народной, его заветных мечтах.

С рассказами из «Экзерсисов» перекликается и двухактная пьеса Петра Козлова «Из жизни», изданная той же вологодской типографией И. И. Соколова и оформленная так же, как и «Экзерсисы». Действующие в пьесе лица — рабочие.

Третьей книжкой, лежавшей передо мной в небольшой стопке, была самая объемная, в ней 114 страниц, издана она в 1915 году, в Петрограде, в типографии «Разум», и называется просто «Рассказы». Рассказам предпослано любопытное вступление:

«— Зачем ты написал эту книгу? — спрашивает меня человек.

— Брат, — отвечаю я, — я пишу не для многих.

— Знаю, — соглашается он.

— Погоди... а если этих немногих нет, пишут для одного...

Человек поднялся и хотел уйти.

— Вот что, — добавил я, — ...впрочем, и этого одного может не существовать.

— Так для чего или для кого написал ты ее? — пытливо посмотрев на меня, снова спросил он.

Я молчал.

Что я мог сказать ему?

И вот, только когда я остался один, пришла запоздалая мысль.

Вот она.

— Брат, человек, я не мог не написать этой книги. Не мог скрыть от людей, так как она — капля в море, без которой море не будет меньше по величине, но все-таки в нем не хватит одной капли. . .»

В книге пять вещей. Жизненные случаи, довольно тяжелые и мрачные, рассказанные писателем с суровой жестокостью.

Три книжки — дореволюционное далекое прошлое. Но вот и четвертая книжечка. Та самая «Легенда о коммунаре» — пьеса-поэма в пяти картинах. Книжечка издана уже в 1923 году, в Архангельске, в серии «Рабочая библиотека».

В той же стопочке книг, что лежала передо мной, было еще пять — пьесы Петра Сидоровича Козлова, изданные в разные годы. Все они отмечены острой злободневностью, в каждую из них вложен агитационный заряд, а содержание их в какой-то мере выражено в названиях: «Мордоворотов», «Селькор Будилов», «Отец Архиплутий», «Конфуз», «Красный петух».

Поблагодарив Серафима Бабинцева за любезное участие, я уезжал из Ленинграда не только не удовлетворенным, а еще в большей степени настроенным на поиск, убежденный в том, что имя моего земляка Петра Козлова незаслуженно забыто.

И вдруг письмо:

«Недавно я просматривала книжки, изданные в библиотечке журнала «Огонек» за 1963 год. Среди этих книг была Ваша «О друзьях-товарищах». Когда я прочитала напечатанную в книжке, кратко изложен-

ную Вашу биографию, то вспомнила мальчика Леню Кудреватых, который жил в селе Вознесение-Вохма и часто бывал у писателя Козлова Петра Сидоровича. Я и раньше встречала Вашу фамилию на страницах газет и журналов. Хотя у Вас и редкая фамилия, но я сомневалась — Вы ли это? И только когда прочитала Вашу биографию, убедилась в своих предположениях о Вас...»

Конечно, я немедленно откликнулся на зов жены и друга Петра Сидоровича Анны Васильевны Козловой, которую последний раз видел более сорока лет назад. В памяти возник образ милой, привлекательной женщины небольшого роста, русоволосой, с ясным, открытым русским лицом. Я написал ей:

«Да, это я, тот самый... Как сложилась жизнь и судьба Петра Сидоровича? Какие пьесы и книги он написал?»

«Петр Сидорович умер в 1935 году, — был скорбный ответ. — В год своей смерти он начал писать повесть «Ушедшие» — воспоминания о писателях-современниках. Но смерть помешала закончить повесть...»

Мы долго переписывались с Анной Васильевной, но при всем желании обеих сторон в письмах не выскажешь всего, что можно рассказать при личной встрече. И я опять поехал в Ленинград, куда вскорости после смерти П. С. Козлова вернулась Анна Васильевна. В небольшом двухэтажном домике на набережной Свердлова, в узенькой длинной комнате с одним окном, глядящим во двор, я провел многие часы, слушая рассказы Анны Васильевны, старенькой, измученной гипертонией, но удивительно жизнерадостной, всем интересующейся женщины. Я сидел у стола, что стоял у одной из стен комнаты, а с другой стены, что напротив меня, смотрел с увеличенной фотографии Петр Сидо-

рович Козлов, таким, каким я его видел в те далекие годы: высокий лоб, откинутые назад волосы, добрый, проницательный взгляд. Под портретом групповая фотография. Петр Сидорович — в центре: небольшой, худенький, с глубокими бороздками морщин на лице и редкими прядями волос.

— Последнее изображение Петра Сидоровича, — поясняет Анна Васильевна. — В июне 1935 года в Архангельске состоялся первый съезд писателей Севера. На фотографии — участники этого съезда. А в сентябре Петра Сидоровича не стало.

Анна Васильевна положила передо мной на стол номер журнала «Звезда Севера», издававшегося в Архангельске, за сентябрь 1935 года. На одной из страниц журнала напечатан взятый в траурную рамку портрет П. С. Козлова, а на другой — некролог:

«12 сентября в с. Семеновском Северного края умер один из старейших писателей-драматургов Севера Петр Сидорович Козлов — член Союза советских писателей. Петр Козлов принадлежит к тому типу старых писателей, которые вышли из глубоких народных масс. По-настоящему талант П. С. Козлова развернулся лишь после Октябрьской революции. П. Козлов был первым советским драматургом... Козлов написал около десяти пьес, из которых многие: «Коршуны», «Сказка о царе репного государства», «Отец Архиплутий» — в 1923—1927 гг. с успехом шли почти во всех театрах Северного края (в ту пору в Северный край входили бывшие Архангельская, Вологодская и Северо-Двинская губернии и Коми АССР. — *Л. К.*)... В последнее время он работал над книгой «Ушедшие» — воспоминаниями о своей старой литературной работе, писательской богеме, своих встречах с Куприным, Ам-

фитеатровым, Евг. Чириковым, В. Г. Короленко и друг. ...»

Да, так сложилась судьба: некролог «П. С. Козлов» и второй кусок из неоконченной книги Петра Козлова «Ушедшие» напечатаны в одном и том же номере журнала.

Анна Васильевна достает из чемодана сверток — все, что осталось из литературного архива Петра Козлова.

— Петр Сидорович, как и я, был человек беспечный, — смеется Анна Васильевна. — Никаких бумаг не хранил. Вот все, что мне удалось сберечь. А ведь прошло, подумать только, тридцать лет! А долгие месяцы блокады Ленинграда в годы второй мировой войны!

Анна Васильевна развязывает сверток.

— Это поможет нам в беседе, — говорит она и тут же находит листок, исписанный четким, каллиграфическим почерком, характерным для Петра Козлова. — Петр Сидорович написал не десять пьес, как указано в некрологе, а больше, — продолжает вдова. — Вот список пьес, написанных Козловым. Он составлен им самим.

Я читаю и говорю:

— Пятнадцать пьес и инсценировки двух наполненных революционным пафосом романов!

— Не торопитесь, — останавливает меня Анна Васильевна. — Этот список, не знаю, когда и по какому поводу написанный Петром Сидоровичем, обрывается на 1924 годе. А вот рукописи пьес, написанных им позднее, — и Анна Васильевна берет из свертка рукописи: «Работнички», «И будет так», «Сконфузили».

— Значит, двадцать драматических произведений, восемнадцать из них самостоятельных, — говорю я и добавляю: — И это еще не все. В библиотеке имени

Салтыкова-Щедрина в числе изданных пьес Петра Сидоровича есть четыре, не названные в его списке. Значит, уже двадцать четыре...

— И конечно же не все, — снова смеется Анна Васильевна. — Петр Сидорович, насколько я его знала, а знала я его с восемнадцатого года, жил только сегодняшним днем, не сокрушаясь о прошедшем и не заглядывая в завтра. «То, что прожито, это отшумело, о нем не стоит и горевать», — часто повторял он. И, как видите, у него не сохранилось не только никаких автобиографических документов, а и книг его, изданных пьес, которые вы видели в библиотеке Салтыкова-Щедрина. Даже «Легенды о коммунаре», изданной в Архангельске, у нас не оказалось. Кстати сказать, «Легенда о коммунаре» — не первая пьеса Петра Козлова, поставленная в советское время. Вот, почитайте-ка!

Анна Васильевна показывает мне вырезку из газеты «Вологодские известия» от 1 августа 1918 года. Читаю:

«10 августа в городском театре товариществом сотрудников артистов Государственного Александринского театра под режиссерством Л. С. Вивьева будет поставлена пьеса пролетарского писателя вологжанина Петра Козлова «Обреченный». Впервые пьеса была поставлена в Петрограде, в театре «Комедия», и имела крупный успех».

— Выходит, еще в 1918 году в Петрограде и Вологде уже ставились произведения Петра Козлова и имели крупный успех, — заключил я.

— Выходит так, — соглашается Анна Васильевна.

— А где жил, где работал Петр Сидорович последние годы жизни? — спрашиваю я.

— Петербург был важным эпизодом в жизни Петра Сидоровича, — поясняет Анна Васильевна. — Здесь он появился в 1910 году из Вологды и жил в Питере, видимо, до 1916 года. Потом оказался в Архангельске. А когда весной 1918 года началась интервенция Севера англичанами и их белыми наемниками, редакции архангельских газет, в которых в ту пору работал Петр Сидорович, эвакуировались в Вологду. Из Вологды — в Питер. Здесь он становится работником политотдела Балтийского флота. А дальше — «Легенда о коммунаре». Осенью 1919 года Петр Сидорович основательно простудился, начался процесс в легких, и мы, по совету врачей, уехали на его родину, в село Вохма. С той поры до дня кончины Петра Сидоровича мы жили в родных для него местах: село Вохма и прилегающие к нему деревни, города В. Устюг, Вологда, Архангельск. Последние годы жизни он был слаб здоровьем.

Многое о творческом пути талантливого драматурга я вычитал в повести «Ушедшие», названной Козловым в подзаголовке — «Очерки из жизни писателей прошлого». Девять глав повести опубликованы в седьмой и девятой книжках журнала «Звезда Севера» за 1935 год, а четыре следующих главы сохранились в рукописи. Читаю:

«Да, три месяца назад никто не знал из жителей столицы, что из вагона третьего класса вышел молодой человек с корзинкой и подушкой, завернутой в одеяло, вышел затем, чтобы стать писателем. Как же я могу поступить иначе? В моем родном городе меня уже печатали в газете и все уверяли, что я талантлив, и советовали ехать в столицу. И вот я в столице. За все это время не напечатали ни одной моей строки... Все более или менее ценное уже давно спущено, а

оставшееся имущество заключалось в рукописях, подушке, одеяле и паре белья. Просить помощи? У кого? В Вологде осталась старуха мать, а знакомые... Я слишком рано узнал, что значит добрые знакомые, и обращаться к ним было так же бесполезно, как бесполезно просить спеть песню печную заслонку».

С 1910 года в журнальчиках типа «Вечер», «Родина» и других начинают появляться рассказы, рассказики и фельетоны за подписью Петр Козлов. Пройдет несколько лет, пока Петра Козлова признает маститый В. Г. Короленко — в 1915 году в «Русском богатстве» он напечатает рассказ Петра Козлова «Сенькина полоска».

Когда я прочитал повесть «Ушедшие», многое понял в нелегкой и негладкой жизни Петра Сидоровича. В моей памяти, в череде приятных и радостных картин, увиденных в ранней юности и связанных с Петром Козловым, встают хотя и редкие, но все же печальные случаи.

Суббота. Прибегаю из школы, а дома меня ждет записка: «Леня! Сегодня пойдем на ночь ловить рыбу. Нужно накопать червей штук 100 — не меньше. Как только придешь домой, приходи немедля ко мне — Петр Козлов». Я, обрадованный предстоящей ночной рыбалкой, беседой у костра, за время которой побываю в неизвестном мне мире, накапываю банку червей и, прихватив с собой написанную за минувшую неделю первую и единственную одноактную пьесу «Попался» с посвящением: «Моему учителю, пролетарскому писателю, драматургу Петру Сидоровичу Козлову», стремглав бегу к нему. Но увы! Уже поздно. На этот раз на ночную рыбалку мы не пойдем. Петр Сидорович «принял», видимо, больше того, что дозволено даже рыбаку.

Вспомнился мне и рассказ одного вохомского товарища, в те далекие годы побывавшего в В. Устюге, где Петр Козлов создал театр Пролеткульта и руководил им. Товарищ тот рассказывал:

— Иду по Устюгу, навстречу наш Козлов. «Петр Сидорович, здравствуйте!» Он остановился. Глаза усталые, взгляд вопросительный. «Из Вохмы я, — говорю ему. — Здравствуйте!» Он ничего не ответил, открыл свой портфелище, достал блокнот, повернул меня спиной к себе, положил блокнот на мою спину, что-то написал, а потом подал записку мне. Я прочитал: «Моему земляку из Вохмы выдайте билет на сегодняшний спектакль». Пока я читал записку, Козлов положил блокнот обратно в портфель, захлопнул застежки и, ничего не сказав, пошел дальше. Грустно мне стало. Человек-то талантливый, а вот...

И уже более позднее. Писатель Константин Иванович Коничев долгие годы жил в Архангельске и, как мне сообщили, знал Петра Козлова. Я к нему с письмом: «Напишите мне все, что знаете о Козлове». Вскорости Коничев ответил небольшим письмом. Да, он встречался с П. С. Козловым в Архангельске несколько раз. «На одном краевом съезде пишущих были, кажется, в 35 году, незадолго до его смерти. В годы 21—22 я часто встречал в вологодских и архангельских газетах басни за подписью «Петр из Вознесенья», но не знал, что это псевдоним Петра Козлова. В Архангельске, кажется в 30 году, помню, вышла из печати отдельной книгой его пьеса-агитка «Красный петух», я писал и поместил на нее добрую рецензию то ли в «Северной коммуне», то ли в «Северном комсомольце». Помню маленького, плешивенького, говорливого, нередко пьяненького. Художника Писахова он обрывал: «Не рисуй ты меня, ради бога, дай отрезветь,

да другую рубаху и галстук погладить надо...» В этом духе. С Писаховым он был дружен. В чем не сходились: Писахов никогда в жизни не бывал пьян...»

Своеобразным ключом к творческой биографии Петра Козлова является и тягостное признание в повести «Ушедшие»: «Впоследствии я убедился, что эти люди богемы, пытавшиеся как-нибудь вырваться из окружающих их сумерек жизни, совершенно не знали цены деньгам, которые они зарабатывали, меняя на гроши вдохновение. Почти все они носили в себе мечту написать что-то большое и красивое, а в действительности тратили себя на пустяки...»

Повесть «Ушедшие» — это автобиография, исповедь человека, мечтавшего о многом, большом и значительном, но попавшего в молодости под тяжелые жернова жизни и не сумевшего осуществить многого из того, что было им задумано. Встречи с «солидными» Куприным, Амфитеатровым и Чириковым, а тем более с представителями шумной богемы, такими, как Коринфский, Гри-Гри (Григорий Соловьев), Константин Кравцов, Николай Киселев, Иероним Ясинский и другие, происходили, если можно так сказать, на малотворческой почве. Это были встречи по случаю устройства рассказа для печати или на предмет «где, когда, чего и сколько выпить».

Как явствуют страницы повести «Ушедшие» и некоторые случайно уцелевшие доказательства, Петр Сидорович Козлов не раз пытался если не вырваться, то хотя бы на время освободиться от богемного окружения. Он искал участия и совета у больших представителей культуры и литературы того времени. Он посылал драматургические опыты знаменитой Савиной. Короткая встреча с В. Г. Короленко оставила в его жизни глубокий след. Еще бы! Короленко не только

прочитал, одобрил, но и опубликовал один из рассказов Петра Козлова. Один из рассказов Козлов посылает на отзыв Щепкиной-Куперник. Она вскоре ответила молодому автору. Заметив, что рассказ «могли бы напечатать, — написан он гладко (хотя немного высокопарно) и, если не считать ошибок в орфографии (кои, как это ни грустно, в редакциях часто мешают серьезному отношению к вещи) — вполне грамотно», — писательница дает советы: больше самостоятельности в письме, больше жизни в сюжетах рассказов.

Стучался Петр Козлов и к самому Максиму Горькому. Сохранилось письмо Алексея Максимовича. Привожу его полностью:

«Милостивый государь

Петр Сидорович!

Я спрашивал в редакции «Летопись», не найдется ли какой-либо работы для Вас, мне сказали, что сейчас работы нет, но после января, возможно, будет.

Спасибо за книжку, я прочитал ее. (Судя по всему, «Рассказы» издания 1915 года. — *Л. К.*)

На мой взгляд, у вас есть способности и вам необходимо учиться, чтобы развить их. В наше время все пишут более или менее хорошо, но посмотрите, как узок круг тем и как слабо развито внимание к жизни.

Необходимо искать и уметь найти свои подходы к явлениям, свою точку зрения.

Всего доброго!

28.X.15. *А. Пешков*»

Советы Алексея Максимовича «найти свои подходы к явлениям, свою точку зрения» и лежали в основе двадцатилетнего творческого труда писателя-самоучки, писателя из народа.

Вся жизнь Петра Сидоровича Козлова — мятежный поиск. По утверждению Анны Васильевны — документов нет, — родился П. С. Козлов в 1886 году. Отец его из крестьян, но работал на винокуренном заводе. Родина его — село Вохма (ныне Костромской области), — доказательство тому восторженные строки из повести «Ушедшие» о родных краях:

«Память неожиданно вспыхнула и на мгновение, как молния, осветила чувство.

Ясно увидел свою родину — Вохму.

Вот задумчивые лесные речушки, заваленные упавшим буреломом и поросшие белыми водяными кувшинками. Мне всегда казалось, что на каждом цветке их сидит маленький, крылатый лесной дух, хорошенький, как ребенок, и хитрый, как бес, и что он при появлении человека немедленно исчезает. Я чувствовал смолистый запах леса, крепкий, как старое вино. Видел медно-красные, высокие голые стволы сосен, — северных пальм, — которые украшала широкая зеленая шапка».

Из повести «Ушедшие» получаем мы еще некоторые сведения о ее авторе: «Несмотря на мои с небольшим двадцать лет, — я уже хлебнул горького до слез. Побывал мальчиком в аптекарском магазине; певчим в церковном хоре; писцом в консистории, в акцизном управлении; телеграфистом, табельщиком железнодорожных мастерских; сотрудником провинциальной газеты; имел много случайных работ и специальностей».

Теперь мы уже многое знаем: писатель-самоучка, талантливый драматург, автор двадцати с лишним пьес, большинство из которых шли на сцене советских театров, автор «Легенды о коммунаре». Это и дает ос-

нование причислить Петра Козлова к числу зачинателей советской драматургии.

Там, где появлялся Петр Козлов, возникал народный театр. И не только в двадцатом году, а везде и всегда. Козлов создает самодеятельные труппы, ставит спектакли и пишет новые пьесы. Даже в последние годы жизни. 23 апреля 1934 года архангельская газета «Правда Севера» сообщала: «В Вохме организован первый в крае колхозный театр. Работой театра руководит старейший советский драматург Петр Козлов».

В числе немногих документов, сохранившихся в архиве П. С. Козлова, есть и бумажка такого содержания: «Сосновский сельсовет, колхоз «Верный путь», Козлову П. С. Просим прибыть в село Вохма к 6 февраля 1932 года для повторения Вашей пьесы «И будет так» для делегатов 3-го районного съезда потребкооперации».

Неутомимый труженик, скиталец, писатель-самоучка, всю жизнь мечтавший о творческой товарищеской среде, обрел он ее только на закате своей трудной жизни. Это было Архангельское отделение Союза советских писателей, давшее Петру Сидоровичу и коллектив и признание. Об этом рассказывает, в частности, заметка о Первом съезде советских писателей Севера, напечатанная в июне 1935 года в «Правде Севера». В ней говорится:

«Одним из наиболее интересных было выступление старейшего северного писателя-драматурга Петра Сидоровича Козлова. Он рассказал, в каких трудных условиях старого царского строя начинали работать молодые писатели из народа, как трудно приходилось им пробиваться в литературу, испытывая издевку капиталистических издателей».

Петр Сидорович Козлов, мой земляк, друг и наставник вохомских комсомольцев первых послереволюционных лет, автор «Легенды о коммунаре», талантливый драматург, создатель театров на селе, писатель из народа, свою последнюю книгу, обещавшую быть интересной и значительной, так и не дописал. Преждевременная смерть — Петру Козлову не было еще и пятидесяти лет — оборвала его жизнь.

1966

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЮНОСТЬ

Можно представить и понять душевное состояние человека, который на седьмом десятке жизни едет на поклон в родные, неповторимые края, где прошли его босоногое детство и комсомольская юность!

Одни наши места называли глухоманью, другие — «Вохма — золотое дно». Сто верст от железной дороги, и почти все лесом. Пять процентов грамотных, лапти и лучина, домотканые рубахи и штаны, чай вприкуску. Чем не глухомань! Каменные торговые ряды, добротные склады для льноволокна, шумные, многолюдные базары и ярмарки — чем не золотое дно для немногих!

А теперь о глухомани молодые люди и понятия не имеют. Какая тут глухомань, если лампочка Ильича — в каждом доме, даже в деревеньках из трех домов, если уж не только радиоприемник, но и телеэкран стал непременной домашней принадлежностью; спрос на холодильники и стиральные машины не хуже, чем в Москве, да и на мотоциклы и легковые автомобили свободно раскошелились бы некоторые механизаторы и хлебопашцы, лесорубы и служащие: в сберегатель-

ных кассах, если взять весь район, они держат несколько миллионов рублей. О грамотности и говорить нечего. Кому более сорока — все грамотны. Прасолов и купцов нет, о них знают только по книжкам, да иногда, проходя мимо районной библиотеки или райвоенкомата, старожилы говорят молодым — дом купца Исупова, дом купца Агеева...

И все же как была Вохма глубинкой, так и осталась глубинкой! Есть такие неустроенные географические точки. До революции этот кусок земли был в Вологодской губернии. Чтобы побывать в губернском городе, нужно было отмахать пешком или на лошади сто верст до железнодорожной станции, а потом еще верст триста по «железке» через вятские и костромские земли до Вологды. После революции образовали новую Северо-Двинскую губернию. Но до ее центра — Великого Устюга — триста верст на лошадях, иного пути не было. Потом был Северный край — до Архангельска добирались через трое — пятеро суток. Потом снова Вологодская область, и вот уже более четверти века — Костромская область. Хотя леспромхозовская железнодорожная ветка и пришла до Мало-Раменского, что на реке Ветлуге, и теперь до Вохмы, именуемой уже не селом, а поселком, от «железки» всего двадцать семь километров булыжной дороги, все же добираться до Костромы с пересадками почти сутки, как-никак — пятьсот километров! Над Вохмой стрекочут самолеты, по воздуху можно попасть во многие районы, да и до Костромы всего два-три часа лёта. Но погода в здешних местах капризная. К какой бы области Вохма ни была приписана, она как была глубинкой, так и остается глубинкой.

Мы едем в село Лапшино. Когда-то здесь был волостной центр, теперь сельсоветский. Полвека назад

четырнадцатилетний комсомолец, отпечатывая лаптями шестнадцативерстный путь, пришел из Вохмы в Лапшино, чтобы на волостной конференции беспартийной молодежи призывать слушателей вступать в комсомол, быть в авангарде строителей новой жизни. Теперь, на газике, через цепь увалов мы едем не спеша.

Сказочно прелестны северные увалы. Что откроется взору, когда ты поднимешься на ближайший угор, заслонивший горизонт? Деревенька ли из крепко сколоченных пятистенных домов с резными наличниками у окон и петухом-крикуном на коньке крыши? И как именуют эту деревеньку? Названия тут то лирические, то иронические: Рай, Черти, Жаворонки, Пустошка, Иерусалим, Свинки, Полушко. Змейка ли речушки — непременно с затейливой кличкой, вроде Конницы или Шельмы?! Стадо ли пеструшек в ложбине между угоров? А окрест, до самого горизонта, такие же, как и этот, увалы, повыше и пониже, с шапками ельника, а то и безлесные, точно со шрамами, глубокими, извилистыми оврагами, с порченой, непригодной пока для дела землей.

Любуясь пейзажем, я слушаю неторопливую беседу своих спутников.

За рулем Иван Григорьевич Юферов — первый секретарь райкома партии. Он — нездешний, но уже шесть лет стоит во главе коммунистов района. Он побывал во всех четырехстах деревеньках, знает не только проселки, но и полевые дороги. Он узнает встречных, а те охотно вступают с ним в разговор. Третий наш спутник — Нина Александровна Дружинина — инструктор обкома партии. Мы неторопливо разговариваем. Юферов весьма сдержан, не хвастает. Наоборот, сожалеет, кручинится:

— Десять центнеров вкруговую в районе — разве это урожай для зерновых! Но вы посмотрите: увалы и увалы! На южном склоне и до двадцати центнеров берем. А на восточном и северном? У них нет таких батарей, чтобы солнечное тепло привлекать. Говорят, раньше ржи брали по сто пудов. Видимо, утратили те семена, да и не зерновыми колхозы живут. Основные доходы ото льна и животноводства! Но и тут прорех хоть отбавляй.

— А мне Вохомский район нравится, — вступает в разговор Нина Александровна. — Хотя у меня три района, Вохомский — самый дальний, но сюда я еду всегда с удовольствием. Народ тут простой, приветливый, прямой. Хорошо и легко работать...

Иван Григорьевич согласно кивает.

— Если можно сказать, то прелесть состоит в том, что так называемая цивилизация в кавычках не докатилась до здешних мест. Поверите ли, тут не знают, что такое квартирные кражи. Дома не запираются. А если дом и на замке от собак и скотины, то ключ висит тут же на двери или на косяке. Благодатный уголок, каких немало во глубине России! Молодежь здесь дружная, трудолюбивая. Работать интересно. Но мы идем вперед шагами, а тут надо скачками, сильными и решительными, преодолевать разные трудности.

Позднее я подробнее узнал об этих трудностях.

На одной из встреч с комсомольским активом района за столом президиума оказались представители трех поколений секретарей райкома комсомола. Я представлял двадцатые годы, сороковые — Виталий Николаевич Афонасов, ныне заведующий районо, и начало семидесятых — теперешний секретарь райкома, студент-заочник педагогического института Николай Адеев.

— Вы начали с шести человек, — обращаясь ко мне, говорит Николай Адеев, — а теперь у нас шестьдесят одна организация объединяет полторы тысячи комсомольцев! В двадцатые годы в комсомоле состояли преимущественно ученики да несколько крестьянских ребят, как правило, с начальным образованием. Ныне почти треть районной организации — рабочие ребята: мастера леса, швеи, токари, слесари, электрики. Видите, как изменилось хозяйственное лицо района. Даже среди колхозной комсомолии — инженеры и трактористы, шоферы и мастера машинодоения, можно сказать, тоже рабочий народ. Почти треть комсомольцев района имеют законченное общее и специальное среднее, а 32 — высшее образование: врачи, агрономы, учителя, инженеры.

Комсомольцы двадцатых годов отстаивали завоевания Октября от купечества, духовенства и кулачества, от белогвардейцев и интервентов на фронтах гражданской войны, шли в отряды по борьбе с дезертирами. Разгоняли кулацкие сборища. В противовес церковным богослужениям устраивали комсомольские «рождество» и «пасху», проводили антирелигиозные диспуты. Объединенные в роту ЧОН, изучали винтовку, револьвер и пулемет. Неповторимым по пестроте одежды строем — кто в лаптях, а кто и босиком, в пиджаках, поддевках и френчах, наскоро сшитых из чего придется, в головных уборах самой причудливой формы, проходили по селу, оглашая улицы новыми боевыми песнями.

Да, все это далекая история, и напоминают о ней разве только боевые песни, которые передаются из поколения в поколение, охотно поются в глубинке и поныне. Совсем другие заботы и думы у комсомольцев семидесятого года. Даже антирелигиозной пропаган-

дой не занимаются — в районе нет ни одной действующей церкви, нет и сект, если не считать хиленькой по составу группы евангелистов. Чем и как, с большой отдачей, служить Родине вообще, а своему району особенно, — вот главная душевная тревога сегодняшней молодежи.

Надо было видеть, с каким вниманием слушали комсомольцы бесхитростный рассказ Николая Чичерина, который, отслужив положенный срок на флоте, вернулся в родное село и преподает физкультуру в восьмилетней школе.

— Мы спокойно и уверенно несли боевую вахту в Средиземном море, около четырех месяцев пробыли у берегов Объединенной Арабской Республики. К нам с уважением и любовью относились арабы. Я смело могу сказать, что нынешние моряки — люди мужественные, стойкие, знающие свое дело. Наше поколение моряков приняло боевую эстафету от тех, кто добыл победу в минувшей войне. Мы ничем не посрамим чести нашей Родины, а, наоборот, приумножим ее славу.

Когда мы все аплодировали Николаю Чичерину, Адеев тронул меня за локоть:

— Видели, где ныне несут вахту и наши вохомские комсомольцы?!

Хотя и о другом, но с той же внутренней убежденностью в силе и значении своего поколения говорил и Николай Герасимов, студент-выпускник сельхозинститута:

— Я ценю и уважаю тех ребят, которые верны своему району, верны сельскому хозяйству, именно здесь сторицей воздается приложение труда и знаний. Моя мать всю жизнь отдала сельскому хозяйству района,

она заслуженный агроном РСФСР. Я решил продолжить дело матери и стать агрономом.

Речь Николая Герасимова прозвучала как призыв к будущим выпускникам пяти средних школ района. Для столь горячего призыва были основания. В этом году 179 ребят получили аттестат зрелости. Куда они подались? Какие трудовые направления избрали они? Пятьдесят один выпускник принят в высшие учебные заведения страны, семнадцать из них в сельхозвузы. Восемь юношей зачислены в военные училища. Двадцать один выпускник поступил в средние специальные учебные заведения. Меньшая половина — продолжает образование. А вторая, бóльшая половина осталась в колхозах? Оказывается, только двадцать один человек с аттестатом зрелости посвятил себя труду в деревне, а двадцать четыре зачислены на разные должности в учреждения, тридцать два человека ушли на промышленные предприятия.

Чем объяснить, что основная часть выпускников средних школ уходит из деревни? Этот вопрос я задавал многим своим собеседникам. И получал разные ответы.

— Тут нет экономических или каких-то других причин. Есть одна — бытовая, — утверждает Николай Костров, заворг райкома комсомола. — Мать или отец говорят сыну или дочери, окончившим среднюю школу или восьмилетку: «Мы всю жизнь прожили в этой дыре, в этой избе, весной и осенью по колено месили грязь, неделями не выходили из деревни, а до ветру днем и ночью, в снег и дождь преодолевали свою стометровку. Ты-то хоть поживи в других условиях, по-городскому».

— Да, главное — быт деревни, — как бы развивая мысль Николая Кострова, неторопливо поясняет мне

Александр Николаевич Ивков, председатель колхоза «Победа». — В самом деле, у молодого парня или девушки все есть: хорошие заработки, на работе — разнообразная техника. Но в избе-то, к сожалению, почти все осталось нетронутым, таким же, каким было у наших дедов и прадедов. Правда, ныне бани не по-черному, а по-белому топят, в домах горит не лучина, а электричество, на телеэкране — концерт из Кремлевского Дворца съездов. Все это так. Но поверьте, пока в деревне не будет водопровода, теплого туалета и других деталей городского быта, молодежь, не определившая еще своего жизненного пути, будет уходить неизвестно куда в поисках городского быта.

— И добавьте к этому — дороги, — замечает райкомовский шофер, молодой парень, с завлекательными ямочками на румяных щеках, которому родители дали старинное имя Сосипатр, а зовут его все Осипом.

Действительно, дороги в тех краях, как и прежде, тяжелые, трудные, главная помеха в развитии хозяйства. Всякой техники, особенно сельскохозяйственной и дорожной, можно сказать, тут обильно. Но не всегда и не вся она в деле. Куда ни тронешься, все в гору или под гору по ползущей во все стороны липкой глине. То и дело приходится объезжать не только ухабы, а — по задворкам, по полям — и деревни, по улицам-то, как говорят, ни пройти ни проехать, черт ногу сломит! Я видел два экскаватора, видимо давненько вышедших из строя и торчащих у дороги, как укор не умеющим использовать технику.

— «Эх, дороги, пыль да туман», — как бы вторя своим мыслям, вспомнил Юферов слова известной песни. — Мы — окраина области. Через наш район пути-дороги идут в никуда — в другие области, в Вологодскую и Кировскую. Есть две веточки — в Боговарово

и Павино, они тоже Костромской области. Туда и строится шоссе. Но нам-то они не так уж и нужны. Нам бы на Спас да на Тихон. Но это уж окраина области. А к сельсоветам ни областной, ни тем более республиканской трассы не проложишь. Раз так, то ни денег, ни материалов, ни техники не жди!

О трудностях роста, особенно нового строительства, здесь говорят часто на пленумах райкома партии и сессиях районного Совета. Не хватает рабочих-строителей, не говоря уже о специалистах. Многие колхозные объекты, особенно коровники, строят шабашники, приехавшие из Закарпатья. Они берут втридорога. Но строят...

Район не получает запланированных стройматериалов. В Вохомской средней школе 92 печи. Они пожирали уйму дров, их обслуживал целый штат истопников. Решили перейти на паровое отопление. Построили котельную, сломали все печи, а в последний момент оказалось: недополучены девяносто радиаторов, и никто их не дает! Директор школы Валентин Георгиевич Левашов, выступая на сессии районного Совета, чуть ли не кричал «караул». Но что ему мог ответить председатель исполкома райсовета?

— У нас радиаторов нет. Будем добывать их всеми путями.

В этом частном маленьком примере видна большая проблема. Четыреста селений района предположено свезти на 52 большие благоустроенные усадьбы. Многие задают вопрос: опять без водопровода и централизованного отопления? Деревни по количеству дворов будут большими, а бытовые условия в домах, как и в восемнадцатом веке?!

— Проблему строительства жилищ на селе стоило бы решать масштабным, революционным путем, — го-

ворили мне многие собеседники. — Надо решать так, как машинизацию сельскохозяйственного производства. На новых усадьбах строить водопровод и центральное отопление. Все это, конечно, требует планирования и больших заданий промышленности. Так или иначе, но эту проблему решать нужно, ведь грань между городом и деревней должна исчезать. Полумерами мы тут ничего не достигнем.

Когда я мысленно повторяю эту поездку в Вохму, своеобразное путешествие в юность, непременно вступаю в споры с некоторыми плакальщиками по старине. Доводилось читать, да и не раз, когда в путевых очерках ручьями льются слезы по ветряной мельнице как символе русской деревни, по утраченному из речевого обихода местному слову, унаследованному бог знает из каких времен. Эти плакальщики «по уходящей Руси» никак не хотят приметить ни мачт высоковольтных передач, несущих в российскую глухомань электрическую энергию, ни частокола телевизионных антенн, приобщивших деревенского мужика ко всему, что идет на столичных сценах, ко всем мировым событиям, да и многое, многое другое, что преобразило деревню.

Необходимо уточнить: бывают плакальщики, но бывают и хранители великих традиций. Мы не Иваны, не помнящие родства. Нам дорого все, что сотворено дедами и прадедами, что славит талант и мастерство народа, будь то построенная без единого гвоздя часовенка или тончайшего рисунка резьба оконного наличника. Мы не имеем права утрачивать, тем более разрушать эти ценности, как не имеем права забывать священные для данной местности (деревни или села) памятники, напоминание о незабвенных днях начала новой эпохи в жизни человечества.

Где был первый волостной исполком, первые райкомы партии и комсомола? Я спрашивал нынешних руководителей Вохомского района — они пожимали плечами, молоды, мол, родились позже тех лет, о которых идет речь. Почему в поселке нет ни одной улицы имени первого коммуниста Родиона Останина или земляка — пролетарского писателя П. С. Козлова, автора «Легенды о коммунаре»? Почему не отмечены мемориальной доской не только дома, где был первый исполком, первая партийная и комсомольская организации, но и подлинно народный, созданный П. С. Козловым полвека назад второй в стране крестьянско-рабочий театр имени А. В. Луначарского? Эта выдающаяся достопримечательность далекой глухомани, которую революция выдвинула на передний край своей боевой культуры?

В «тоске по утраченному» некоторые литераторы все еще пытаются втиснуть в нашу современную жизнь некоего мужика-пейзанина, произносящего исполненные церковнославянской вязью мудреные слова, познавать значение которых следует при помощи словаря. В Лапшинском сельсовете я познакомился с семидесятичетырехлетним Алексеем Яковлевичем Левашовым. В свое время он был и председателем сельсовета. Давно уже на пенсии. Я спросил:

— Не жалуетесь на пенсию?

— А что жаловаться-то? — смеется старик в раздвоенную бородку, обнажая единственный зуб на верхней челюсти. — Я живу не плохо, да и сыновья помогают: один — полковник, другой — майор. Что тут в Лапшине происходило — все на моей памяти. Родю-то Останина из Жаровского, первого коммуниста в нашей округе, кто не знал? Безупречный был мужик. Он во всей нашей округе советскую власть начинал. Я хо-

тя и беспартийным прожил всю жизнь, а коммунистов уважал, особенно таких прямых и неподкупных, каким был Родя Останин. Ведь меня так и звали: беспартийный большевик! Что я скажу про нынешнюю молодежь? Она далеко ушла. Ее, нашу лапшинскую, по одежде и обуви не отличишь от городской. А учатся и трудятся хорошо. Но попадаются и избалованные ребята. Ходит парень в четвертый класс, а у него уже велосипед, на руке часики поблескивают, сидит он на уроке, все на часики поглядывает, скоро ли урок-то кончится. Вот от баловства-то и появляются на свет экземпляры — стыд и срам! Идет какой-нибудь шестнадцатилетний сопляк и кричит, что ему демократии мало. Иногда зло берет, думаю, показал бы я ему демократию, только прежней скорости да и сил нет!

В словах Алексея Яковлевича Левашова нет эдакой нарочитой усложненности, в них правда жизни, вся и во всем устремленная вперед, такая правда, которая идет из глубины России, верной и вековечным традициям и славному новому времени, преобразующему мир.

Ноябрь 1970 г.

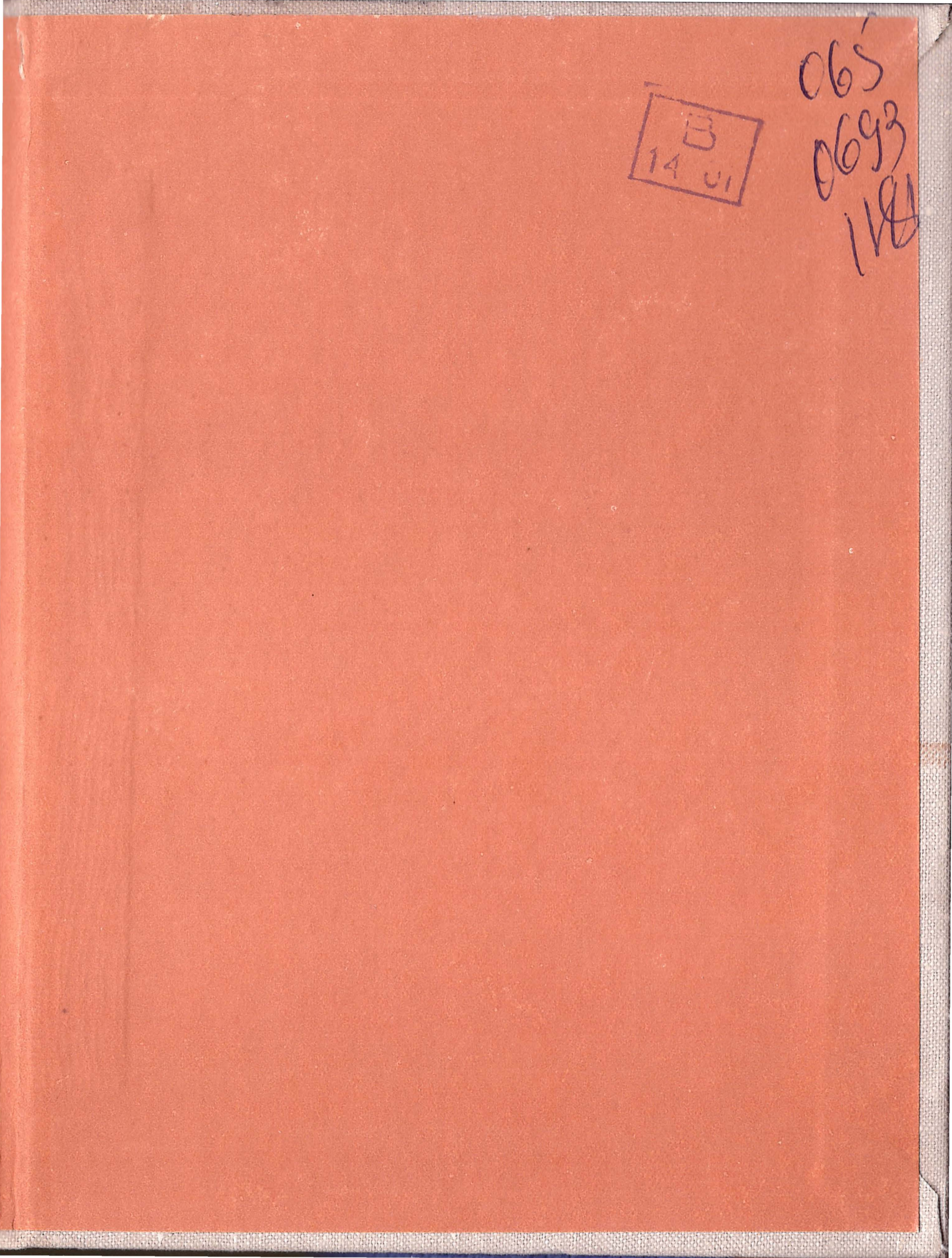
СОДЕРЖАНИЕ

Кудреватых Леонид Александрович

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

М., «Советский писатель», 1975, 368 стр. План выпуска 1975 г. № 30
Художник А. И. Гольдман. Редактор И. Н. Жданов. Худож. редактор Е. И. Балашева. Техн. редактор В. Г. Комм. Корректор С. И. Малкина. Сдано в набор 3/X 1974 г. Подписано в печать 3/IV 1975 г. А 05135. Бумага $70 \times 108^1/_{32}$, типогр. № 1. Печ. л. $11^1/_2$ (16,1). Уч.-изд. л. 14,97. Тираж 30 000 экз. Заказ № 1102. Цена 66 коп.

Издательство «Советский писатель», Москва Г-69, ул. Воровского, 11.
Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.


B
14
06
0693

66 коп.



ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Леонид Кудреватых